



ДРУЖБА НАРОДОВ



- *Александр Тимофеевский*
В разной тональности
Стихи
- *Бернгард Рубен*
За своей звездой
Документальная повесть о Э.Г.Казакевиче
- *Андрей Хаданович*
Под знаком качества
Стихи
- *Фарид Нагим*
Дубль два
Рассказ
- *Александр Мелихов*
Конфликт иллюзий

2'2010

ДРУЖБА НАРОДОВ



Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

2'2010

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ. В разной тональности. Стихи	3
к 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ	
Бернгард РУБЕН. За своей звездой.	
Документальная повесть о Э.Г.Казакевиче	6
СОВРЕМЕННАЯ БЕЛОРУССКАЯ ПОЭЗИЯ	
Андрей ХАДАНОВИЧ. Под знаком качества. Стихи.	
Перевод Игоря Белова	49
Змитер ВИШНЁВ. В желтых ладонях акации. Стихи.	
Перевод Светланы Буниной	52
Фарид НАГИМ. Дубль два. Рассказ	54
Инна КАБЫШ. Саша плюс Маша. Рассказ	69
Сергей ВАСИЛЬЕВ. Офелия, Корделия, Джульетта... Стихи	78
Дмитрий СТАХОВ. Перевернутые небеса. Роман. Окончание	81
Анна МАТАСОВА. Навстречу яблоням и птицам. Стихи	137
Елена ДОЛГОПЯТ. Вид из окна. Рассказы	140

Публицистика

Равиль БУХАРАЕВ. Призрак совести, или Фантомные боли настоящего	158
Александр МЕЛИХОВ. Конфликт иллюзий	165

Нация и мир

Георгий НИЖАРАДЗЕ. Лэптоп и крест. С грузинского.	
Перевод Виктории Зининой	176

Критика

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Террор, война и... <i>Новая гражданская лирика в поисках языка, темы и субъекта</i>	186
Валентин КУРБАТОВ. Солдаты Судного дня	202
Владимир ГУБАЙЛОВСКИЙ. Грустный праздник	207
Левон МКРТЧЯН. Веселый Самойлов. <i>Из воспоминаний.</i>	
Публикация Г. Медведевой	211

Эхо

Многоименность. Многосердечность. Многожильность. <i>Рубрику ведет Лев Аннинский</i>	216
Summary	224

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И



МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (ИФГС)

Главный редактор
Александр ЭБАНОИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Наталья ИГРУНОВА, Галина КЛИМОВА,
Владимир МЕДВЕДЕВ, Леонид ТЕРАКОПЯН (заместитель главного редактора)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Вячеслав АР-СЕРГИ, Сухбат АФЛАТУНИ, Муса АХМАДОВ,
Резо ГАБРИАДЗЕ, Алла ГЕРБЕР, Денис ГУЦКО, Иван ДЗЮБА, Валерий ИСХАКОВ, Александр
КЛЯЧИН, Валентин КУРБАТОВ, Ольга ЛЕБЕДУШКИНА, Давид МУРАДЯН,
Захар ПРИЛЕПИН, Кнут СКУЕНИЕКС, Валери ТУРГАЙ, Сергей ФИЛАТОВ, Эльчин,
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

© «Дружба народов», 2010

Александр Тимофеевский

В разной тональности

Багульник

Вере Ивановне Прохоровой

Январь прошелся королем,
И город замер,
И мы затворниками в нем
Тюремных камер.
Но как насмешник королей,
Как богохульник,
У нас в бутылке на столе
Расцвел багульник.
Наперекор календарю,
Как будто летом,
Расцвел в насмешку январю
Лиловым цветом.

И утверждает видом всем,
Веселым глазом,
Что не был сломан он никем,
Веревкой связан.
Что он живой! Что он плевал
На все прилавки,
Что незнаком ему подвал
Цветочной лавки;
Что не был заперт на крючок
Он в том подвале,
И что его за рупь пучок
Не продавали.

* * *

Зелена гора,
Что стоишь одна?
Ты хлебни с горла
Зелена вина.
Чем стоять одной, зеленой,
Ты бы стала, гора, моей женой.
Разве я, гора, не пара тебе?
У меня ли не горб на горбе?
Я жизнь свою просвистал:
Куда хотел — не летал,
Мой час настал — пропустил,
У Бога куска не просил.

Колдун

С тяжелым взглядом колдуна
За кружкой кружку пью до дна.
Колдун сегодня запил —
У колдуна любимой нет.
И дела нет. И жуткий ветер
Несет его на Запад.

Дома стандартной красоты.
И телевизоров кресты.
И алкогольный запах.
И надо б мне бежать туда,
Где тает низкая звезда,
А я бегу на Запад.

Стоит, как шиш, на пустыре
Дом, где сгорело, как в костре,
Все, что я нажил за год.
Я от тоски сажусь в такси
И на Восток гоню такси —
Такси идет на Запад.

О, как мне страх преодолеть?
Чьим телом мне себя согреть?
Та спать со мной не хочет,

Та отдается мне спроста,
Но кажется, что та и та
Лишь надо мной хохочет.

В глаза мне древний старец лжет,
И конь, оскоря зубы, ржет,
И от душевных тягот
Я на Восток гоню коня,
А конь не слушает меня,
Несет меня на Запад.

* * *

Жизнь приходит с утра
И меня беззастенчиво будит:
Жить пора, жить пора,
Справедливости нет, и не будет!
И толкает меня, и идет вслед за мной конвоиром,
И могу только я — ей в насмешку — смеяться над миром.
Эй, вы, люди, зачем вы поверили в эту отраву,
В этот мир, и деревья его, и растения, и травы,
Из-под самых колес,
Где кромсает, и давит, и мелет...
Где взять слез,
Чтобы верить всерьез,
Да, наверно, никто и не верит.

* * *

Любили русские князья
Друг друга драть за волосы,
Когда татарский хан на них
Валил ордою:
Топтали старцы молодых,
А те юнцы отцов — в под дых!
Пока не разливали их
Водою.

А после думали с тоской:
Из-за чего был спор такой?
И передрались мы, какой
Опившись дряни?

И почему господь наш плох,
И добр к своим татарский бог,
А мы без глаз, без рук, без ног
Гнием в Казани.

И эта блажь у нас в крови:
Нам любо увидеть в крови
Отца и брата,
Чтобы очнуться на колу
И пить кипящую смолу
У супостата.

* * *

Володе Голованову

Какая все же скука
Быть взрослыми людьми,
Давай любить друг друга,
Чтоб сделаться детьми.
Ты будешь жить на свете.
Хлебая киселя,
Безжалостный, как дети,
И женщин веселя.
А я, служа восторгу,

Что так нам по плечу,
К любимому Востоку,
Как тучка, полечу.
И став, как тучка, тучен,
Недвижим и нескор,
Увижу сверху кручи
Знакомых синих гор,
Скользя среди туманных
И странных наших душ,

Слагая беспрестанно
Божественную чушь.
Ты будешь жить на свете,
И жить, и поживать,
Я ж буду тучки эти
Встречать и провожать.
Бесформенные груды,
Туманные шары,
Летающие отсюда
В далекие миры.

Потом и я исчезну
Под самой верхотой,
Потом я стану бездной
И стану духотой,
И ты зайдешь в пивную
Укрыться от жары,
И там тебе шепну я,
Что все хухры-мухры!

* * *

Галине Нерпиной

Баба Юля, баба Люля, баба Юль...
Луг. Покосы. Абрикосы. Сад. Июль.
Абрикосы в медной мисочке делю —
Бабе Юле, бабе Люле, бабе Лю.
Вот проходит за забором почтальон,
Что-то страшное в конверте прячет он.
Папа с мамою — у них большая власть —
Все хотят меня у бабушки украсть.
Как бессовестная рыжая лиса,
Унесут меня за темные леса —
Папа с мамою сегодня мне враги,
Котик-братик, если слышишь, помоги.

* * *

Галине Корниловой

Пойдем, исполнены смиренья,
Туда, где осень сено косит,
Где дева с детскою свирелью
Слова безмолвно произносит.
Слова, как «даждь нам днесь», простые,
Как хлеба вкус и запах сада,
Слова, к которым мы остыли,
А их-то нам с тобой и надо.
А звуки те, что нас манили,
И те, которым мы внимали,
Подобны играм беса, или
Напевам демона Тамаре.

Бернгард Рубен

За своей звездой

Документальная повесть о Э.Г.Казакевиче

I. Своевольный поэт

1

Великая Отечественная война застала Эммануила Казакевича в возрасте двадцати восьми лет, отцом двоих малолетних детей и профессиональным поэтом, писавшим на идиш.

Он жил тогда с семьей под Москвой — снимал маленькую квартирку в Песках, покинув Биробиджан в 1937 году. В тот *тридцать седьмой* он приехал в Москву повидать сестру и знакомых и здесь получил известие, что возвращаться ему домой сейчас нельзя. Что означало такое предупреждение, объяснять в те времена не требовалось: по стране катилась лавина разоблачений и арестов «врагов народа». Он остался покуда в Москве и вызвал жену с детьми, у них только что родилась вторая дочь. Приехавшая жена рассказала о переименовании улицы, названной в честь его покойного отца, который возглавлял здесь газету «Биробиджанер Штерн», а еще прежде на Украине был редактором республиканской еврейской газеты и литературного журнала, позднее директором республиканского еврейского театра.

В Биробиджан Эммануил приехал восемнадцатилетним юношей раньше отца с матерью, которая также умерла в этом суровом таежном краю. Он с энтузиазмом корчевал тайгу, возводил деревянные постройки, работал в газете, организовывал колхоз, заведовал местным радиовещанием, затем смело сделался начальником строительства капитального Дома культуры, создавал Биробиджанский театр и стал первым его директором. Одновременно писал и переводил на идиш стихи, более всего Гейне и Маяковского. И там, в Биробиджане, у Эммануила вышла первая книга стихов, с которой он вступил в Союз писателей.

Но вот по Биробиджану пополз слух, что Эммануил Казакевич, этот комсомольский поэт, яркая фигура, еще вчера член областного комитета комсомола, арестован при переходе маньчжурской границы как японский шпион. Подобный слух мог исходить откуда угодно, даже из самих «органов» для поддержания нужной им степени общественного угара. Возможно, это помогло уцелеть ее субъекту — ведь коли он пойман и арестован, так и ловить более не надо, по крайней мере, в других концах страны...

Какой-то срок, чтобы не ставить под удар родных и знакомых в Москве, его семья переждала в белорусской деревне, а сам он появлялся то там, то тут: вроде бы и не прятался, но и не задерживался долго на одном месте. Потом, через год, когда Сталин убрал своего преданнейшего подручного, наркома внутренних дел Ежова, исполнившего заданную ему роль (и тем самым указал народу на виновника очеред-

Журнальный вариант.

Рубен Бернгард Савельевич — прозаик, родился в 1926 году, автор ряда повестей на армейскую тему, документального повествования «Алиби Михаила Зощенко», книги «Зощенко» (серия «ЖЗЛ»), романа «Двое на холсте памяти», «Давних рассказов» и других произведений. Живет в Москве.

ного «перегиба»), когда схлынул вал репрессий и даже был дан слегка задний ход, Эммануил перевез семью под Москву.

Теперь он полностью ушел в творчество. Писал собственные стихи, переводил классику и современных поэтов, закончил комедию в стихах, начатую в Биробиджане. К нему приехал режиссер Биробиджанского театра, обеими руками ухватился за его пьесу, написанную на местном материале, и поставил по ней спектакль, шедший с большим успехом. Он писал много. Занимался в библиотеке, изучая материалы и разрабатывая сюжеты. Ему надо было утвердить себя в литературе и кормить целую семью. Вскоре у него вышла новая книга стихов. Затем он взялся за трагедию о Колумбе, в которой впервые попробовал перейти на русский язык, и начал киносценарий о Моцарте. А накануне войны, в мае сорок первого, был подписан в печать его роман в стихах на идиш «Шолом и Хаве», вышедший в свет, когда сам автор уже воевал на дальних подступах к Москве.

Известие о войне Эммануил воспринял с мгновенно охватившим его чувством личной причастности к грянувшему событию. Его давно притягивала армия. Еще в Биробиджане он носил армейские галифе, военный френч с ремнями, суконную фуражку с красноармейской звездочкой, зимой надевал шинель. Большинство биробиджанских знакомых, написавших о нем впоследствии свои воспоминания, так и запомнили его «человеком в шинели». Одежда эта еще сильнее подчеркивала его высокий рост и худобу. Он походил на комиссара времен военного коммунизма, держал в себе этот образ. Но когда на какой-то момент снимал очки, его близорукие глаза тут же выдавали доброту, незащищенность, открытую доверчивость, и он напоминал уже не сурового комиссара, а скорее Пьера Безухова.

В армии, однако, он не служил — из-за сильной близорукости его признали начисто негодным к воинской службе и выдали «белый билет». Эммануил был уязвлен: мужчина должен через все пройти, закалить себя в испытаниях. Его привлекала военная героика. Он пытался уйти в армию с помощью отца, члена бюро обкома партии. Не получилось. Не помогло и письменное обращение в Москву, к наркому обороны.

По той же причине он остался в стороне от всеобщей мобилизации, когда началась война. Но как только ударил набат московского народного ополчения, он ушел на фронт добровольцем. Он был членом Союза советских писателей, и его зачислили в писательскую роту. Сборы его состояли главным образом в покупке запасных очков. Он рассовал их по карманам, в вещмешок и явился для отправки. Шли самые первые недели войны, и еще не угасла надежда, что фашистский натиск скоро будет пресечен ответными ударами наших войск.

В эти — уже ополченские — недели Эммануил был полон энергии и оптимизма. Какой-то частью своего сознания он воспринял войну как вихрь, выхвативший его из четырехлетней писательской замкнутости, чтоб вновь унести в живую жизнь с ее тревогами, горем, надеждами. Всей взметнувшейся душой после тягостных лет всеобщих подозрений и разоблачений он ощутил свою сиюминутную нужность, локтевую связь со всеми людьми страны.

Характер его требовал действия и самоиспытания. Эммануил писал жене: «В строю и в учебе чувствую себя как прирожденный солдат. Обо мне не беспокойся — я здоров, как бык!» Чуть бравлируя, он давал понять, что не растерялся без домашней опеки. Тут же с уверенностью стойкого бойца он предписывал жене сохранять полное самообладание — «врага мы разобьем обязательно». Как сладко, как замечательно было иметь право на это *мы*! И знать подлинного врага. «...Какие бы ни были на первых порах поражения и отступления — верь в победу, как верю в это я».

В июле и августе его письма жене звучали как реляции о собственном бодром настроении. Находясь с ополчением некоторое время во втором эшелоне, он сообщал о полученной перед строем благодарности; о том, что чувствует себя прекрасно, здоров, крепок, уверен в себе; что моральное состояние хорошее у всех, они едут в поезде, а запевай — он; что боец он, оказывается, хороший и что коллектив у них спаянный; они все время в переходах...

В ополченской дивизии было полно ученых, литераторов, художников, архитек-

торов. Все они были брошены навстречу мощным клиньям рвущихся к Москве немецких войск. Эммануил увидел много милых людей, сугубо штатских, вырванных из семьи, из своих кабинетов и мастерских, из привычного городского быта, неприспособленных к армейскому строю и полевой жизни, но старавшихся изо всех сил исполнить свои ратные обязанности. В этих условиях люди узнавались по-настоящему. И сам себя он узнавал заново и оставался доволен. В середине августа в письме жене он подвел свои первые военные итоги: «Здесь сила воли подвергается решительному испытанию. Пока я испытание выдержал. В активе у меня — две благодарности и — правда, несбывшееся — назначение комсоргом роты. Для начала неплохо». В нем все еще бродила комсомольская юность. Назначение комсоргом не сбылось из-за перевода в отряд при особом отделе армии. Там он впервые подумал сделаться разведчиком. Но его вместе с товарищем по писательской роте опять передали в ополченскую дивизию, не в свою, в соседнюю.

Во всех этих военных пертурбациях Эммануил не забывал о своих покинутых сочинениях. Счет времени в жизни, как писал он жене, пошел у них на минуты и секунды, и в свободную секунду он думал о Колумбе, надеялся, что скоро сможет вновь взяться за него, старого друга...

В ополчении Эммануил был восхищен медсестрой Шурой Девяткиной. В ней поразительно слились солдатская храбрость и женская прелесть. Как в библейской героине. Он писал о ней стихи, пророчил орден Красной Звезды. Потерял он ее из виду, когда записался на курсы младших лейтенантов. Но не забыл, думал о ней.

Немцы прорывались к Москве, и обучаться курсантам приходилось под обстрелами, отходя с рубежа на рубеж. Под Гжатском курсантскую бригаду ввели в бой. На их полк обрушилась авиация, затем все живое конала немецкая артиллерия. Вслед за этим истреблением с дистанции вплотную надвинулась вражеская пехота, на ходу просекая пространство перед собой сплошным пулеметным и автоматным огнем. Эммануил стрелял из своего раскаленного «Максима» до последнего патрона в последней ленте, потом отбивался гранатами и винтовкой. Он не желал смириться перед силой фашистов. О себе он помнил одно-единственное: то, что для него, Эммы Казакевича, ни при каких обстоятельствах, даже в беспамятстве тяжелого ранения, немецкого — гитлеровского — плена нет.

Полк, как и вся бригада, был разбит и рассеян. Уцелевшие курсанты, так и не ставшие офицерами, отступали и выходили из окружения мелкими группами. Эммануил взял на себя командование взводом. Потом эти группы вновь объединялись на дорогах, уже в тылу подошедших свежих войск.

Вместо фронтовой курсантской бригады на ходу формировалась запасная, вбиравшая в себя остатки разбитых частей. Бригада расположилась в городе Владимире. Вид у Эммануила был измученный. Он хромал: сильная потертость ноги перешла в воспаление. Но — никаких жалоб, чтобы, упаси господь, ни у кого и мысли не возникло, что он, недавний ополченец, не годен к строю или, еще того хуже, метит куда-нибудь «в обоз». Недели три он побыл полковым библиотекарем. Прикосновение к разрозненным случайным книжкам, собранным местными властями для бойцов, было для него живительно.

В этот момент судьба причудливо свела его с командиром полка Захаром Петровичем Выдриганом.

Их быстро притянуло друг к другу. Началось со стихотворного рапорта, в котором рядовой Казакевич докладывал командиру полка о том, что он — несчастный библиотекарь, ни в каком подразделении не значится в списках и нет до него дела ни начальнику продовольственно-фуражной службы, ни обозно-вещевой и никак он не добьется поменять свои рваные обмотки... Выдриган прочел рапорт вслух, улыбаясь и покручивая ус. За весь свой долгий командирский путь ему не приходилось получать ничего подобного. Обращение в стихах свидетельствовало о человеке культурном и остроумном, а Выдриган ценил в людях и то, и другое. Конечно, подать командиру полка это сочинение мог только насквозь штатский человек. Однако шпилька насчет живой души, не занесенной где-то в список и оттого как бы и не существующей в полку, вставлена была точно.

Выдриган приказал вызвать библиотекаря. На первый взгляд он показался ему «доходягой»: тощий, прихрамывает. Но держался этот очкарик с достоинством и сразу заявил, что библиотека для него временное занятие, пока болит нога. Они разговорились. Выдриган, проучившийся всего три года в церковно-приходской школе и всю жизнь тянувшийся к знаниям, быстро определил, что перед ним ходячая энциклопедия. Заинтересовало, что ополченец, оказывается, писатель. Правда, никаких его произведений он не читал, да и фамилии не слыхивал, но членский билет подтверждал — перед ним писатель. Кроме интереса ополченец вызвал и симпатию. Командир полка знал, что к тому времени, к концу сорок первого года, остатки ополченцев были уже отозваны из армии или распределены там применительно к их гражданским профессиям. А этот никуда из строя не просился и был намерен снова попасть на передовую, где уже хватанул лиха. Выяснилось к тому же, что они земляки, оба с родной Украины.

Через несколько дней пришел приказ образовать в полку роту краткосрочной подготовки младших лейтенантов, и Выдриган зачислил туда грамотея-ополченца, несмотря на его близорукость. Так Эммануил Казакевич стал офицером.

О своих служебных успехах он сообщил жене: «Итак, как видишь, я «в чинах». В Москве обязательно сфотографируюсь и pošлю тебе фотографию — пусть хоть детки посмотрят на своего папу-лейтенанта».

В это время у него определился последующий этап в его службе вместе с Выдриганом, и он откровенно-приподнято написал своему другу по ополчению Д. Данину, с которым сошелся в писательской роте: «Я адъютант командира части, и притом — командира прекрасного, прошедшего огонь и воду, подполковника, достойного быть генералом».

...Спустя годы (война давно прошла и уже умер Казакевич) генерал-майор в отставке Выдриган расскажет в телевизионной передаче об их с Казакевичем службе и дружбе: «Эммануил Генрихович понравился мне своей прямоотой и смелым суждением о жизни и армейских порядках. В его суждениях я увидел своего единомышленника. Предложил ему стать моим адъютантом, и он согласился».

Было очевидно, что с точки зрения «сбегать-принести, подать-убрать, смекнуть-устроить» — в такие адъютанты Казакевич не годился. У него была собственная мерка обязанностей, и свою должность в полку он полагал весьма ответственной. В этой связи считал, что его слово неизбежно воспринимается как слово самого командира, и постарался, чтобы слово это было дельное и умное. Он взял под свой надзор полковой пищеблок, следя, чтобы скудный тыловой паек без утечки доходил до курсантов; беспокоился, чтоб после долгих занятий в поле, на морозе, они могли бы отогреться и просушиться; заботился и о пище духовной — чтоб люди знали сводки с фронта, зажигательные статьи писателей, трогающие душу стихи.

Он не дергал командира полка по каждому мелкому поводу. Тем паче — *не докладывал* ему на офицеров. Но если оказывалось необходимым где-либо утвердить справедливость, пресечь корысть, навести должный порядок, Эммануил в открытую направлял туда его строгость и власть.

Зная, что Выдриган полюбил его, он тем более не давал себе поблажек. К тому же он, находясь на виду, чувствовал, что за его поступками пристально следят многие сослуживцы. Все это оттачивало поведение. Когда в полку проводились командирские занятия — в открытом поле, зимой, часов по восемь кряду, да по тыловому обеспечению без валенок и полушубков, — Эммануил всегда вставал в общий офицерский строй, не пользуясь специфическими привилегиями адъютантов. Он видел собственное достоинство в том, чтобы быть, как все, и быть собой, не превращать должность в тепленькое местечко. И Выдриган ценил это в нем. А Эммануил увидел в Выдригане героя — отважного разведчика Первой мировой войны, командира партизанского отряда войны Гражданской, наконец, командира полка Великой Отечественной, который вывел свой полк из окружения, был тяжело ранен разрывной пулей, настоял вопреки медицинской комиссии на своем возвращении в армию. Вот на чем замешивались их отношения.

От тех времен сохранились фотографии. На одном из снимков они стоят: командир полка — с мушкетерской бородкой и подкрученными кверху стрелками усов,

уверенно-спокойный, ладный, влитый в давно привычную гимнастерку, коверкотовую, с тремя шпалами в петлицах, а рядом подтянутой струной — его адъютант, тонкий, старательно заправленный, в очках, со щетиной усиков, в гимнастерке заметно попроще и с одним всего-то «кубарьком» в петличке, зато в самом что ни на есть добротном, старшего комсостава, довоенном ремне с латунной массивной пряжкой-звездой, подаренном ему Выдриганом, а сам командир полка подпоясан обыкновенным офицерским ремнем, какой выдавали и старшим, и младшим. Оба — в фуражках, и фуражка по-юношески худоватого младшего лейтенанта толику возвышается над более фасонистой фуражкой подполковника. На другом снимке, сделанном тогда же, они поменялись местами, сели и взяты по грудь. Напряжение первого снимка ушло; на мушкетерском лице Выдригана (бритая лысина скрыта головным убором, как париком) — легкая полуулыбка, словно струящаяся по-щегоольски закрученным кверху кончикам усов, а Эммануил, чуть-чуть за ним, улыбается широко, радостно — видны белая полоса его зубов и веселые глаза из-за круглых очков. Атос и Д'Артаньян из Шуи. (Там находился их полк в то время.)

Эммануил жил внутренне покойно в те три-четыре месяца, когда, став офицером и адъютантом, входил в свою новую должность и положение. Только что произошло, наконец, долгожданное радостное событие на фронте — крепким контрударом отшибли немцев от столицы. Вспыхнула уверенность, что тяжкие военные поражения остались позади, в горестном сорок первом. Новый год начинался с важных перемен и в ходе войны, и в его собственной военной судьбе.

Он энергично вырабатывал в себе армейского командира. Здесь, в полку, он прошел столь понадобившийся ему потом практический «курс военных наук». Запасная бригада готовила для фронта сержантов, и он был удовлетворен приносимой им пользой: «Чувствую я себя хорошо и искренне доволен, что я в армии и посильно помогаю борьбе с противником. Особенно это чувство укрепилось во мне после пятидневного пребывания в Москве... Нет, каждый мыслящий человек должен теперь быть в армии, если только он не женщина и не баба», — написал Эммануил жене.

Служебные обязанности, не умножай он их собственной активностью, оставляли бы ему немало свободного времени. Но это не соответствовало его характеру и понятию долга, а, кроме того, свободное время сейчас тяготило бы его и по тому вдруг обозначившемуся внутреннему разладу, который касался самого сокровенного — его литературного творчества. Потребность творчества не исчезла, нет, и тоска по своим писаньям, оборванным войной, накатывала на него с неподвластной силой. Возникали и новые замыслы. Но внезапно у него пропала всегдашняя способность *писать*: сама эта способность уверенного воплощения мысли в слове как бы отделилась от него, отлетела, быть может, куда-то недалеко и ненадолго, но ее не было. И полковой круговорот с утра до ночи помогал ему уживаться с самим собой.

В то же время захваченный новыми для него обязанностями, Эммануил постоянно вспоминал своих товарищей по ополчению, переживал их судьбу, пытался осмыслить происшедшее. При отступлении и потом, в запасной бригаде, он мучительно тревожился о Шуре Девяткиной. «Ты не можешь даже представить себе, как она не выходит у меня из головы. Мне тяжело представить себе, что произошло, если она оказалась в плену. Это почти как любовь и, конечно, не любовь, а сожаление. И еще что-то», — писал он из Шуи Д.Данину. Но разве всегда точно определишь свои чувства? В глубине души Эммануил верил, что он пророк. И поскольку он предсказывал ей орден, то долго искал ее имя во всех газетах, прежде всего в списках награжденных. Не находил. И все-таки надеялся на свое пророчество, на то, что она жива.

У него было много друзей в полку. Были, естественно, и недруги, косо глядевшие на очкастого интеллигента, выслуживающегося перед командиром и сующего свой нос куда не просят. Но поставил он себя твердо и при надобности умел выразительно объяснить с представителем любого социального слоя, не уступая в такой личной стычке ни рабочему классу, ни колхозному крестьянству.

И шла вся эта его жизнь, как и у всех других, в ожидании само собой разумеющейся скорой отправки на фронт. «Но на фронт еще не посылают, хотя пора бы уже, по совести говоря», — написал он Д.Данину в июне 1942 года.

По совести говоря...

Как вдруг он узнает, что командир полка, тяжело раненный в начале войны и еле-еле уговоривший высокое начальство оставить его после госпиталя в кадрах, хотя бы в тылу, теперь добивается направления в Действующую армию. Вот она, хватка бывалого воина! Эммануил тотчас обратился к нему с рапортом: «Возьмите с собой и меня... Можете не сомневаться в том, что я готов на любые невзгоды и на смерть, если она будет необходима для победы». Он и сам уже был полностью готов и желал отправиться на фронт по первому же приказу, но почин командира побудил к личному шагу. И не его одного. Рапорта в полку подали многие офицеры — такова была тяга на фронт и сила примера. Командиру полка отказали; наступило временное затишье — уже без прежнего удовлетворения и равновесия.

Перемена для Эммануила, тем не менее, грянула скорая и нежданная. Как члена Союза писателей его перевели из районной Шуи, где стоял полк, во Владимир, в только что созданную бригадную газету. Адьютантом у Выдригана Казакевич пробыл полгода. В письме жене он подчеркнул: «Таким образом, меня, неожиданно для меня самого и без каких-либо просьб с моей стороны, вернули некоторым образом к моей довоенной специальности. Что ж, хотя и не хотелось уезжать от друзей в полку, но, вероятно, все к лучшему».

Газета была для него давно знакомой обителью. Он включился в работу с ходу, со всей присущей ему энергией и добросовестностью. Но внутренний счетчик отбивал свое, тревожил, торопил, и Эммануил именно здесь все с большей и большей настойчивостью стал просить бригадное начальство об отправке его на фронт. По житейской своей прямоте он не сразу постиг, что обращения эти для него бесплодны. А когда уразумел, взял выше рангом и во время командировок в Москву бил в ту же точку по другим линиям — в Союзе писателей, в окружной газете, патронировавшей войсковые многотиражки, в политуправлении округа. И там дальше обещаний дело не сдвинулось. Был еще один шанс, на который он долго, очень долго надеялся, — что их курсантская стрелковая бригада поедет в полном составе на фронт, о чем не раз толковал ему начальник политотдела, ссылаясь на общую директиву по армии и ожидаемый вот-вот приказ; убедительно толковал, доверительно, и в сорок втором году, и в сорок третьем...

В мае 43-го Эммануил писал жене: «Меня отсюда не хотят отпускать. Делают это из соображений деловых — я работаю хорошо, и из дружеских — нечего, мол, ехать на фронт. Сиди здесь — чем тебе плохо? Но этим мне делают медвежью услугу. Все равно — на фронт нужно идти...» По доверчивости души он так и не уяснил до конца, что происходило за кулисами его переговоров с начальством. Происходила же банальная история — «деловые и дружеские соображения» его ближайших начальников были небескорыстны. Всякий раз, когда Эммануил, более или менее обнадеженный — «подумаем, посмотрим, поможем» — возвращался из политотдела бригады, туда отправлялся редактор со своим подбором доводов, по которым Казакевича никуда из редакции отпускать было нельзя.

Эммануил вытягивал редакционный воз на себе. Это было у него в крови — взваливать дело на свои плечи. Он увлекался работой, предлагал толковые идеи и сам же их осуществлял. Его блокнот был постоянно набит фамилиями и фактами, из которых он один, точно маг, сотворял за пару часов целую полосу. При такой палочке-выручалочке редактору вольготнее жилось во граде Владимире, можно было пользоваться радостями тыловой жизни.

В своих хождениях к начальнику политотдела редактор был настойчив и сметлив. А дальше все шло по схеме. Начальнику политотдела в первую очередь был нужен в бригаде *порядок*. «Порядок» с газетой обеспечивал добросовестный, писучий, политически грамотный Казакевич... Таков получался расклад игры.

Но в этот начальственный пасьянс вдруг вторглась еще одна карта. В начале апреля полковник Выдриган был вызван из Шуи в Москву в Главное управление кадров Красной армии. За месяц до того он подал на имя начальника ГУКа еще один, уже третий по счету, рапорт с просьбой отправить его на фронт. В написании этого рапорта участвовал и Эммануил. Рапорт сложился строгим, убедительным и прочув-

ственным — в прошлом году Выдриган получил похоронные извещения на обоих своих сыновей, молодых командиров, пехотинца и летчика, и писал теперь о том, что находиться далее в тылу ему невероятно тяжело. На сей раз рапорт не остался без ответа, и ответ был положительным. В тот момент, весной 1943 года, и фронт, и вся страна тревожно ожидали очередного летнего наступления немцев, в которое Германия непременно ринется всею своею сконцентрированной мощью и новоизобретенной техникой, чтобы взять реванш за оглушительное зимнее поражение под Сталинградом. Ставка Верховного главнокомандования производила усиление стратегических направлений новыми соединениями. Выдригана назначили заместителем командира 51-й стрелковой дивизии, формировавшейся в составе Западного фронта.

И все свои надежды вырваться из тыла в Действующую армию Эммануил связывал ныне только с Выдриганом. То был его последний законный шанс. Они твердо условились обо всем, когда он провожал Выдригана из Шуи. И Выдриган тотчас по прибытии к месту назначения предпринял энергичные шаги для вызова его на фронт. Перевод, однако, затягивался, срывался. Беспокойство Эммануила отразилось в письме жене:

«О моей дальнейшей судьбе я еще ничего определенного не знаю. Думаю, что вскоре поеду навстречу неизвестному. Но это не должно тебя волновать. Нам на роду написано быть вместе, и мы будем вместе. Поэтому ты должна присоединить свои молитвы к моим стараниям попасть на фронт в дивизию, формируемую моим полковником... Меня отсюда не хотят отпускать...»

Жена, мать двоих детей *должна* была молить.

...Впоследствии, лет через двадцать, генерал в отставке Выдриган поведаст в своих воспоминаниях:

«Эммануил Казакевич настаивал на том, чтобы его забрать на фронт. Откровенно говоря, мне было жаль и его и себя, потому что в случае разлуки я оставался без близкого друга и хорошего советчика.

Я знал, что законным путем никак не смогу взять Казакевича на фронт, тем более — к себе. Эмма написал мне, что он так или иначе попадет на фронт, хотя бы через штрафной батальон.

Зная его характер, я боялся этого, боялся, что Казакевич пойдет на все...»

Все попытки Выдригана перевести его к себе в дивизию по должной форме натолкнулись на сильное противодействие бригадного начальства и отказ политуправления округа. Отсюда и знание того, что законным путем он не сможет забрать его на фронт. Отказано было и Казакевичу в просьбе послать его куда угодно, если нельзя к Выдригану, лишь бы в Действующую армию.

Тогда у друзей и созрел план побега.

2

Эммануил Казакевич совершил побег из запасной бригады в ночь с 25 на 26 июня 1943 года. Он оставил несколько писем начальникам и сослуживцам.

По тому обороту, который тотчас приняло его дело, все эти письма сохранились, через десять лет, когда он уже стал известным писателем, нашлись и даже попали к нему, а затем были посмертно опубликованы вместе со многими другими письмами и документами военного периода его жизни.

Письмо командиру курсантской запасной стрелковой бригады было составлено в форме рапорта — «генерал-майору... от младшего лейтенанта...» и по-военному лаконично излагало причину и вызванное ею действие:

«Товарищ генерал-майор!

В июле 1941 года я ушел на фронт добровольцем. С декабря 1941 года сижу я в тылу. Все последнее время я прошу отправить меня на фронт, много раз просил старших начальников помочь мне в этом деле. К сожалению, мне не помогли.

Теперь я уезжаю на фронт, зачисленный в 51-ю стрелковую дивизию на должность помощника начальника 2-го отделения штаба дивизии (выписку из приказа по дивизии прилагаю).

Не сердитесь на меня, товарищ генерал, за мой внезапный отъезд. Надеюсь,

что вы простите мне это, и уверен, что вы еще услышите обо мне как о боевом командире».

В письме начальнику политического отдела Эммануил объяснился без строгой официальности, положив руку на сердце:

«Прощаясь с Владимиром, с бригадой, я прежде всего думаю о том, как вы посмотрите на мой отъезд. Мне было бы очень больно, если бы вы стали меня осуждать.

Я еду на фронт работать в разведке штаба дивизии. Я уверен в себе, в своих силах, а главное — в своей стойкости и стремлении стать настоящим боевым командиром.

Что ж, я знаю, что бригада многое мне дала в смысле воинского воспитания. Здесь вступил я в партию, и вы вручали мне партийный документ и дали мне лестную боевую характеристику.

Я вам благодарен за это. Благодарен я вам также за хорошее отношение ко мне.

Желание, горячее и непреодолимое, быть на фронте, активно бороться в рядах фронтовиков за наше дело — желание, о котором я вам много раз говорил, — вот причина моего внезапного отъезда.

С точки зрения житейской мне здесь жилось прекрасно.

Но у меня с немцами большие счета — я коммунист, командир, писатель. Пора мне начать эти счета сводить.

Думаю и уверен, что вам, товарищ майор, не придется краснеть за своего воспитанника, которому вы вручали кандидатскую карточку ВКП (б).

Я уже давно мог уехать, но меня останавливало чувство долга: я не мог оставить редакцию в составе двух человек. Теперь в редакции прибавился квалифицированный журналист, а второй литсотрудник, принятый в ВКП (б), может с успехом меня заменить.

Не поминайте лихом, тов. майор.

Надеюсь — мы еще увидимся за стаканом вина в час победы.

С приветом...»

Еще два письма. Майору, секретарю партийной комиссии, но не по службе, «а как старшему товарищу-коммунисту, который меня хорошо знает и которого я уважаю». Это письмо заключалось такой знаменательной фразой: «Тыловая жизнь, легкая для тела и тяжелая для души, — на этом кончается». И — совсем по-свойски, открытым сигналом на поддержку — старшему лейтенанту из политотдела, комсомольскому вожаку в бригаде: «Мой отъезд, возможно, вызовет чей-нибудь гнев. Нужно этот гнев умерять. Надеюсь на друзей. Будь здоров». Было, конечно, и письмо редактору бригадной газеты «Боевые резервы»:

«Друг Измаков!

Когда ты будешь читать это письмо, я буду уже приближаться к фронту — к предмету моих мечтаний на протяжении последнего года.

Думаю, что ты поймешь меня. Я просто понял, что волей судьбы я другим путем на фронт не попаду...

Тебе прекрасно известно, что жилось мне во Владимире превосходно, что работал я неплохо. И ты, и начальник политотдела ценили меня. Я ухожу не от плохой жизни к хорошей. Я хочу воевать, раз уже война на свете, да еще такая.

Не поминай меня лихом и прости, что я это делаю таким образом. Я хочу ехать на фронт и приносить делу победы максимальную пользу. А другого пути не вижу.

Прошу тебя — передай генералу выписку из приказа по 51сд и письма, которые я прилагаю.

Буду жив — увидимся.

г. Владимир

Эм. Казакевич».

В каждом из написанных в ту ночь писем он непременно, словно заклинание, повторял фразу, что едет на фронт, зачисленный в 51-ю стрелковую дивизию на должность помощника начальника 2-го отделения. Он желал верить, что у него уже есть такой «вид на жительство» в Действующей армии. Накануне к нему прибыл сержант-нарочный, посланный лично Выдриганом, и привез пакет. В запечатанном

конверте были документы: удостоверение о том, что младший лейтенант Казакевич Э.Г. назначается помощником начальника 2-го отделения (разведки) штаба 51-й стрелковой дивизии, и выписка из приказа частям дивизии по этому поводу. Выписка предназначалась для местного бригадного начальства в качестве хоть какого-то официального прикрытия его отъезда (потому он и приложил ее к рапорту на имя генерала), а справка-удостоверение с его фотографией — для беспрепятственного проезда в условиях военного времени, когда на каждом шагу его могли остановить патрули и задержать как дезертира. Впрочем, юридически он, самовольно покидая свою запасную бригаду (поскольку «приказ» по 51-й дивизии не имел здесь никакой силы), и так оказывался в положении дезертира. И подлежал ответственности по законам военного времени.

Что касается самих присланных Казакевичу документов, то оформить их по своей договоренности с комдивом или начальником штаба на новом месте службы Выдригану было нетрудно. Для этого даже не требовалось подлинного приказа по дивизии. Такой приказ, если затея не провалится, отдали бы задним числом.

...В годы Первой мировой войны восемнадцатилетний Эрнест Хемингуэй с упорством одержимого добивался того, чтобы отправиться на фронт в Европу. Биограф сообщает, что после окончания школы он пытался завербоваться двенадцать раз, и всякий раз ему отказывали: наследственная близорукость была осложнена повреждением глаза, полученным на занятиях боксом. Тогда он, имея в виду когда-нибудь и литературную карьеру, поступил репортером в газету, уехав подальше от дома. В газете он проработал семь месяцев, повсюду успевал быть впереди — на пожарах, на местах убийств и грабежей. Но продолжал видеть себя на войне. В мае 1918 года юный Хемингуэй сумел записаться в автоколонну американского Красного Креста, направляемую на итало-австрийский фронт. Пусть санитаром — только на войну. Вместе с другими новобранцами он промаршировал в Нью-Йорке мимо президента Вудро Вильсона и прибыл в Италию на участок фронта, где итальянские войска закрепились после отступления из-под Капоретто. Будничная работа в санитарной автоколонне на отдалении от переднего края не удовлетворила Хемингуэя, и он вызвался развозить на велосипеде по окопам фронтовые подарки, почту, литературу. За шесть дней, что он провел на передовой, в 50 метрах от австрийцев, Хемингуэй приобрел репутацию заговоренного от пули. На седьмой день его вместе с тремя итальянскими солдатами-слухачами, дежурившими на передовом посту, накрыла австрийская мина. Хемингуэй получил контузию, 227 мелких осколочных ранений (осколки из него выходили почти тридцать лет) и пулеметные ранения в ноги, когда он тащил на себе (и — дотащил, с простреленными коленями и пробитой в двух местах ступней) раненого итальянца. В госпитале его несколько раз оперировали, поставили на место раздробленной коленной чашечки серебряную пластинку.

Неделя на передовой, три месяца госпиталя, затем короткая, менее месяца, служба лейтенантом в итальянских ударных частях, уже без боев, перед самым заключением перемирия, а всего полгода с момента отправки из Америки — этого Хемингуэю хватило, чтобы окунуться в войну с головой и спустя десять лет написать «Прощай, оружие!» (В том же 1929 году был опубликован и роман его немецкого сверстника Ремарка «На Западном фронте без перемен»).

Конечно, юный Хемингуэй горел желанием сражаться «за свободу и демократию», был смел, благороден, спортивен, хотел испытать себя, познать, что есть война. Все это неудержимо влекло его на фронт. Но, «разматывая» его биографию назад, — как не подумать, что им двигала и некая *неосознанная* необходимость, его — заложенная в нем — писательская суть, еще никак почти не проявленная (всего-то: участие в школьных литературных журналах и полугодовая работа репортера), ему самому неясная, пока подсознательная, но необоримая, ибо она — суть.

Казакевичу в 1943 году, в феврале, исполнилось 30 лет. Так что побег на фронт совершал не восторженный или одержимый потребностью самоиспытания и «смутным влечением чего-то жаждущей души» юноша.

На фронт бежал вполне зрелый человек, уже испытывший себя в бою, где вел

себя храбро, слава богу, уцелел, пережил опасности окружения, потрясение и горечь отступления.

Каковы же были глубинные побуждения такого его решения? В письме редактору бригадной газеты есть строки: «...я хочу, искренне хочу быть на фронте. Это не поза «удальца» или голые слова хвастуна. Это — вопрос моего горячего желания и, если хочешь, дальнейшей литературной жизни». Эммануил Казакевич обладал острым чувством истинного в себе. И — силой характера, чтобы не мириться с подменой и противиться принуждению. Он должен был воевать. Он задыхался во Владимире. Он просто *не мог* высидеть в тылу, когда шла война. Участие в войне с фашизмом было для него вопросом совести. «Где ты был, Адам? Я был *там*».

Одновременно и Литература тоже требовала *от него* все увидеть и все испытать самому. «Почему ты напишешь об этом? Я это *пережил*». Веление совести и чести соединилось у него с необходимостью, диктуемой литературным талантом. Ведь талант это не только дар Божий, это — судьба. Такое соединение и придало ему бесповоротной решимости.

И после войны ему не потребуются годы (как Хемингуэю или Ремарку), чтобы написать свою «Звезду» и «Двое в степи». Эти десять литературно-формирующих лет, обязательных почти в каждой писательской биографии, он прожил до войны...

Но пока осуществлять свое решение ему приходилось тоже «поэтическим» способом.

Он оставался поэтом. Писал стихи, вспоминал стихи других поэтов, поэзия жила в нем. И помогала ему выстоять. В ополчении они с Д.Даниным утешались стихами Пастернака. На курсах младших лейтенантов он вызывал в памяти «Незнакомку» Блока, чтобы на миг отключиться от всего окружающего. А отступая по дорогам Московской области, повторял тютчевские строки:

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня.
Тяжело мне, замирают ноги.
Друг мой милый, видишь ли меня?

Поэзия выражала и его собственный отклик на все, чем было затронуто сердце. Самый первый отклик был четверостишием на еврейском языке, которое он послал жене, когда стал рядовым 22-го стрелкового полка 8-й Краснопресненской дивизии Московского народного ополчения. Потом он принялся писать по-русски и понял, что стихом ему надо овладеть заново. Однажды захотелось подать свой голос, заявить о себе — жив поэт, работает, пишет, как многие. Пусть ведают друзья и знакомые. Он послал тогда в «Правду» новогоднее стихотворение. Отправил поздновато и потому без надежды на опубликование. Будто нарочно раздумывал — посылать, не посылать — и послал не загодя, а так, чтоб опоздало и не напечаталось... Единственная за войну попытка опубликоваться в большой прессе.

Это был самый разгар его адъютантства, обретения навыков и знаний, необходимых на войне. И это было время, когда он обнаружил, что не в состоянии по-прежнему продолжать свое писательство. Приезд на несколько дней в Москву вызвал у него много раздумий о своей творческой судьбе. Эммануил поделился ими с Д.Даниным:

«Писать я не могу, ибо утратив один язык, я не обрел еще другого — это во-первых, или, вернее, во-вторых, и в сердце пустовато — это во-вторых, или, вернее, во-первых.

...Когда я был в Москве, я видел Рубинштейна, Фурманского, Алигер, видел Маркиша... видел выложенного шпалами С. И я начал подозревать, что мне, молчаливому поэту, не пишущему писателю, лучше, чем им. Что-то накапливается в сердце и не разбрызгивается понапрасну в поневоле пустых, ибо незрелых словах...».

Но писать стихи он продолжал. В их курсантском полку не было *своей* строевой песни. Пехота пела «В гавани, в далекой гавани, пары подняли боевые корабли» и «Прощай, любимый город, уходим завтра в море». Эти песни пели и другие полки. Но

то — другие. И Эммануил сочинил песню для своего полка. Полковой дирижер положил ее на музыку, песню подхватила вся бригада. К полнейшему удовольствию Выходяна.

В августе сорок второго, получив сообщение жены о смерти ее отца, он посылает написанные ранее и посвященные ей стихи «Владимирская элегия». В одной из строф там говорилось:

Вот путь к тебе недалекий на Восток.
На Западе ж — распятая Россия.
О, сколько солнц и лун пройдут свой срок!
Как бесконечен путь к вратам Батыя!

Он оставался поэтом. И на введение погон после Сталинградской битвы реагировал по-своему. Сообщая жене о возможном приезде в отпуск, написал: «Приеду при новой форме — в погонах, как мой предок М.Ю.Лермонтов». Ведь все поэты — братья...

Вместе с тем он трезво осознал, что все, что он писал, — не та работа, которой литератор, как своим главным делом, может участвовать в войне. Потому и считал себя «молчаливым поэтом, не пишущим писателем». Для себя он избрал иной род участия — с оружием в руках дойти до «врат Батыя». Таково было его душевное состояние. И главная причина его молчания. Но кроме этой очевидности, кроме трудностей перехода с одного языка на другой, кроме отрицания им в литературе «поневоле пустых, ибо незрелых слов», вдруг обнаружилась еще одна причина, уводившая его от поэзии и драматургии. Возникло предчувствие грядущего перехода к прозе, в которой, возможно, и будет суждено наиболее полно проявиться его таланту. Он упомянул об этом в письме к жене:

«Утешаюсь тем, что, как только кончится война, я начну писать роман — большую книгу, которая иногда болезненно ощутимо стучит в сердце, как ребенок восьми месяцев стучит в живот матери. Она уже готова, может быть, и нужно только, чтоб не было войны, а были — ты, Женечка и Лялечка и много белой бумаги на столе. А это будет».

И о том же — в шуточных стихах, сочиненных в полку в Шую:

Фабричный город Шую
Наверно, удивлю я —
Куплю тетрадь большую
И книгу напишу я...

По свидетельству сослуживцев, у него и вправду имелась конторская книга, в которой он постоянно делал записи.

Таким образом, к переходу с одного национального языка на другой добавлялись поиски иного «языка» в самом творчестве, поворот «магического кристалла» новой гранью.

В этот период и выпало ему испытание газетой. На первых порах показалось: быть по сему. Но он помнил о своей Литературе и понимал, что публицистика, журналистика — не его призвание. Бригадная газета «Боевые резервы» так и осталась его единственной «печатной площадкой» военных лет. (И на фронте его не потянуло более ни в какую редакцию.) Он искал собственный путь на войне, не понуждая свое сердце, а прислушиваясь к нему.

«Редактор газеты «Боевые резервы»

Начальнику политотдела

Донесение

Доношу, что литработник редакции, младший лейтенант Казакевич Э.Г. в ночь на 26 июня самовольно выехал в 51 сд (д. Сулихово). Как теперь стало известно, Казакевич имел заранее оформленные документы на должность помощника начальника 2 отделения штаба 51 сд. Эти документы вместе с выпиской из приказа частям 51 сд (№018) ему были доставлены красноармейцем этой дивизии (фамилия его неизвестна).

В последние два месяца после отъезда полковника Выдригана Казакевич много говорил о выезде на фронт, прикрываясь в таких случаях своим "патриотизмом".

К работе в редакции относился недобросовестно, моих поручений часто не выполнял.

О выезде Казакевича мною сообщено этапному коменданту ст. Владимир, а также отделу контрразведки СМЕРШ в 4.00 26 июня 1943 г.

Приложение: письма Казакевича, выписка из приказа по 51 сд и стихотворение "Прощальное".

Как в описи, редактор поименно здесь же перечислил адресатов приложенных писем, включая себя.

Конечно, редактор бригадной газеты был обязан *донести* по команде о случившемся ЧП и принять меры к розыску и возвращению беглеца в часть. Тем самым он выполнял все, что требуется от воинского начальника в подобных случаях. Но старший лейтенант заодно поднял на ноги контрразведку, хотя ни малейшего сомнения в том, что Казакевич действительно выехал в 51-ю дивизию, у него не было. Он действовал по установившейся практике. В испуге за себя он также отрекался от подчиненного, очернял его работу. И, озлобившись, взял в кавычки патриотизм своего товарища. Не обошлось и без вспышки скрытой зависти. Разыгрался, как видно, местный вариант сальеризма. Вечная тема, в работе над которой Эммануила застигла война.

В ту ночь редактор бдительно пресек нити, которые человек, поставивший себя, по его мнению, вне закона, пытался протянуть через него к своим товарищам, не дал запутать себя на былой дружбе и сделать, чего доброго, *связным*. Не понадеялся редактор и на самих адресатов писем. А утром в разговоре с назначенным в редакцию офицером из Шуи объявил, что Казакевич *сдезертировал* — на фронт и с документами, полученными от Выдригана...

Через двадцать два года бывший редактор бригадной газеты напишет вдове Казакевича письмо-воспоминание:

«Это был прекрасной души человек, замечательный работник. Жить и работать с ним было весело и легко, несмотря на трудности тыла. В редакции кроме него нас было трое, но делал он (зачеркнуто: «за всех нас») столько, сколько мы все, пожалуй, вместе взятые. Писал он легко и интересно, писал все, что требовалось и в любом жанре — от передовицы о соблюдении армейского Устава до лирических стихов».

И далее — о победе Казакевича:

«Утром, когда я встал, койка Эммануила Генриховича была пуста. Я подумал, что он вышел на несколько минут, но тут заметил на столе записку. В ней было написано примерно так: «Настало время расставаться, хватит коптить небо. Я ушел на фронт. Искать меня бесполезно. Передай мой поклон всем товарищам из редакции и типографии». Когда и как он ушел, не знала и хозяйка квартиры.

Я обязан был доложить об «исчезновении» т. Казакевича командованию. Были предприняты меры к его возвращению, послана телеграмма в Москву, в комендатуру. Но все это было бесполезным, да и не нужным. Он ушел не в тыл, а на фронт, туда, где ковалась победа. Он пошел в самое пекло войны, чтобы потом создать свои замечательные произведения — «Звезду» и «Весну на Одере»».

В этом письменном воспоминании отредактировалось все то, что хотелось бы вычеркнуть из прошлого. Бывший редактор «Боевых резервов» цепко помнил о событиях той ночи и о письмах Казакевича, оставленных для командования и политотдельцев и приложенных им сразу к *делу*. Но он веровал, что давние те бумаги пылятся где-нибудь за семью печатями.

А Эммануил был добр и незлопамятен. Когда те документы, переданные после расформирования запасной бригады в архив областного военкомата, попали к нему, уже известному писателю-лауреату, во время его годичного пребывания на Владимирщине, он не прекратил переписку с приятелем военных лет, ни в одном письме не подал вида, что читал его донесение, и, откликаясь на его просьбы, даже посылал ему свои книги с дарственными надписями.

Он помнил, какое было время, и учитывал, что редактор был ранен на первом году войны.

Ему удалось избежать проверки документов в поезде, где по вагонам, набитым людьми с котомками и чемоданами, продирался комендантский патруль. Затем он, прибыв в Москву, ловко миновал патрульные наряды на Курском вокзале и привокзальной площади, как бы держа экзамен на разведчика. И уже на Киевском вокзале совсем по-фронтовому пристроился в воинский эшелон, следовавший в нужном ему направлении. Здесь он почувствовал себя почти в безопасности: облава в поезде и московские кордоны были позади, состояние преследуемого одиночки отступило, и он ехал с надеждой, что теперь, когда владимирский Рубикон перейден, все как-нибудь утрясется, с большим или меньшим скрипом.

Месяц назад, получив от Выдригана телеграмму — «жди нарочного», — он написал мужу своей сестры: «Единственное «но»: ПУМВО и мое начальство. Но я, желая уехать, добьюсь своего. А в крайнем случае... Уехать на фронт — не преступление же, в самом деле! Война так война!» Таково было его настроение.

Он сошел на разбитой железнодорожной станции за Малоярославцем, недалеко от Калуги. Резервная 21-я армия располагалась на левом, южном, фланге Западного фронта. У Выдриганова гонца Эммануил подробно выспросил, как добраться до заветной «д. Сулихово», где находился штаб 51-й дивизии. Там он и предстал перед полковником Выдриганом, доложив по уставу о прибытии, а потом, наедине, о всех подробностях своего «внезапного отъезда».

В разведотделении вакантного места, согласно посланной Казакевичу выписке, не оказалось. И пока в дивизии судили-рядили, как получше договориться с кадровиками армии и зачислить его в штат по всем канцелярским правилам, он был прикомандирован к дивизионной газете. Эта мимолетная остановка в местной редакции лишь подтвердила ему верность избранного пути: прощай, газета, нет, не затем он бежал на фронт.

А тем временем политуправление Московского военного округа снеслось с политотделом 21-й армии, и через неделю Казакевича как преднамеренного самовольщика увезли из дивизии. Операция была проведена в отсутствие Выдригана, ездившего в тот день на рекогносцировку района передислокации и узнавшего о происшедшем от начальника особого отдела. Офицер политотдела армии доставил Казакевича в штаб, где ему вручили предписание вернуться в МВО, а затем сдали коменданту станции для отправки в Москву.

И вот тут вмешалось судьбоносное «стечение обстоятельств», которое Эммануил воспринял как вершившееся чудодействие. Именно в этот день Выдригана вызывают в Москву в Главное управление кадров за новым назначением. Вернее всего, они с Казакевичем встретились на дороге между штабом дивизии и штабом армии — Эммануил не мог уехать, не простившись с Выдриганом, и, ускользнув из-под надзора, шел к нему со станции, а тот уже катил на своем «виллисе» по вызову в Москву. И прибыли они в столицу вместе. Об этом говорится в сохранившейся «памятной записке» Выдригана, которую он составил для выступления по телевидению в 1966 году, в четвертую годовщину смерти Казакевича.

В политуправлении МВО Казакевич, после крепчайшей головомойки, получил строгий приказ и письменное предписание — немедленно следовать обратно в бригаду. Там он должен был понести на первый раз дисциплинарное и партийное наказание.

А на следующий день после проработки младшего лейтенанта Казакевича в политуправлении МВО Выдриган получил в ГУКе новое назначение — на должность заместителя командира 174-й дивизии и, сумев вписать в свое предписание младшего лейтенанта Казакевича, тревожно ожидавшего на улице решения своей судьбы, увез его с собой. Лихая ставка Выдригана была на то, что 174-я дивизия уже в боях — не вытаскивать же людей из-под огня в московские кабинеты...

II. Войсковой разведчик

1

Из державной Москвы он махом перенесся во фронтовую заверть.

174-я дивизия участвовала в тяжелых наступательных боях на Смоленщине. Каждая пядь земли доставалась нашим войскам ценою многих жизней. Но Эммануил, помнивший лето и осень сорок первого года, поразился огромной перемене, происшедшей в армии. В день приезда с командного пункта дивизии, куда он прибыл с Выдриганом и где ему с ходу нашлось применение, он написал жене короткое письмо, карандашом, на каком-то подвернувшемся под руку пустом бланке. Несколько строчек о своих перипетиях и первых впечатлениях:

«16.7.43. Действующая армия

Любимая моя, пишу тебе наспех — нет времени. Из Владимира меня не отпускали, и я уехал сам, получив соответствующие документы из Действующей армии. На днях я был с полковником в Москве, в НКО СССР, и мой отъезд на фронт был санкционирован. Галечка, я очень доволен своим переездом на фронт.

Наша армия очень изменилась с начала войны. Это теперь прекрасная армия, идеальная: бойцы не думают больше, как правило, о смерти, они думают только о победе».

Эммануил переводил захваченные немецкие документы, допрашивал, рассортировывал пленных, распоряжался, вызывая у офицеров штаба одобрение своей инициативой, умелостью, образованностью. С первых дней он ощутил себя почти что старожилом дивизии, где все в штабе знают его и он уже знает здесь всех.

Эммануил был счастлив. Вот она, настоящая жизнь: бесстрашие своих бойцов, плененный враг, пекло битвы, тот самый котел истории, в котором выплавляется будущее. И он — не просто современник, наблюдатель или косвенный помощник, а непосредственный участник битвы.

Выдригану было отрадно видеть его таким. Никаких осложнений в связи с его появлением в 174-й дивизии на первых порах не предвиделось — он прибыл с новым замкомдивом и значился в предписании ГУКа. А в Москве Выдриган успел позвонить своему приятелю в отделе кадров МВО и, сообщив о полученном им самим назначении, подбросил ему информацию о Казакевиче — едет младший лейтенант вместе с ним, в ГУКе дали «добро», должен быть приказ в округ. Подполковник, естественно, передаст эти почти официальные сведения своему начальству, да Выдриган и просил его об этом. И в округе будут терпеливо ждать, если вообще не притихнут: ГУК есть ГУК, все под ним ходят. Не пренебрег Выдриган и военной хитростью, изменив при разговоре с приятелем номер своей дивизии, чтоб запутать след. При всей наивности уловки она тоже могла дать выигрыш времени.

Однако горький опыт подталкивал его к дальнейшим действиям. Выдриган порекомендовал комдиву взять Казакевича в адъютанты. У Захара Петровича был свой расчет: пусть комдив поближе его узнает и как следует оценит, это понадобится, если опять возникнут неприятности. А Эммануил и думать перестал о минувших передрягах. Его захватило фронтовое бытие, и должность адъютанта комдива он оценил как возможность для себя больше видеть и даже влиять на события.

Эммануил самоотверженно исполнял свои обязанности. Он спас комдиву жизнь, успев затащить его в изгиб боковой траншеи, когда подбитый в воздушном бою и объятый пламенем и дымом самолет падал прямо на дивизионный НП. Эммануил действовал молниеносно, с железной хваткой, точно определив место укрытия и отринув на миг условности субординации. Его сигнал уберег от гибели и других офицеров. Затем они с комдивом попали в сильнейшую переделку по дороге к переднему краю, где на открытом и ровном, без складочки, поле их застigli немецкие штурмовики, обрабатывавшие позиции передовых батальонов дивизии. Вражеские самолеты кинулись в гон за их «виллисом». В продолжение всей этой немецкой охоты Эммануил хладнокровно подсказывал водителю, как лучше маневрировать, поддерживая в нем самообладание, и даже напевал какую-то песню. Он знал, что он не трус,

но он проверял себя среди фронтовиков и вырабатывал свой стиль — невозмутимость под бомбежками и при артобстрелах.

Насыщенная действием и опасностью фронтовая жизнь, уплотняя человеческое время, намного опережала в сознании календарное течение суток. Прошло всего две недели, и в последний день июля, к вечеру, в дивизию поступила телеграмма: «Казакевича Эммануила Генриховича откомандируйте отдел кадров армии». Комдив, которому адресовалась телеграмма, показал ее Выдригану. Захар Петрович долго держал бланк в руках, вперившись в написанные шифровальщиком от руки обычные слова, для них с Казакевичем зловещие. Комдиву было известно, что перевод младшего лейтенанта в Действующую армию стоил им обоим многих хлопот, но истинных причин расстройств своего заместителя он не подозревал. И поручил Выдригану выяснить, зачем кадровикам понадобился Казакевич.

Тревога оказалась местного значения. В штаб армии — своя рука владыка! — подбирались наиболее образованные люди, квалифицированные специалисты. Начальник отдела кадров даже «угощал» свое командование каким-нибудь редким знаком. Для анкет этих личностей имелась особая папка. Младший лейтенант Казакевич привлек его внимание своей писательской профессией, подтверждаемой членским билетом. Знание немецкого языка тоже, как говорится, на дороге не валяется. Он доложил о нем начальнику штаба. На Казакевича поступило сразу две заявки — переводчиком в оперативный отдел и офицером в наградной.

Удивление, конечно, вызвала у него заявка из наградного отдела — неужто там своих людей нет на столь теплую должность? Выдриган объяснил ему, что наградные листы — очень тонкое искусство: бывает, что и большой подвиг отметят скупой, а кому вместо положенной медальки и орден выйдет. Это как расписать. А он — писатель, поэт...

Как и рассчитывал Выдриган, под защитой самолюбивого комдива, пригрозившего кадровикам, покусившимся на его адъютанта, что он обратится к командарму, Эммануилу удалось остаться в дивизии.

Он зачастил к разведчикам, подружился с командиром разведроты. Душа его искала самостоятельного дела, и дело это было найдено. Адъютантство, как и газета, представлялось теперь пройденным этапом. Тем более что состоял он не при Выдригане. И комдив, не без влияния своего нового заместителя, склонился к тому, чтобы передать его в разведотделение штаба, где он уже сделался своим человеком и куда его охотно брали на вакантное место. Перевод этот на первых порах не сопровождали официальным приказом, выдерживали, но Эммануилу было важно то, что он делал фактически. Он уверовал в прочность своего положения в дивизии — насколько это вообще было мыслимо в тех условиях. Способствовала тому и наладившаяся после многократной смены его адресов переписка с семьей и родными. Нынешний номер полевой почты казался ему устойчивым.

Несмотря на все боевое напряжение, письма жене и сестре — когда обстоятельней, когда лишь в несколько строчек — он умудрялся писать часто. И жадно ждал писем от них. «Здесь письма имеют особую силу», — написал он жене в промежутке августовских боев. И через несколько дней повторил еще: «...здесь более чем где-либо необходимо получать письма. В этих дождях, в постоянном движении вперед, в гуле и грохоте и постоянной неизвестности насчет завтрашнего дня каждое письмо действует буквально, как бальзам».

Кончался август. Дивизия наступала на город Ельня. Немцы оборонялись упорно, контратаковали, отходили, яростно прикрываясь массированным артиллерийским огнем и авиацией. 30 августа Ельня была освобождена, в Москве прогремел салют. Но наступающие понесли большие потери, и продвигаться им становилось все тяжелее.

Офицеры разведотделения находились большей частью в передовых подразделениях, под непрерывным огнем, без сна и отдыха. Эммануил писал жене: «Здесь жарко, очень жарко. Но в самые трудные минуты я не теряю присутствия духа и хорошего настроения и истинно говорю тебе, у меня этому учатся многие». Сестре, старше его на год, написал откровеннее: «Получил на днях от вас письмо, но ответить не имел возможности — я в настоящем пекле». И в следующем письме добавил: «У

нас стало тише. А буря была такая, что часто казалось, что утлый челн моей человеческой жизни идет на дно». Пусть она и все родственники знают, где он и что он. На войне тоже устраиваются по-разному. Он — не где-нибудь и не как-нибудь. «Не редакционный муж, а военный человек».

В том же письме сестре он коснулся общих фронтовых событий:

«11.9.43

Выход Италии из войны произвел на всех нас отрадное впечатление. Вчера мы по радио на переднем крае сообщили это немцам по-немецки. Вероятно, их это поразило — они перестали стрелять и прослушали всю передачу в торжественном молчании, как на похоронах. На юге наши войска двигаются чудесно — это какой-то триумфальный марш. У нас дело идет гораздо труднее (это там приблизительно, где я был в начале войны). Напротив нас — эсэсовцы, дерутся они ожесточенно, но мы движемся вперед».

Передышка в жарких боях — пора разведчиков. Командование требует исчерпывающих сведений о противнике, и сведения эти нужны всегда срочно. В те несколько дней затишья после бури Эммануил с группой разведчиков ходил за «языком». Он не считал для себя допустимым заниматься разведкой и не пойти самому в поиск.

Из наградного листа:

«10.09.43 г. разведгруппа 508 сп получила приказ произвести ночной поиск и взять пленного. Поиск оказался неудачным. Приказ не был выполнен. Тогда пом. начальника разведотделения лейтенант Казакевич, проявив отвагу и настойчивость, приказал произвести дневной поиск, взяв на себя ответственность за все последствия поиска в дневное время. Он возглавил разведгруппу, организовал поддержку минометов и пулеметов, повел разведчиков на передний край.

Установив, что из одной траншеи противника ночью был взят язык соседней частью, лейтенант Казакевич пришел к выводу, что противник в этой траншее всю ночь бодрствовал и к утру, очевидно, отдыхает. В этой траншее он и решил организовать поиск, проявив, таким образом, находчивость и предусмотрительность.

В результате приказ был выполнен: среди бела дня был захвачен в плен вместе с оружием немецкий унтер-офицер, член нацистской партии, награжденный Железным крестом, Альберт К., давший ценные сведения о противнике.

За проявленную отвагу и взятие в плен немецкого унтер-офицера тов. Казакевич достоин награждения медалью "За отвагу".

Эммануил наверстывал упущенное и утверждал себя в глазах разведчиков. Воевать так воевать, чтоб не только достойно выдерживать немецкие обстрелы и бомбежки, но и самому трясти из немцев душу. Комдив сперва велел представить его к ордену, но Эммануил решительно отказался от этой награды, мотивируя тем, что в дивизии он без году неделя, формально пока не разведчик и ничего особенного не совершил. Он действительно все еще не числился офицером разведотделения: начальство присматривалось, да и горячка наступления мешала своевременно оформлять бумаги. И тогда комдив своей властью наградил его медалью «За отвагу». На первый раз. А в наградном листе, чтоб все согласовывалось, указали уже его новую должность. И задним числом отдали в приказе. Так он официально был причислен к племени разведчиков.

Но почему более всех военных профессий прилась ему по душе войсковая разведка? Войсковая разведка была для него сродни творчеству. Она предоставляла самостоятельность, независимость, возможность видеть войну по обе стороны линии огня. В ней были риск и артистизм, непременно бесстрашие и благородство взаимовыручки. И — ореол таинственной возвышенности окружал братство разведчиков. Все это удовлетворяло его натуре. Он и в окопах сумел выбрать себе место. Опасное, но — по сердцу.

Иногда, правда, эта иррациональность приводила его в недоумение, и он делился с женой: «Я думаю о своем военном пути. Все у меня не так, как у других. И все интересно. Я иду особым путем не из любви к оригинальности, а просто так получается. Черт его знает, что я за человек! Я часто сам себя не пойму. Вероятно, ты знаешь меня лучше, чем я себя».

Теперь для него главное состояло в том, что он сам был частицей Истории и ее делателем. Он писал жене:

«29.9.43.

Я подозреваю, что ты беспокоишься обо мне. Ты привыкла, что я пишу тебе часто. Но в последнее время я не мог тебе писать — мы в непрерывном движении вперед — с боями, в условиях тяжелых, когда каждую минуту хочется писать завещание.

Но все эти тяготы, все необычайное напряжение нервов и сил бледнеют перед чувством глубокого удовлетворения. Жители встречают нас как дорогих гостей. «Родина пришла», — сказал мне старик, встречая меня (я ездил верхом) у своего двора. Женщины выносят на крыльцо молоко, варят картошку, ухаживают за ранеными. Поистине великая радость у людей, у детей, у всех.

Дорогие мои, я вспоминаю о вас при виде несчастных женщин и детей, бредущих без крова по опаленным дорогам, и мое сердце сжимается от нежности и жалости — к вам и ко всем.

Дела идут хорошо. Немец, огрызаясь, плюясь огнем, отходит, иногда бежит к своей гибели».

Так закончился сентябрь. Прошло два с половиной месяца, как он попал в эту дивизию. И как бы подытоживая срок, он написал жене, торопясь не упустить появившегося почтальона: «Вкратце: я жив и здоров, я помню о вас всегда, я, вместе с нашими войсками, иду на запад и, несмотря на огневой ад, гоню немца. Вот и все».

В сентябре полковника Выдригана назначили командиром 76-й стрелковой Ельнинской дивизии. Он был на примете у командарма — опытный кадровый офицер, командовавший полком еще до войны; а его «личное дело» находилось под рукой у генерала Свиридова, который беседовал с ним в ГУКе два месяца назад. В ходе летних боев Выдриган подтвердил мнение о себе, как о готовом комдиве.

Эммануил торжествовал. Он верил в то, что каждый человек должен быть оценен по достоинству.

Выдриган убыл. Менее чем через месяц он по всем правилам перевел Эммануила к себе в штаб на должность помощника начальника оперативного отделения. Разведотделение у него имело в тот момент полный комплект офицеров.

Эммануил, получивший вторую лейтенантскую звездочку, попал фактически в мозговой центр. Здесь он участвовал в подготовке и обработке данных, необходимых командиру дивизии для принятия решения на бой. А когда судьба разработанного плана переходила в полки, батальоны и в конечном счете в солдатские руки, он, самый близкий друг комдива, не задерживался на командном пункте.

В связи с переходом из одной дивизии в другую у него образовалась пауза в переписке с семьей. Освоившись в новой должности, он написал жене: «С теплым трепетом вспоминаю я о тебе. Сегодня ты мне снилась — может быть, в первый раз — ты ведь знаешь, что я редко вижу сны, не то, что ты... Не волнуйся, не получая писем. Верь в мою звезду. Авось, она не обманет».

...После боев на Смоленщине дивизия Выдригана вступила на землю Белоруссии. Белая Русь, говорил Эммануил. И именно здесь суждено было 76-й дивизии — победно сражавшейся потом за Варшаву и Берлин, получившей дополнительно к «Ельнинской» звания «Ковельская» и «Варшавская», награжденной к концу войны орденами Красного Знамени, Суворова, Кутузова, вышедшей на Эльбу, — испить до дна самую горькую свою чашу. Здесь, в тяжких, обескровивших ее боях всего-то за одну безвестную деревню Боброво, на исходе сорок третьего года.

Дивизия держала путь на Оршу — узел стратегических дорог перед Минском. Все радостно понимали: освобождение Минска — освобождение первой из наших республик, подпавших под оккупацию. А за Белоруссией была уже Польша, первое европейское государство, с которого предстояло сбросить фашистское ярмо. За Польшей же начиналось само «логово»...

Но перед Оршей была деревня Боброво. И тот грядущий победный путь, просчитываемый на картах советскими военачальниками, для немецких генералов состоял из многих, больших и малых, рубежей смертельного сопротивления, на которых

должны были истощиться, погубить людей и технику наступающие войска Красной Армии, изнемочь так, чтоб не достало им сил взять последний предел и ворваться в Германию.

Голая пустыня, оставленная немцами при отступлении, упиралась в речку, за которой по высокому господствующему берегу пролегалла через Боброво новая, заранее подготовленная линия обороны врага. Полки Выдригана распластались на этой низменной, далеко просматриваемой пустыне под нескончаемым дождем, скрываясь от губительного прицельного огня в залитых водой оврагах. В оклизлой мокрой глине необшитых траншей, «лисыих нор» и пещер-землянок простуженные солдаты не имели возможности ни толком просушиться, ни даже почистить как следует оружие, чтобы оно не отказывало в бою. В добавление к выматывающему душу дождю угнетали вши.

Немцы отсекали наступающих заградительным огнем. Заблаговременно пристрелянные пулеметы косили всех тех, кто прорывался за последнюю линию, где разрывались снаряды и мины. И эта сплошная, подвижная, скачущая стена губительного огня была для немцев самой надежной крепостной стеной. Но были у них и тщательно подготовленные инженерные сооружения, использующие все выгоды местности для наилучшей защиты от огня наступающих и перегруппировки своих подразделений.

Выдригану явно не хватало сил, чтобы пробить бреши в этой обороне. А командарм грозно требовал одного: взять Боброво, прорвать оборону немцев. И дивизия, истощаясь, изнемогая, продолжала наступать. Безуспешно атакывала укрепленный рубеж три недели подряд.

В один из тех ноябрьских дней 1943 года Эммануил писал жене:

«Любимая моя, я только что получил твое письмо, твое ласковое письмо... Оно получено мной в нелегкий момент — вокруг грязь, грязь, грязь, подлый и проклятый враг сопротивляется упорно, места пустынные, безлесные, выжженные немцем дотла, и в наших землянках холодно. Тут герои — все, просто жить здесь так — уже геройство.

Слова стиха о том, что «мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви» пришли мне на ум..., когда я читал строки твоего письма. Не знаю, стало ли мне теплей, но у меня стало светло на душе, слякоть и разрывы снарядов перестали казаться пределом существования, я почувствовал веселое будущее с зелеными деревьями, умными дочерьми, любимой и стойкой женой, катание на лодках, смех, солнце и беседу друзей. Ох, Галечка, нужно иметь богатую фантазию, чтобы здесь представить себе нечто подобное».

Преодолевая сплошные полосы разрывов снарядов и мин, под огнем пулеметов и специальных групп снайперов, штурмовые батальоны Выдригана вклинивались в позиции врага. Но в опасные моменты немцы быстро и скрытно от наших артиллеристов маневрировали в своей развитой системе траншей имевшимися у них резервами и — заземляли обозначившийся пролом.

В последних числах ноября дожди сменились морозом. Полки редели, сжимаясь в батальоны, потом в роты. Дивизия билась с отчаянной безысходностью. Наконец, Выдриган собрал всех оставшихся в один кулак и назначил последний штурм — ранним утром, в темноте. Малосильность наступающих была слишком очевидной, хотя оборона немцев и расшаталась.

Казакевич был назначен в командное ядро этого отряда, неминуемая гибель которого представлялась ему несомненной. Он вспомнил, что в старой русской армии в подобных обстоятельствах воины надевали чистое нательное белье. Да здесь перемалывала людей не Отечественная война двенадцатого года и даже не Первая мировая. И чистого белья на этот крайний случай у них не нашлось...

Но в ночь перед штурмом немцы сами ушли из Боброво — немецкое командование «выравнивало линию фронта» и заключило, что выжало из этой обороны все возможное и лучше несколько отойти самим, чем быть смятыми. Для выдригановцев эта весть, принесенная разведчиками, означала воскресение из мертвых.

Когда затем поступил приказ передать этот проклятый участок фронта прибывшей из резерва целехонькой дивизии, Эммануил, покидая свою промерзшую землянку

ку, торжественно и громко произнес: «Прощай, разье...ный овраг, где нас держал так долго враг!» Кругом заулыбались. Экспромт развеселил, ободрил, подвел черту под пережитым адом. Жизнь продолжалась. И война — их перебрасывали под Могилев, к городку Чаусы. Эммануил пошутил еще, подав зычную команду «По машинам!» А когда добавил вслед «Отставить! Пойдем пешком!» — раздался смех. Никаких машин у них под Боброво не было.

Он и на фронте, как в довоенной жизни, притягивал к себе людей. Сначала офицерам штадива он понравился своими всесторонними знаниями, которые он как бы попутно, к слову и к месту, бросал в общий котел общения. Его эрудиция притягивала, тем более что далеко не все имели достаточное образование. А он был просветитель по натуре. Но еще больше притягивало к нему его доброе внимание к каждому человеку. Некоторые потом удивлялись — как и почему открылись перед ним, почему им захотелось рассказать ему все о себе.

Эммануил тоже был откровенен с товарищами. Даже при первом знакомстве бывал настолько прям в высказываниях, что такое доверие по тем временам казалось собеседнику просто невероятным и вызывало настороженность — не «прошупывают» ли его. Но потом, поняв душу Казакевича, ему доверяли безгранично.

Его прозвали «веселая серьезность». Его жизнерадостность, любовь к шутке и песне часто направлялись на то, чтобы подбодрить товарищей, отвлечь от обступивших тягот. Но все эти качества не имели бы в глазах фронтовиков большой ценности, не дополняя они в нем повседневную воинскую отвагу.

За бои в районе деревни Боброво его представили к ордену Красной Звезды. Представления отличившихся к наградам писались в эшелоне по дороге в прифронт-овой тыл — в январе сорок четвертого истаявшая дивизия Выдригана была направлена из-под Могилева на станцию Бологое, на переформировку и пополнение.

Там в начале февраля старшего лейтенанта Казакевича вызвал прокурор дивизии: о нем официально запрашивала прокуратура МВО. Не дождавшись из ГУКа приказа о переводе Казакевича и выяснив, что никаких следов такого приказа нет, отдел кадров округа доложил об этом своему командованию, которое распорядилось передать дело следственным органам. Военного прокурора 76-й дивизии просили проверить и сообщить, состоит ли старший лейтенант Казакевич на службе в этой дивизии и если состоит, то когда прибыл, кем и по какому предписанию послан. Запрос был составлен аккуратно, но сдержанность юридической формы не меняла сути намерений окружного начальства, для которого означенный офицер являлся дезертиром. Вслед пришла новая настойчивая депеша — о срочном исполнении предыдущей. Это требование сопровождалось постановлением военного следователя прокуратуры Московского гарнизона о принятии дела к своему производству. С этого момента Казакевич становился подследственным. Прокурор дивизии, доложив об этих угрожающих бумагах комдиву, вынужден был потребовать от Казакевича письменное объяснение. Объяснение было дано.

«Прокурору 76 СЕД

В ответ на ваш запрос сообщаю:

В июне 1943 г. я, работая зам. редактора газеты 4 Курсантской запасной стрелковой бригады «Боевые резервы» (г. Владимир), многократно, но безрезультатно просился на фронт. Тогда я списался с знакомыми командирами из 51 сд, получил от них командировочное предписание и выписку из приказа по дивизии о назначении на должность пом. начальника 2 отд. и уехал на фронт самовольно.

Но командование 4 КЗСБ сообщило о моем самовольном отъезде на фронт политотделу 21 армии с просьбой вернуть меня обратно в тыл. Политотдел 21 армии выдал мне предписание отправиться в распоряжение ПУ МВО, и я был вынужден уехать в Москву.

В Москве мой старый командир, полковник Выдриган, под начальством которого я служил с декабря 1941 по май 1942 г., получал в то время назначение на новую должность. Он договорился о моей дальнейшей судьбе с генералом Свиридовым (начальник Главного управления кадров Красной Армии), и ГУК КА выдал мне предпи-

сание следовать в распоряжение штаба 21 армии, куда направлялся и полковник т. Выдриган.

Так кончились мои мытарства с «бегством» на фронт.

Я был назначен в 174 сд, где работал вначале адъютантом командира дивизии полковника Горелика, затем — помощником начальника 2 отделения. Из 174 сд я был переведен приказом Военного Совета 21 армии в 76 СЕД на должность пом. начальника оперотделения, где работаю и по сей день. Ст. лейтенант Эм. Казакевич. 7.2. 44».

Эммануил крепко помозговал над ответом. Что было — то было, и он прямо признавал свой первый отъезд на фронт из Владимира самовольным. Но так, что в этой связи нигде не фигурировала фамилия Выдригана, лишь некие знакомые командиры, от которых он получил предписание и выписку из приказа. К тому же командование округа решило тогда ограничиться привлечением его к дисциплинарной и партийной ответственности. Таким образом, под первым побегом, можно считать, была подведена черта.

Объяснить надо было второе исчезновение — из Москвы, вопреки предписанию политуправления МВО, отбыть во Владимир. Выдриган, по-видимому, так и не сказал ему всю правду о том, что произошло тогда в ГУКе, на приеме у генерала Свиридова. В кабинете генерал-лейтенанта (который был заместителем начальника ГУКа) Выдриган так и не обратился к нему с нижайшей своей просьбой насчет Казакевича. Помимо сковывающей обстановки этого властительного кабинета тому было две причины: во-первых, заместителю командира дивизии не полагался адъютант-офицер, и, наверное, Выдриган увидел, что формалист Свиридов просто так, с его слов, не размахнется для него резолюцией даже по поводу какого-то младшего лейтенанта, а прикажет, еще того хуже, уточнить в МВО и — все пропало окончательно. Тут рисковать было нельзя. Своей цели он достиг в канцелярии, где девушка-солдат заполняла на машинке ему предписание, — вместе со своим офицерским удостоверением он солидно положил перед нею удостоверение Казакевича и, уже как начальник, твердо сказал, что младший лейтенант следует с ним. И это было здесь вполне обычным делом — большинство начальников перемещалось по фронтам со своими адъютантами, внесенными в их предписания.

Но открыть тогда голую правду Казакевичу он, должно быть, не пожелал — чтобы не впутывать его в свои единоличные действия, не омрачать такой «технологией» торжество их победы, да и самому не выглядеть в этой истории неким арапом. Он просто выручал своего молодого друга, к которому относился по-отцовски, и взял риск на себя...

Но характер и душа Выдригана не были для Эммануила потемками. Он о многом догадывался сам. И понимал, что от имени Выдригана в этой части объяснения никуда не уйти. Да и не надо уходить. Напротив! Здесь как раз и следовало полностью использовать все прежние и нынешние шансы. Кто станет допытываться у *самого* Свиридова — разрешал или не разрешал он полковнику Выдригану забрать с собой на фронт младшего лейтенанта? У Свиридова тысячи таких полковников и генералов, станет он помнить подобные мелочи. Наверняка разрешил, если означено в предписании ГУКа, им самим подписанном. А если нет, то что же получается?... Да ничего! Просто-напросто на какой-то стадии в каком-то из приказных списков пропустили одну-единственную фамилию. Это логическое заключение, которое вряд ли кто осмелится проверять, подпиралось и дальнейшими событиями, совсем уж бесспорными. Иначе повисали в воздухе и все последующие его должностные перемещения в 21-й армии — по приказу, документированные, с ведома Военного совета армии, которые он также обстоятельно перечислил в конце своего письменного объяснения прокурору дивизии. Из-за чего вообще сыр-бор? Человек на фронте, на переднем крае, получил за это время две награды, дважды повышен в звании...

При умении и юридической опытности для прокурора фронтовой дивизии имелись возможности закрыть судебное «дело» и исключить Казакевича из списков МВО. Содействуя своему комдиву, прокурор 76-й дивизии постарался эти возможности использовать. При всем том «списание» длилось еще несколько месяцев.

А ровно в те дни, когда прокурор 76-й стрелковой Ельнинской дивизии возвращал

прокурору Московского военного округа отзываемые следственные бумаги, сам объект прокурорской переписки воевал уже на новом направлении и в новой должности — начальника разведки дивизии. И 24 апреля 1944 г. им была составлена разведсводка с важными для их участка фронта и для судьбы дивизии выводами.

2

Пополненная дивизия Выдригана была переброшена на Западную Украину, в Волынское полесье, и сражалась там на Ковельском направлении. За плохую организацию разведки Выдригана помянули в приказе по корпусу. Давно, в годы Первой мировой войны, солдат, затем унтер Выдриган, воюя разведчиком в австрийских Карпатах, заслужил четыре георгиевских медали «За храбрость» и три георгиевских креста. Разведчики навсегда остались его армейской любовью. Было обидно в комдивах получать за них замечание и знать, что ругают тебя в данном случае поделом — за твое собственное снисхождение. Выдриган не слишком обманывался насчет радивости и способностей начальника дивизионной разведки, но был хозяином в своей дивизии и «батькой» своему воинству и потому позволял себе не спешить с отстранением даже дрянноватого офицера.

Позже этого офицера под именем капитана Барашкина Казакевич выведет в своей «Звезде». Тот всегда, прищелкнув каблуками, бодро отвечал начальству «Есть!» и взваливал выполнение приказа на подчиненных, варьируя исполнителей не столько по боевой целесообразности, сколько по своему личному к ним отношению — для подтверждения собственной власти. И никогда не волновался за тех, кто идет *туда*.

Эммануил наблюдал за ним со стороны, сдерживая себя и выжидая, пока Выдриган сам разберется в этом своем драгоценном подчиненном. После замечания командира корпуса затянувшегося снисхождению комдива пришел конец. Он сместил начальника разведки и назначил на эту должность своего друга. А Эммануил почувствовал себя тогда стрелой, выпущенной из давно натянутого лука. И — полетел. Сбылось еще одно заветное желание. Воспоминания фронтовиков дают возможность увидеть его в той роли.

Он скакал на своем гнедом Орлике из полка в полк, досконально знакомясь с тем, как поставлено там дело разведки, постоянно навещая дивизионную разведроту и уже к концу недели знал всех разведчиков дивизии в лицо, а большинство по фамилии и имени-отчеству. Разведчики наблюдали за ним с любопытством. Этот старший лейтенант в очках, не слишком старательно заправленный, явно штатского, даже сугубо книжного вида, которого он сам, однако, не стеснялся и не маскировал, хорошо держался в седле, вопросы задавал со знанием дела, умел внимательно слушать, а приказания отдавал четко и доходчиво. Когда было надо, он умел постоять за разведчиков перед полковым и дивизионным начальством, и сам голос на них не повышал, обращался непривычно душевно, с уверенностью, что они сами все понимают и сделают все, что нужно и возможно, без чьих-либо угроз. Вникал он подробно и в то, в каких условиях живут разведчики, как обмундированы, как готовятся к своим операциям, какие применяют способы и уловки для захвата «языков» и как им дают отдохнуть после поиска.

Понятно, ему позарез нужны были сведения о противнике. Эммануил провел целую серию поисков. Организовывал их со всею тщательностью, и сам пошел с разведчиками в глубинный поиск, когда посчитал это для себя обязательным. Он не мог себе позволить только посылать людей на смерть, в расположение врага, а самому оставаться в своей траншее.

Для его предшественника здесь не существовало никакой проблемы. Его должностная обязанность была *посылать*, а не *идти*. И он пользовался этой льготой безо всякого стеснения, она как бы автоматически снимала вопрос о какой-либо трусости.

Но известно, что помимо общепринятых законов и установлений имеются должностные обязанности, которые человек налагает на себя сам.

Был как раз момент, когда несколько попыток в полках захватить контрольных пленных окончились неудачно. Не обошлось и без людских потерь. Враг оказался

хитрее, изучил уже их тактику. И Эммануил считал своим долгом теперь самому возглавить дивизионную группу и провести новый поиск успешно. К тому же его одолевала заветная потребность все познать, все испытать самому.

На инструктаж этой группы прибыл Выдриган. По его глазам Эммануил видел, какая борьба происходит у того в душе. Эммануил подошел к нему, сказал: «Товарищ полковник, мое место здесь и больше нигде».

Все было готово для проведения назначенной разведывательной операции. Изучена наблюдением и по карте местность, организовано взаимодействие с минометчиками, артиллеристами, саперами, обеспечивающими поиск, установлены сигналы на всевозможные случаи, военфельдшер провела с ними дополнительное занятие, и вот сам комдив дал уже свое напутствие...

Через два года Казакевич напишет:

«Надев маскировочный халат, крепко завязав все шнурки — у щиколоток, на животе, под подбородком и на затылке, разведчик отрешается от житейской суеты, от великого и от малого. Разведчик уже не принадлежит ни самому себе, ни своим начальникам, ни своим воспоминаниям. Он подвязывает к поясу гранаты и нож, кладет за пазуху пистолет. Так он отказывается от всех человеческих установлений, ставит себя вне закона, полагаясь отныне только на себя. Он отдает старшине все свои документы, письма, фотографии, ордена и медали, парторгу — свой партийный или комсомольский билет. Так он отказывается от своего прошлого и будущего, храня все это только в сердце своем.

Он не имеет имени, как лесная птица. Он вполне мог бы отказаться и от членораздельной речи, ограничившись птичьим свистом для подачи сигнала товарищам. Он срастается с полями, лесами, оврагами, становится духом этих пространств — духом опасным, подстерегающим, в глубине своего мозга вынашивающим одну мысль: *свою задачу*.

Так начинается древняя игра, в которой действующих лиц только двое: человек и смерть».

Показания пленных, захваченных на разных участках соприкосновения с противником, и сведения, добытые в глубинных поисках, не оставляли у Эммануила сомнений: в ближайшие дни именно здесь немцы готовят сильное наступление. Выдриган срочно передал суммированные сведения в корпус. Но за оставшееся время его дивизия ничем дополнительно усилена не была. Начатое при мощной артиллерийской и авиационной подготовке немецкое наступление поставило комдива в трудное положение. Части дивизии, выбитые с позиций переднего края, поспешно отходили за реку Турья. Старший лейтенант Казакевич был среди тех офицеров штаба, которые по приказу Выдригана предотвращали панику и сумели привести в порядок отступающие подразделения. Комдиву удалось затормозить прорыв врага и не дать ему форсировать на их плечах реку. На одном из рубежей отхода Эммануил по его приказу остановил хлынувших назад бойцов и собрал их в боевой кулак. В этом бою он был ранен в бедро пулей навывлет, но до конца боя не покинул траншею, из которой руководил организованной им на этом рубеже обороной.

Потом он почти месяц пролежал в медсанбате. Благословлял медиков за то, что не отправляют в тыловую госпиталь. Пока лечился, ему пришлось звание капитана. Выписался он в конце мая, с палкой, а в начале июня уже ездил верхом. «Все зажило, как на хорошей собаке», — сообщил он жене.

Побывав после медсанбата в полках, он убедился, что по-прежнему пользуется у разведчиков уважением и приязнью. И сам чувствовал себя в этом деле уверенно. Разведданные, которые он докладывал Выдригану, а затем отправлял из дивизии в корпус, отличались точностью и доказательностью выводов. Он не допускал в своей работе прикрас, каких бы хлопот ни доставляли ему нетерпеливые начальники. К хвастливым же или сомнительным донесениям относился с иронией, не включал в сводки без перепроверки, проверять старался лично. Отправляясь по такому случаю к своим полковым разведчикам, он мог сообщить в вышестоящий штаб шуточной запиской: «Сегодня ночью в районе высоты 213, 3 наши ребята якобы захватили пленного, которого якобы допросили и якобы выяснили, что он, по меньшей мере, из

личной охраны фюрера». Записка, конечно, предназначалась офицеру разведотдела, понимающему юмор...

После вынужденного отступления и обороны опять была переправа через Турью, наступление и взятие Ковеля, где Выдригана ранило в голову. Когда примчался Эммануил, военфельдшер, сделав перевязку, старалась перед эвакуацией в тыл облегчить страдания раненого. Эммануил подбежал к ней:

— Скажи, Оля, он будет жить? — И, сжав в руках пилотку, как мальчик, заклиная, произнес: — Скажи, что да!..

Приказ Сталина, в котором говорилось, что войска Первого Белорусского фронта 6 июля 1944 года овладели важным опорным пунктом обороны немцев и крупным железнодорожным узлом — городом Ковель и что в боях за овладение Ковелем отличились среди других войска полковника Выдригана, застал комдива в госпитале.

Новый командир 76-й дивизии был наглядным примером того, что называется «новая метла». Но вскоре он почувствовал, что не выдержал сравнения с прежним комдивом и принялся искоренять «дух Выдригана». Казакевич первым попал в опалу, на него посыпались придирки, угрозы. Это явилось одной из причин его самостоятельного участия в опасном конном рейде небольшого отряда разведчиков в тыл противника, который начальнику разведки дивизии вовсе не обязательно было возглавлять самому.

Этот конный отряд всего из семи человек проник в тыл отступавших немцев и захватил на их пути мост через реку Влодавка. Времена изменились — теперь немцы отступали разрозненными, потерявшими связь группами. Они стремились побыстрее убраться за реку, и отряд Казакевича, удерживая мост, навел среди них панику. Убедившись в малочисленности отряда, до которого было рукой подать, немцы яростно обстреляли его и, зажимая разведчиков в смертельное кольцо, пошли в атаку. Разведчики лихо вырвались на лошадях из окружения, нанеся врагу урон. Но и сами они понесли потери — двое были убиты, трое ранены. Среди раненых оказался и командир отряда. Судьба спасла его от смерти и равнозначного смерти плена.

Это произошло 22 июля. Раненых отправили в госпиталь. А в отчете разведотдела штаба корпуса рейд отряда Казакевича подробно описывался как практикуемые активные действия конных разведчиков с целью перерезать пути отступления противника. Затем и разведотдел 47-й армии в своем июльском отчете штабу 1-го Белорусского фронта отметил в числе лучших 76-ю дивизию и капитана Казакевича за организацию войсковой разведки в наступлении, захват пленных и наибольшую мобильность в засылке лазутчиков и конных групп в тыл отходящего врага... А сам капитан, сменивший коня на носилки, передвигался в это время установленными этапами эвакуации раненых.

Ранение его оказалось тяжелое — слепое, разворотившее бедро. Через три дня он писал жене:

«Я лежу снова в госпитале, в Польше. Это здание бывшей школы, светло, чисто, много цветов. Я ранен осколком гранаты в правое бедро. Осколок уже вынули. Было (и предстоит еще) много боли. Но это не страшно...

Немцы бегут. Много пленных, трофеев.

Получил бы я за последний подвиг большую награду, но, в связи с моей эвакуацией в госпиталь, вряд ли получу. И если предполагать, как это делают многие, что я уже отвоевался, то приду я домой таким же, каким ушел на эту войну, но с чистым сердцем и с правом на спокойную жизнь и работу, правом, завоеванным не словами, а делом и кровью.

Вот итог за три года и один месяц: я совершил не менее пяти подлинных подвигов; в самые трудные минуты был весел и бодр; и подбадривал других; не боялся противника; не лебезил перед начальством; не старался искать укрытия от невзгод, а шел им навстречу и побеждал их; любил подчиненных и был любим ими; оставался верен воспоминаниям о тебе и двух детских жизнях — нашей плоти; сохранял юмор, веру и любовь к жизни во всех случаях; был пять раз представлен к награждению орденами и получил пока только один орден; из рядового стал капитаном; из простого бойца — начальником разведки дивизии; будучи почти слепым, был прекрасным солдатом и хорошим разведчиком; не использовал своей профессии

писателя и плохое зрение для устройства своей жизни подальше от пуль; имел одну контузию и два ранения.

Вот и все. Подведи и ты свои итоги, и будем уверенно смотреть вперед. Пока кончаю. Адрес пока в воздухе».

Из армейского госпиталя в Польше, где ему на следующий день после ранения сделали операцию и где он неподвижно пролежал две недели, его отправили в госпиталь на Украине. Там Эммануил почувствовал, что ему становится легче, можно мало-помалу поворачиваться в постели. Появилась надежда месяца через полтора-два выбраться отсюда на свет божий и покинуть это великое, беспомощное, скандальное, стонущее братство раненых.

Уезжать дальше в тыл было ему нежелательно — хотелось без долгой мороки получить партбилет (его в июне приняли в члены партии) и орден Отечественной войны, к которому его представили за бои на Ковельском направлении. Тяжелораненые, однако, все прибывали и прибывали, и его вместе со многими другими, кому раны уже не причиняли сильных страданий, поместили в санпоезд и отправили в глубокий тыл. Наконец, после утомительного путешествия, во время которого от поездной тряски у него вновь разболелась рана, их привезли в Сибирь, в алтайский город Барнаул.

В стационарных условиях эвакогоспиталя дело у него пошло на поправку. Война продолжалась, и все мысли его вновь были обращены к фронту. Эммануил уже осмотрелся в госпитале и убедился, что жить в тылу сумеет только в штатском платье. Пока он военный, он должен быть на фронте. Попасть, разумеется, нужно было опять в свою 47-ю армию, под Варшаву. В госпитале он получил радостную весть, что Выдриган здоров, командует в их армии другой дивизией. Эммануил дал ему знать о себе, просил оформить вызов.

Выписавшись из госпиталя в конце сентября, он прибыл в Новосибирск, в штаб Сибирского военного округа. Оттуда его без лишних слов зачислили в офицерский резерв в Омске. Здесь его охватило состояние сильнейшей удрученности. Из резерва офицеров отправляли на фронт только по спецзаявкам ГУКа. Эммануил написал в штаб своей 47-й армии, одновременно обратился с рапортом к начальнику отдела кадров СибВО. Однако ответа ни от кого не дождался. Тогда он решил использовать почтительное отношение к своему писательскому званию и попросил предоставить ему двухнедельный отпуск в Москву — якобы для доработки повести, принятой в журнал «Знамя». В батальоне офицерского резерва обаятельный и веселый офицер-писатель, «душа общества», быстро завоевал расположение командования. Отпуск ему предоставили.

И он опять махнул на фронт. До Москвы ехал беспечно. Дальше надо было предусматривать рогатки военного времени. Несмотря на это, Эммануил по дороге завернул к семье, которая находилась теперь в Сумской области, в городе Ямполье, почти на его пути, как по заказу. Оттуда он продолжил свой удалой маршрут через памятный ему Ковель в Польшу. Подъезжая к Ковелю, послал жене письмо, где отметил: «Чувствуется приближение к войне, и это как-то приятно волнует мое ослатившееся сердце. ...Взгляни на карту и посмотри расстояние от Омска до Варшавы и ты увидишь, каков этот путь, проделываемый мной». В Бресте он наткнулся на заграду — пограничный контрольно-пропускной пункт. Навык разведчика, сметка, решительность помогли Эммануилу и на этот раз. Перехитрив пограничников, он благополучно прибыл в свою 47-ю армию, но в дивизию его уже не направили, оставили работать в самом армейском разведотделе. А в Омск полетела телеграмма об исключении капитана Казакевича из списков резерва.

Его назначили помощником начальника информационного отделения. В его обязанности входила подготовка ежедневных разведывательных донесений и сводок для штаба фронта. Для уточнения сведений приходилось выезжать и вылетать в войска. При первой же оказии он заскочил к Выдригану. Захар Петрович, конечно, спрашивал его к себе на прежнюю должность, но штаб армии отклонил притязания комдива.

В середине января нового тысяча девятьсот сорок пятого года была взята

Варшава. Весь их фронт подсчитывал и уточнял теперь расстояние до Берлина. Оставалось около 450 километров.

И было первое письмо его из Германии:

«Германия, 29.1.45

Целую тебя и детей горячо. Мы вошли в Германию... Фрицы упорно обороняются, но не хватает силенок против нашего вала».

В начале марта он послал большое письмо сестре:

«Мы продолжаем воевать. Вот так попал я за границу — вокруг деревни и города Германии, с кирхами, черепичными крышами, мощеными улицами. Кирхи — огромные, холодные и пустые, с обязательным огромным органом в задней стене и с обязательной Библией в переводе Мартина Лютера, большого формата in folio. Ко всей этой картине той самой Германии, о которой мы так много читали и думали с самого детства, ко всей этой картине прибавляется умильная картина убитых фрицев и напуганных до смерти фрицев и старых фрицев. Иногда жаль становится смотреть на этих людей, особенно на детей, но тогда вспоминаешь Керченский ров, Майданек, убитых женщин и детей, истребление евреев целой Европы, виновных только в том, что они этой нации, и начинаешь думать, что так справедливо, и иначе быть не может и не должно. Виноватые немцы будут покараны, а невинные кое-что поймут...»

В радостном настроении он написал вскоре жене и дочкам «коллективное» письмо:

«Здравствуйте, старушки!

Жму ваши шесть рук и целую по шесть раз.

У меня все в порядке. Бьем немцев почему зря. Война кончается, и я очень рад, что я в армии: может быть, я способствовал тому, что враг будет разбит на полсекунды скорее.

Много писать не могу — *нет времени*.

Целую еще по два раза».

9 мая 1945 года, в День Победы, он был на Эльбе и оттуда, из городка Ратенов, отправил семье заветное свое фронтовое письмо:

«Мои родные, этот день, долгожданный, о котором мы мечтали четыре тяжелых года, наступил. Еще считанные недели, и мы увидимся, чтобы не расставаться. Чего лучше, наступил конец войне, а я жив, полон сил, и седина на голове, не в сердце.

Мы раскрыли окна, и свет льется открыто на ночные улицы маленького немецкого города, где мы закончили наш поход. Машины идут с зажженными фарами. Только что передавали обращение Сталина к народу и его приказ войскам. Раздался последний мощный салют в этой войне.

Естественно, что я сегодня много думал и о тебе, Галечка, и о Жене и Ляле. Вам трудно, очень трудно пришлось. Будем надеяться, что черные дни кончились навсегда.

Вспомнил я и о друзьях, погибших в сражениях этой войны или пропавших без вести. Липкин, Зельдин, Олевский, Гурштейн и многие другие. Что ж, совесть моя перед ними чиста. Я храбро воевал, и если мне повезло больше, то потому, что пути господни, как написано в старой книге, неисповедимы.

Теперь мы, разведчики, оставшись без противника, ждем распоряжений свыше. А душа рвется домой, в ликующую Россию, к вам.

Горячо поздравляю вас с полной победой над врагом».

Но что происходило на фронте с ним — поэтом? К его «не менее пяти подлинным подвигам» воина следует прибавить еще один — подвиг верности Литературе. Этот подвиг для него был связан на войне с мучительным *неписанием*. Всю войну он подчинялся одному императиву, с которым другой не совмещался. Зимой сорок пятого он так выразил свое внутреннее бремя в письме к близкой знакомой в Москву: «Скоро я буду иметь столько орденов, как Денис Давыдов, и писать стихи — я полон ими, и они перекипают во мне, умирая не родившись — потому, что я не в силах делать две вещи зараз — воевать и писать».

Эммануил Казакевич воевал, но творческая его жизнь не прекращалась, писа-

тельская судьба развивалась. Он с юности был привержен к русской литературе, но только война всецело погрузила его в стихию русского народного языка. Он впитывал в себя все, что видел и слышал, — веруя, что настанет такой день для него, когда все это выльется в *его* книгу. В конце октября 1943 года он написал жене: «Будет очень обидно, если меня, избави бог, убьют. Свет не увидит тогда вещей, которые дадут ему, возможно, много прекрасных минут. Какое-то чувство абсолютно созревшей творческой силы — и, поверь, Галечка, очень большой — наполняет до краев, и это — я заметил это не раз — чувствуют и окружающие во мне.

Так что — все впереди. У меня в голове — гнездо прекрасных стихов, а главное — книга, которую я потихоньку, в своем дневнике уже теперь называю Великой Книгой».

Он позволял себе называть ее так потому, что верил в свои неограниченные возможности. И потому, что великими были переживаемые события. И потому, что он, участвуя в них, вбирал их в свое сердце.

После жестоких боев той же осенью сорок третьего он писал жене:

«Мы прошли полосу мертвых деревень, сожженных немцами при отступлении. Нет на свете ничего печальнее зрелища запустения и ничего нет трагичнее судьбы людей, живущих жизнью троглодитов, пещерных людей, кое-как выкопавших себе землянки. Они там существуют вповалку, с детьми, со стариками. От деревень остались одни дымоходы. Ночью эти дымоходы производят призрачное впечатление — это походит на надгробные камни или на кладбище инков. Лунные тени ложатся на эти надгробные камни. Человеческое горе может здесь сравниться разве только с человеческим терпением, которое поистине безгранично.

Мое сердце разрывается от жалости при виде детей, которые бог знает сколько времени не раздевались. Они смотрят круглыми глазами и как будто спрашивают: за что? Естественно, вспоминаются Женечка и Лялечка».

В это же время, чуть раньше, он высказал жене такое свое определение войны: «великая бездомность миллионов людей».

Ему еще только мнилась его *книга*, но предощущалась, должно быть, лирическая интонация этой будущей прозы. Страдания и гибель людей определили ее. Он чувствовал несоответствие пробуждавшейся в нем неторопливой, лирической и печальной интонации — грому пушек и призывности слова военных лет. Была, значит, и такая причина его молчания — в открывавшемся *качестве* таланта.

Стихи — не с целью напечатать — он все же писал, без этого ему было не обойтись; и по ним — как дыханием по зеркалу — проверял, что Божий дар в нем еще жив. Фронтовые стихи, никому, кроме адресатов, не предназначавшиеся, были для него самого как бы формой дневника и назывались соответственно — «5 июля 1944 г.», «Пленные»... А параллельно с этим стихотворным дневником неустанно пульсировала тревожная дума: «Вернусь ли я к этому сладкому и горькому занятию — литературе?» И чем ощутимее приближался радостный для него, воина, День Победы, тем пронзительно-беспокойнее становилось его душе поэта. Он поведал об этом сестре:

«А мне между тем исполнилось 32 года, и предчувствие конца (надеюсь все же, что он наступит не так уж скоро) иногда сжимает сердце. Последние четыре года прошли, собственно говоря, довольно бесплодно, я был оторван войной от моего дела в самом расцвете творческих сил. У меня было тогда чувство, что я могу сделать все, что захочу, какая-то большая мощь была, зрелость мысли и чувств, спокойная уверенность. Почти четыре года я не пишу. Иногда меня охватывает страх: а если я уже не смогу больше писать? Сяду и — не смогу?» (2.3.45)

По ходу осложнившихся отношений с поэзией, которая словно бы охладела к нему, перестала считать своим баловнем, когда он перешел на русский язык, где были иные просторы и вершины, у него появились первые замыслы в прозе. Возник конкретный сюжет небольшой повести, связанной с войной, но еще далекой от его непосредственных наблюдений и переживаний. Вперед неодолимо выступало веление творчества, и он написал об этом своей московской знакомой: «...пора возвра-

щаться к своей старой, любимой профессии... Мне кажется, что я уже все испытал: и страдания, и лишения, и омерзение при виде низости, и восторг при виде благородства, — все чем богата война...» (10.3.45) Беспокойство, сомнения заглушались теперь гудевшим в нем призывом — работать, работать. И ровно за месяц до Дня Победы он писал жене: «Война между тем приближается к концу... А потом — работа, та работа, которой я не мог заниматься четыре года и к которой рвется моя почти онемевшая душа».

Но он еще не распорядился собой, и после Победы ему было приказано заняться описанием подвигов войсковых разведчиков по своим личным воспоминаниям. Воистину, то было для него указанием свыше.

Чтобы демобилизоваться, нужно было проходить медицинскую комиссию. Получив заключение, Эммануил сообщил жене: «...врачебная комиссия признала меня ограниченно-годным второй степени. Врачи удивлялись, как мог я быть разведчиком, имея такое зрение. Как видно, мог...» Признать его негодным вчистую, как до войны, выглядело бы бессмыслицей — провоевал же человек...

При всем том начальство не спешило с увольнением его из армии, и осень победного 1945 года он провел в «служебных странствиях по Германии», как сообщал об этом жене. Эммануил заинтересовался деятельностью советских военных комендатур, куда были переведены на работу и его сослуживцы из дивизии и штаба армии. Побывал в Веймаре — в доме Гете, в доме Шиллера, в доме Листа.

Наконец, обозначился срок его долгожданного отъезда в Россию. И он написал жене:

«Как ты легко можешь понять, зная меня немного, у меня ничего нет, как не было и до войны. Два-три военных костюма, четыре ордена и четыре медали — это все, или почти все, что я нажил. Поэтому перед нами, моя милая, встанет много горьких житейских проблем, которые мы должны будем решить. Это, конечно, меня не очень смущает, но первое время будет не очень легко, что ж, это значит, что придется много, очень много работать. И главное в этом деле — крыша над головой, а без крыши, как и без головы, работать невозможно.

Но (к счастью) и я, и ты принадлежим к той породе людей, для которых вещи, собственность — дело третьестепенное». (1.11.45)

А последним его фронтовым стихотворением был рапорт:

НАЧАЛЬНИКУ ШТАРМА

Ввиду того, что я слеп, как сова,
И на раненых ногах хожу, как гусь,
Я гожусь для войны едва-едва,
А для мирного времени совсем не гожусь.

К тому же сознаюсь, откровенный и прямой,
Что в военном деле не смыслю ничего.
Прошу отпустить меня домой
Немедленно с получением сего.

Завершающий поэтический штрих его армейского пути, в начале которого, три с половиной года назад, он тоже написал стихотворный рапорт — командиру полка, ставшему его другом.

Все-таки он обзавелся в поверженной Германии трофейным «опельком», за рулем которого с лихостью победителя проделал в феврале 1946 года свой обратный путь из Берлина в Москву.

III. Повести и романы

1

Чтобы воевать — бить, гнать прочь, уничтожать врага — необходима была ненависть. Чтобы жить после войны, была нужна любовь.

Казакевич написал свою Книгу войны.

Началась она маленькой повестью «Звезда», выведенной той интонацией доброго и умного сердца, которая пробудилась у него на войне. Повесть сразу прозвучала как откровение.

В повести война продолжалась, потери множились, время для жалости еще не подошло, и люди не берегли ни себя, ни других во имя победы. Но один из героев, склонившись над безмолвной рацией, по которой держали связь с ушедшими в немецкий тыл разведчиками, горестно произносит: «Скорее бы войне конец... Нет, не устал. Я не говорю, что я устал. Но просто пора, чтобы людей перестали убивать».

Тихий, трагически-печальный и светлый рассказ о группе дивизионных разведчиков был чужд громкогласности, шел от сердца к сердцу и потому услышался далеко. И многие над этой повестью плакали.

События в «Звезде» происходили весной сорок четвертого, в Западной Украине, где на Ковельском направлении сражалась тогда дивизия Выдригана и где Эммануил сам ходил в глубинный поиск. Великая война с ее приметами претворялась в писательское свидетельство, а однополчане распознавали в персонажах повести реальных людей, воевавших в 76-й дивизии, прежде всего своего комдива.

Это была проза поэта. О девушке-сержанте, «считавшей себя опытной маленькой грешницей», чья большая любовь зародилась в самом пекле войны, в повести было сказано: «И она в этой лунной ночи всюду искала своего любимого и шептала старые слова, почти такие же, как в Песне Песней, хотя она никогда не читала и не слышала их».

«Звезда» мгновенно и ярко высветила писательское имя Казакевича. Казакевич сделался знаменит. Но для него самого этот успех явился полнейшей неожиданностью. Он настолько не был уверен в своей «повестухе из жизни мертвых», что мечтал только о том, чтобы ее приняли в тоненький полуспециальный журнал «Пограничник», где работал его знакомый.

Писалась повесть с мучениями. Когда Эммануил после демобилизации приехал на своем маленьком трофейном «опеле» в Москву, перед ним действительно встало много житейских проблем. С жильем удалось кое-как устроиться с помощью Выдригана: генерал забрал с собой на Украину сестру, а в комнату барака в Хамовниках вселил своего Эмму с вернувшейся из эвакуации семьей. Но заработка у демобилизованного капитана не было никакого. Он хотел написать о войне и не поступал на работу, не брался, как до войны, и за переводы на еврейский язык, поскольку решил не возвращаться к прошлому и писать только по-русски; однако работа дома после четырехлетнего перерыва не ладилась — он отвык оставаться один на один с собою за столом, который в эти ночные часы становился для него *письменным*.

И не только отвычка мешала: на дощатом столе распластывалась вся его будущая жизнь. Что произойдет на этих досках и произойдет ли что-то? Он впервые взялся за прозу. Мало того — за прозу на русском языке. Верность Литературе теперь не поддерживала его, но подавляла великими образцами, выбивала уверенность и надежду. Он будто снова шел в разведку по зыбкой почве, среди смертельных опасностей. С тою разницей, что тут ни смелость, ни дерзость его, ни фронтовой расчет не определяли результата. Да и не было их у него за этим столом. Эммануил ужасался обыденности применяемых им слов, писал в сомнениях, теряя веру в свое писательское воскресение.

Он продал по дешевке свой трофейный «опелек». Денег хватило ненадолго. Семья бедствовала настолько, что не покупали дров. Наступила глухая промозглая осень. Комната еле-еле обогревалась керосинкой и людским присутствием. Начались заморозки. По ночам, когда дети спали, и стол освобождался от мисок и учени-

ческих тетрадей, он писал, сидя в сапогах, шинели и шапке. И не размышлял о перемене людского мироощущения в послевоенном мире. Повесть выплескивалась из сердца как бы сама по себе, даже вопреки его первоначальному намерению сочинить острый и замысловатый сюжет. А днем он с тоской подумывал о том, что если не удастся никуда ее пристроить и получить гонорар, придется идти в штат, в «тонкий» журнал, с которым уже уславливался, лишь бы ежемесячно приносить в дом какой-то минимум — дети, семья...

И близкие друзья тоже не ждали от этой повести чуда, собирались подсобить ему редактированием, пока он не прочел им рукопись вслух... Тогда сразу отлетело, как растворилось, завлекательное название «Зеленые призраки», явилось название «Звезда», отпал журнал «Пограничник», и вот главный редактор «толстого», в войну наиболее читаемого «Знамени», проглотив, не отрываясь, повесть ночью, сообщил автору, что она будет опубликована незамедлительно, в первом же номере сорок седьмого года. Писатели, которым он давал читать повесть, наперебой ее хвалили. Эммануил по-солдатски написал Выдригану, что хвалят все же больше, чем она того заслуживает, и признался, что работал, не зная, что получится. Но не скромничал излишне: «И получилось! В хамовнической трущобе запахло хорошей жизнью».

Вскоре после триумфальной публикации «Звезды» он сидел в зале клуба писателей и слушал самые одобрительные отзывы о своей повести. Он еще не привык к обрушившемуся на него успеху и удивлялся, что повесть всем так понравилась, тогда как сам он не предполагал этого ни в малейшей степени. Он вышел к трибуне — в офицерском кителе без погон, с двумя рядами орденских ленточек и нашивками за ранения — и, поправив очки, чуть заикаясь от волнения и растягивая слова, сдержанно произнес:

— Ну, если вам нравится, я еще много для вас напишу...

К концу года «Звезда» появилась в нескольких изданиях, была переведена на английский, французский, немецкий и испанский языки. Сообщая об этом Выдригану, Эммануил приписал: «...так что я вышел, так сказать, на «мировую арену»».

Наконец, повесть была удостоена Сталинской премии второй степени, и теперь уже все издательства, выпускавшие художественную литературу, считали для себя обязательным опубликовать ее.

Это первое написанное им по возвращении с войны произведение — в прозе и на русском языке — с головокружительной стремительностью изменило его бытие. Исчезли неуверенность в себе и безденежье, цепко сопровождавшие его после перехода из армейского состояния в штатское. Он снова поверил в неограниченность своих литературных возможностей и имел теперь все права на вольную творческую жизнь.

Все то, что за войну «накапливалось в сердце и не разбрызгивалось понапрасну», потребовало, наконец, неотложного воплощения. И он безо всякой паузы принялся за новую повесть. Он укрылся в писательском доме творчества, откуда и в деловом письме давал знать, что с ним происходит: «Я работаю здесь... как пьяный и помешанный. Повесть движется. Кажется, она будет называться «Весна в Европе»...» Людские судьбы в этой повести разворачивались на великом фоне Берлинского сражения.

Работа помогала ему нейтрализовать для себя хвalebный гул вокруг «Звезды», но писалась новая книга на ее приливной волне. Прилив этот поднимал его, увлекал широко охватить события, и он смело перешел от повести к роману, почувствовав себя летописцем: на заключительном этапе войны в штабе армии капитан Казакевич имел возможность наблюдать сверху операцию большого масштаба. И это тоже осталось в его сердце и памяти.

Летом он снимал для работы комнату, потом опять уехал в дом творчества. Вернувшись в конце октября, известил Выдригана, что читавшие и эту почти законченную книгу предсказывают крупный успех. Уже было договорено, что она будет печататься в «Знамени» в феврале-марте нового года.

Все, казалось бы, складывалось превосходно. Но одному из друзей Эммануил признавался, что ему страшно встать с новой вещью после нашумевшей «Звез-

ды»... К этому примешивались и тайны ремесла — столь удачный опыт небольшой «Звезды» с ее единой интонацией и локальной площадкой действия был неприменим в новой пространной повести, переросшей в роман. Настал, видимо, момент перевести дыхание, чуть поостыть, отойти от написанного, чтоб самому, без посторонних восторгов оценить, что у него получилось. И тут подоспел случай, из тех, что, переворачивая сложность, выявляют судьбу.

Его поразила одна услышанная — за ресторанным столиком в компании литераторов-фронтовиков — история, о которой во время войны была даже напечатана газетная корреспонденция: приговоренный трибуналом к расстрелу юноша-лейтенант выбирается из немецкого окружения сначала с конвоиром, потом, после гибели конвоира, один, участвует в стычках с врагом и неуклонно идет вслед за отходящими войсками, к своим...

История эта отозвалась в сердце Эммануила так, будто давно была в нем, а не проникла только что извне. И умещалась она в опробованный «Звездой» малый объем, в один замкнутый сюжет со своей особой интонацией, как один пронзительный музыкальный период...

Отложив объемистую рукопись романа, он за две недели написал «Двое в степи». Это была тема для Достоевского, но он не сробел и решил ее в своей манере, лаконичной прозой поэта — только поступок, жест, слово героев, без вскрытия и подробного исследования подвалов и вершин человеческой души. На этот раз он прекрасно знал, что написал, и был уверен в повести. В начале февраля 1948 года известил Выдригана: «Только что я закончил еще одну маленькую повесть из военной жизни начала войны. Надеюсь, что, несмотря на нынешние огромные трудности в литературе, пройдет хорошо и эта повесть. Одновременно я заканчиваю роман «Весна в Европе», о котором я Вам уже писал». Он был так уверен в себе и в повести, что не убоился самого разгара «огромных трудностей в литературе», когда круто приходилось и живущим писателям и даже давно умершим классикам, в первую очередь самому Достоевскому.

Эти «трудности» начались с грозных постановлений ЦК ВКП (б), искоренявших безыдейность, аполитичность, формализм, низкопоклонство перед Западом во всей сфере искусства — в литературе, театре, кино, музыке. То было послевоенное идеологическое наступление Сталина внутри собственной страны с целью подавить поднявшийся во время Отечественной войны в народе, в обществе ненавистный ему свободный дух. Дух людей, осознавших в этой войне свою значимость, отстаивавших неимоверными жертвами Родину и завоевавших Великую Победу.

«Двое в степи» были напечатаны в мае 1948 года, в том же «Знамени». В дневнике Эммануил записал:

«Итак, началась литературная моя деятельность. Две маленьких лодочки пустил я в море, и они, удаляясь, теряются в туманном море, становятся уже не моим достоянием, а достоянием волн играющих и ветров бушующих. Два крошечных паруса еле виднеются в безграничной пучине, но пучина требует меня всего. И вот я, как неопытный пловец, стою на скалистом берегу, готовый к прыжку в пучину. Страшно и сладостно стоять так на открытом ветру».

Одновременно на него свалилась уйма житейских хлопот, насущных и радостных, но отрывающих от письменного стола. Только что родилась еще одна дочь. И в те же дни он, наряду с известными писателями, получил первую в жизни свою квартиру в новых небольших домах, образовавших как бы писательскую слободу в Москве на Беговой улице, неподалеку от ипподрома. Требовалось срочно покупать мебель и обзаводиться необходимыми домашними вещами, от которых отвыкли за войну. А все договорные сроки на роман давно истекли...

Кое-как устроив семью на новом месте, Эммануил исчез из дому. Он выбрал курортный поселок в Прибалтике, где снял номер в гостинице и принялся за покинутую рукопись. Написанное разочаровало его:

«Читаю первые части «В. в Е.» Может быть, и неплохо, но не для меня. Типичнейшая беллетристика, за редким исключением... Кажется, я взял на себя задачу не по силам».

Все-таки он сумел справиться со своим настроением, вработался в роман, обрел в него веру. А тем временем обозначилась весьма тревожная обстановка вокруг повести «Двое в степи». Первые сдержанно-положительные отзывы в печати пресекло угрожающее затишье. Читатели же искали журнал, передавали этот номер «Знамени» из рук в руки, в библиотеках записывались на него в очереди. Повесть горячо обсуждалась. Многие писатели в частном порядке выражали Казакевичу свой восторг и оценивали «Двое в степи» выше «Звезды». И он сам считал, что в художественном отношении вторая повесть выше.

И тут разразилась гроза. Критика принялась разносить «Двое в степи» столь же яростно, сколь восторженно и единодушно расхваливала недавно «Звезду». Оказалось, что эта повесть вызвала недовольство Сталина, державшего под наблюдением своих «крестников». То был постоянно практикуемый им прием — сперва возвысить, затем развенчать, чтобы подавить самостоятельность, смять душу, показать любому, самому заслуженному человеку, что тот со своим талантом и известностью — ничто перед его, Сталина, волей казнить и миловать. Год назад за повесть «Дым отечества» такой растаптывающей идеологической проработке в печати был подвергнут Константин Симонов, тогда уже четырежды лауреат Сталинских премий первых и вторых степеней, полученных во время войны и в первый послевоенный год. (А в 1949 и 1950 годах ему были снова присуждены Сталинские премии за книгу стихов «Друзья и враги» и пьесу «Чужая тень», как вполне исправившемуся писателю. Но даже спустя семь лет после испытанной встряски К.Симонов в своем содокладе «О советской художественной прозе», сделанном на II съезде советских писателей в декабре 1954 года, уже по смерти Сталина, памятно заявлял о повести Казакевича «Двое в степи», которая за все это время ни разу более не издавалась: «...эта повесть не просто ошибка в работе талантливого писателя, а его решительный отход в тот период от самого существа метода социалистического реализма».)

За публикацию «Двое в степи» и другие подобные промахи был снят с должности главный редактор журнала «Знамя» Всеволод Вишневский, только недавно верно-подданно выступавший с ярыми нападениями на Михаила Зощенко. Казакевича обвинили в абстрактном гуманизме, в отходе от принципов марксистской эстетики (все это были опасные идеологические обвинения), в «препарировании психологии», в оправдании труса и трусости... Он же был убежден, что говорил о долге и совести, об огромных нравственных возможностях человека. Ибо история лейтенанта Огаркова — это история осознания и искупления вины, обретения и утверждения всего лучшего и достойного в себе, история возмужания молодого человека, растерявшегося и струсившего при выполнении своего первого боевого задания в сумятице отступления наших войск. Это был путь осужденного лейтенанта к самому себе, к своему возрождению, хотя пробивался он туда, где его осудили на смерть.

...Совсем недавно Эммануил записывал в дневнике, точно стихотворение в прозе, о пучине, которая требует его самого, всего, вместе с пущенными им в море двумя лодочками-повестями. Всего, каков он есть. Строчки поэта, как известно, ложатся в его судьбу.

Ошеломленный, он опять схватился за работу — принялся дописывать «Весну в Европе». Критика продолжала нещадно трепать его. Осуждение повести достигло верхнего регистра. Эммануил с грустью ворошил свой роман — главу за главой, всю готовую почти рукопись, и к его взгляду примешивался еще другой, указующий, директивный. Вспыхивали и переносились на текст романа хлесткие формулировки, гулявшие по «Двое в степи». Доделка романа вылилась в затяжную переделку. Через несколько лет он без околичностей признался одному литератору, что думал тогда о том, чтобы критика от него отцепилась, дала бы передышку — так она доняла его. Очевидно, думал не только об этом — о самосохранении вообще. А накануне сдачи рукописи в журнал беспощадно зафиксировал:

«Вчера, 22 июня 49 г., окончил, наконец, роман. Миг вожделенный настал. Кончил и еще раз пришел в ужас от его недостатков. Их чудовищно много. Многие люди начаты и не кончены, повисли в воздухе; разведчики бледны даже по сравнению с «Звездой» и не вызывают ничего, кроме глухой досады. Главное половинчато. Негативное — трусливо.

Я очень устал. Если бы не деньги, я бы не печатал роман теперь, а поработал бы систематически над ним — часа два в день, над углублением людей и завершением лепки сюжета.

Завтра сдаю, иначе нельзя.

Что-то оно будет?»

Новый редактор «Знамени» принял роман к опубликованию не без опаски, потребовал дополнительных изъятий. В романе даже не упоминалось имя маршала Жукова, руководившего Берлинским сражением, но после войны попавшего в опалу у генералиссимуса. Вновь получив высочайшее указание, критика горячо одобрила «Весну на Одере» (окончательное название романа). Казакевичу вторично присудили Сталинскую премию. Роман имел большой успех и у читателей: война была у всех в самой судьбе, прошлой, настоящей и будущей, и писал о ней человек знающий, писал живо — и о наших, и о немцах, и даже о самом Гитлере.

Тогда из победного сорок пятого он вернулся в сорок третий год, к наиболее тяжким боям дивизии Выдригана, и пережитое у деревни Боброво, где дивизия была обескровлена безуспешными атаками, легло в первую часть повести «Сердце друга». Эммануил опять дал себе простор в своей летописи войны. А когда повесть сложилась и работа приблизилась к завершению, он счел, что это лучшее из всего написанного им до сих пор.

Он сам плакал, когда писал сцену смерти главного героя. Сомнение вызывала лишь публицистическая, в духе времени, концовка, которая, как он опасался, мельчила повесть, и он принялся за ее улучшение. Повесть была опубликована в «Новом мире» у Твардовского. И опять автор попал под шквальный газетно-журнальный обстрел и проработку в Союзе писателей. «Изничтожена лицемерами», — отметил он в дневнике. Разведывательный поиск в литературе оказывался посложнее фронтового. Так разворачивался для него 1953 год.

2

В тот год в марте умер Сталин...

После трагических похорон страна замерла. Активное жгучее горе, когда людям представилось, что настал конец света, что дальше жизни нет, застыло, сменилось вопросом: как жить дальше? Приближавшиеся майские праздники казались неуместными, развернувшаяся весна — зеленая, теплая — не согласовывалась со скорбной растерянностью. И неожиданно сквозь парализованность людских душ начало быстро проступать явственное ощущение, что есть в жизни нечто более всеобъемлющее, кое гораздо всесильнее земного вседержителя, и что это — сама Жизнь. А через год из ссылок и лагерей начали возвращаться невинно осужденные люди...

Эммануил заканчивал свою Книгу войны. Строго говоря, она уже составила, ибо роман «Дом на площади», над которым он трудился, продолжал «Весну на Одере» в послевоенное время. Из-за этого романа у него вышел затяжной спор с самим собой — надо ли вообще писать его. Одновременно, словно дождавшись своего часа, его тесно обступили незавершенные старые и притаившиеся новые замыслы. Оформился к тому сроку и самый грандиозный его замысел — эпопея о жизни советского общества в пореволюционные десятилетия...

Твардовский, подаривший ему своего «Василия Теркина» с надписью «Дорогому другу, надежде русской прозы», отговаривал от писания «облегченного» романа. Но армейский материал напористо доказывал свое преимущественное право на его писательское сердце и руку. Герои «Весны на Одере» оставались в оккупированной Германии, где сам автор в течение послевоенного года близко соприкасался с офицерами советской военной администрации, еще вчера служившими в боевых частях. Воздействовала и жестокая критика повести «Сердце друга», столь напоминавшая историю с «Двое в степи». В противовес этому влекло повторить другую ситуацию, подобную той, что была с «Весной на Одере». Эммануил доказывал себе, что это будет не облегченный роман, а поучительная нужная книга. Его дневник отразил происходивший внутренний спор:

«Нет, определенно, нужно писать «Дом на площади», и я напишу. Нет ли в этом

компромисса? То есть не означает ли это, что я ради реального успеха топчусь на месте, не иду вперед в своем творчестве? Да, означает. Вероятно, те творческие силы, которые я употребляю на роман, можно было бы использовать на нечто более высокое в смысле искусства. И что же? Ведь я и борец, не только художник. А проблема, которую я выставляю здесь, очень важна, необычайно важна для всех нас. Я сам дал себе госзаказ и ничего худого не вижу в этом. Моцарт и Рубенс выполняли заказы и делали это прекрасно».

Ум наш, как известно, искусен находить убедительные доводы для оправдания любых компромиссов.

А мысль об эпопее, которую он первоначально назвал «Новое время», пульсировала все сильнее, все захватнее, все требовательней: пора, пора, дни и годы летят, это главный литературный труд, дело всей жизни. Но эпопее не давал ходу уже начатый роман, по которому он давно, до «Сердца друга», влез в договорные обязательства, получил вечно необходимые деньги и бросить который было никак нельзя. В конце декабря записал в дневник:

«Не помню числа, залез в эту дачку и пишу, думаю, страдаю потихоньку за людей. Роман идет хорошо, но больше в голове, чем на бумаге...

Кончается напиханный событиями 1953 год. Год спасения. Год надежды».

За последними сжатыми словами записи скрывались события исключительной важности, которыми действительно был «напихан» 1953 год. Сразу после смерти Сталина было прекращено следствие по делу арестованных органами госбезопасности «врачей-вредителей» и даже преобразовано само МГБ. Именно к этим событиям и относились слова дневниковой записи Казакевича: «Год спасения. Год надежды». Здесь имелось в виду, что дело «врачей-убийц», как их называли в печати и по радио, довело до предела накал антисемитизма в стране, развязанного во время кампаний по разоблачению и преследованию в сфере науки и искусства «космополитов» и прочих «низкопоклонников перед Западом». Смерть Сталина оборвала разработанный конец готовящейся акции.

В 1954 году он записал в дневнике:

«Я почти ничего не сделал... Зная, что и кого винить в этом, я не могу не винить и самого себя.

Надо отказаться от суетности. Надо забыть, что у тебя семья и надо ее кормить, что есть начальство и надо ему потрафлять. Надо помнить только об искусстве и о подлинных, а не мнимых интересах народа.

Может быть, тогда можно еще что-нибудь успеть, хотя все равно не все, что было бы возможно».

Но его темперамент не мирился с затворничеством. По стране уже шел гул подспудно сдвигаемых запертой энергией окаменевших пластов бытности. Как одно из проявлений вырывавшегося на свободу общественного духа в писательской среде возник альманах «Литературная Москва». Это было первое за четверть века самостоятельное «независимое» издание — с тех пор, как в начале тридцатых годов ликвидировались последние в стране кооперативные и акционерные издательства. Редколлегия альманаха работала без штатных редакторов, по собственной инициативе, безденежно; все в ней были на равных, но общепризнанным лидером стал Казакевич. Вместе с ним в редколлегию вошли известные столичные писатели — Маргарита Алигер, Александр Бек, В.Каверин, К.Паустовский. Владимир Рудный, Владимир Тендряков, а также директор издательства «Художественная литература» А.А.Котов, деятельно поддерживавший альманах и принявший его под свою «вывеску». Основная коллективная работа происходила на квартире и даче Казакевича, здесь горячо спорили, принимали окончательные решения, сюда тянулись авторы со своими рукописями, здесь был штаб альманаха.

Как раз в это время был назначен первый после смерти Сталина и XX по общему счету съезд КПСС. И свой первый сборник редколлегия «Литературной Москвы» спешила подготовить к дате открытия этого съезда, с надеждой ожидаемого всем обществом. Перед сдачей сборника в типографию все они с воодушевлением работали днями и ночами. Набор и типографская правка объемистого, в пятьдесят два

печатных листа, тома были произведены с необычайной быстротой — за две недели. И с той же стремительностью был отпечатан стотысячный тираж. А.Т.Твардовский, делегат партийного съезда, добрым вестником сообщал из фойе Большого кремлевского дворца домой Казакевичу, с нетерпением ожидавшему у телефона его звонка, что экземпляры сборника успели доставить из типографии до открытия заседания, книги уже на прилавках киосков и делегаты раскупают их...

Поэтический раздел сборника открывался стихотворением Маргариты Алигер «Зимняя ночь», в котором были такие строки:

Как там ни снежно, и ни вьюжно, вот-вот сугробы стронет с места,
Вот-вот она возьмется дружно, весна Двадцатого Партсъезда.

Публиковались и стихи Анны Ахматовой. А Казакевич поместил в сборнике свой роман. Погодя записал:

«...Окончил и напечатал роман «Дом на площади» — напечатал раньше, чем следовало бы, уж очень хотелось вовремя выпустить сборник к съезду партии. Съезд партии, как и ожидалось, стал большой вехой. И самое главное, самое главное, что сказаны слова правды. Это даст, не может не дать великих результатов. Теперь правда — не просто достоинство порядочных людей; правда теперь — единственный врачеватель общественных язв...

Правда и только правда — горькая, унижительная, любая...

1956 год, вошедший в историю страны XX съездом КПСС, также оказался «напиханным событиями», как и год 1953-й.

25 февраля на закрытом заседании съезда Н.С.Хрущев прочитал свой доклад с разоблачением ужасающих беззаконий Сталина. Доклад потряс делегатов. Потом этот доклад, как «закрытое письмо ЦК», стали читать всем членам партии, за ними — и беспартийным по месту их работы. Именно с этого исторического события в стране началась пора, получившая определение «оттепель» — по названию повести Ильи Эренбурга, опубликованной еще в 1954 году и ставшей в литературе провозвестницей грядущих перемен.

На исходе весны, в мае, застрелился А.А.Фадеев, находившийся в писательском руководстве с двадцатых годов, состоявший много лет членом ЦК, депутатом Верховного Совета и в течение восьми послевоенных лет бывший генеральным секретарем Союза писателей. А осенью журнал «Новый мир» завершил публикацию романа В.Дудинцева «Не хлебом единым», ставшего сразу знаменательным и знаменитым. И альманаховцы сдали в производство свой второй сборник, над которым работали все лето, и были весьма довольны его составом, выражающим, как они полагали, дух очистительной правды. Одновременно в Москве, несмотря на противодействие руководства Академии художеств, открылась выставка Пикассо. После долголетнего запрета и анафемы, которой предавали всех «формалистов», выставка эта сделалась событием исключительного значения. Тысячи людей выстаивали ежедневно по несколько часов в очереди, чтобы попасть в Музей изобразительных искусств. Казалось, «оттепель» набирала силу. Но в этот момент, ломая радужное настроение, поступили известия о мятеже в Венгрии. Дело кончилось вводом в эту страну советских войск, дабы не допустить изменения там общественного строя и выхода Венгрии из «соцлагеря» и военной коалиции Варшавского договора. На Западе немедленно начались многочисленные антисоветские демонстрации. Европейские писатели подписывали протесты и обращения, объявляли о своем уходе из Обществ дружбы с СССР...

Второй сборник «Литературной Москвы» вышел в свет в декабре, в уже менявшейся общественной ситуации внутри страны — венгерское восстание отозвалось ярким натиском воспрявших консервативных сил. И весь следующий 1957 год происходило отступление «оттепели». В литературе разгорелась борьба против «очернительных тенденций», «нигилизма», «идейного ревизионизма». Еще вчера положительно оценивавшийся «Литературной газетой» роман В.Дудинцева «Не хлебом единым» был теперь подвергнут на ее же страницах разносной критике, а окончательный приговор, полностью отрицающий роман, дал главный установочный журнал «Коммунист». Огонь прессы сразу сосредоточился на журнале «Новый мир» и альманахе

«Литературная Москва». Кроме романа Дудинцева особенное возмущение критики вызвал напечатанный в альманахе рассказ Александра Яшина «Рычаги» — в нем увидели вредоносный экстракт нигилизма, мрака и уныния. Имена Дудинцева и Яшина стали одиозными. Но вместе с ними в критических обзорах назывались и другие прозаики и поэты, опубликовавшие в «Новом мире» и «Литературной Москве» свои «ущербные» произведения, и тем самым вскрывалась целая *ошибочная линия*, взятая данными изданиями....

Вслед за выступлениями прессы, как за артподготовкой, настал черед писательских пленумов и собраний. Первым состоялся пленум правления Московского отделения. Казакевич, не считая себя умелым оратором, на этом пленуме не выступал, удовлетворился выступлениями Каверина и Алигер, решительно, каждый по-своему — один резко, другая дипломатичнее, — отражавшими атаки на альманах. Однако, не в пример альманаховцам, главный редактор «Нового мира» Константин Симонов, сменивший Твардовского, занял иную позицию: он полностью признал ошибку их редколлегии, а самого Дудинцева, который дважды держал речь и не согласился с обвинениями в «чернительстве», сурово осудил за такое упорство и безыдейность и, перенеся разговор в политическую плоскость, напомнил строптивому автору о том, что писатель социалистического общества сознательно отвергает в своем творчестве все то случайное, наносное, что могло бы в том или ином случае работать вопреки интересам диктатуры пролетариата... Тем не менее никаких осуждающих резолюций и решений принято тогда не было, и ни докладчик, ни председательствующий не смогли даже сделать какое-то обобщенное заключение этого пленума — такое там выявилось противодействие попыткам восстановить прежний зажим. За время, прошедшее после смерти Сталина, люди сделались смелее.

Через два месяца был собран пленум правления всего писательского Союза. Этот пленум был уже тщательно подготовлен идеологически. На нем использовался испытанный прием подавления внутреннего свободомыслия под предлогом враждебных акций извне. Обсуждение собственно литературы целенаправленно забывалось. Ни одного голоса не раздавалось в защиту раскритикованных произведений, никто не желал разобраться — действительно ли в них искажена правда жизни или, напротив, это необходимое обществу честное свидетельство искусства. И никто вообще не сказал доброго слова о «Новом мире» и «Литературной Москве» — то были мишени, по которым велась азартная стрельба. Но каяться, подобно Симонову, альманаховцы не собирались, решили стоять на своем молча, не поступаясь достоинством. И следуя этому своему решению, никто из них не выступил на пленуме, несмотря на требовательные предложения ораторов и писательского начальства. И тем они еще более усугубили свое положение.

Резолюция пленума единодушно и безоговорочно осудила все попавшие в черный список произведения, напечатанные в «Новом мире» и «Литературной Москве». А позиция, занятая редколлекцией альманаха «Литературная Москва», квалифицировалась в резолюции как недостойная советских литераторов позиция групповщины. Это было уже политическое обвинение, напоминавшее о зловещем клейме «оппозиция» не столь давних времен.

Отмалчиваться дальше было нельзя. И на последовавшем за пленумом партийном собрании московских писателей Эммануил решил выступать. Собрание началось не обычное, а объединенное с партийной организацией правления Союза, которое только что победно провело свой пленум. Присутствовала на собрании и высшая власть в лице «самой» Е.А.Фурцевой, секретаря Центрального и Московского комитетов партии. А из коммунистов редколлегии альманаха пришли только двое — он и Владимир Тендряков. В.А.Рудный находился в больнице, с ним случился инфаркт после того, как один из ораторов на прошедшем пленуме заявил с трибуны, что именно он, Рудный, нанес писательской организации немало вреда, что также привычно связывалось с клеймом «вредителя». Маргарита Алигер болела дома.

Однако журнал «Новый мир» не находился более в эпицентре обвинений, и докладчик даже похвалил Симонова и еще нескольких писателей, авторов журнала, которые с партийной ответственностью отнеслись к критике в свой адрес и признали свои заблуждения. Зато применительно к «Литературной Москве» на собрании гнев-

но говорилось о мелкобуржуазной всеядности, «демократии без берегов», отходе от ленинского принципа партийного руководства литературой и искусством, о платформе огульного критиканства, идейного ревизионизма, о попытках противопоставить диктатуре пролетариата буржуазную демократию и, наконец, о том, что своими действиями редколлегия «Литературной Москвы», возглавляемая Э.Казакевичем, дала возможность нашим врагам нападать на нас, использовать против нас допущенные промахи...

Эммануил сохранял внешнюю невозмутимость. Он выступил после А.Чаковского, который с пафосом вещал о сознательной фронде редколлегии «Литературной Москвы» и о капканах, расставляемых врагами нашего строя за рубежом. Казакевич же заговорил о литературе, напоминая тем самым присутствующим, что они прежде всего писатели, рассказал о работе редколлегии альманаха, об искренности их намерений утверждать в жизни здоровое и доброе, бороться с изъятиями; сказал, что он безусловно не приемлет очернительство и критиканский пароксизм, но явления эти никак не могут быть отнесены к литературным произведениям, опубликованным в альманахе. Говорил он спокойно, негромко и, как всегда на трибуне, не по-ораторски запинаясь.

— Я не вижу никаких оснований для огульного осуждения «Литературной Москвы» и членов ее редколлегии, — так же спокойно и негромко заключил он свое выступление.

И Маргарита Алигер поддержала его своим письмом, зачитанным на собрании, и Александр Яшин не признал порока в своих «Рычагах». Однако на том вся поддержка и иссякла, выявив свою малочисленность и малосильность. Перемалывающее колесо заработало с новой энергией и катилось уже не столько даже по альманаху, сколько по сидевшему в первом ряду Казакевичу.

И было голосование резолюции с самым строгим осуждением идейных шатаний отдельных коммунистов и групповщины в редколлегии «Литературной Москвы». Две беззащитные руки воздержавшихся при голосовании «за» — Казакевича и Тендрякова — одна впереди, другая далеко сзади, поднялись над вмиг притихшим залом, только что монолитно одоббившим резолюцию...

После этого собрания Эммануил пережил трудные дни душевной подавленности. В том зале все намеренно подменялось, уходило в сторону. Стойкость оказывалась «ложной стойкостью» и потому не стойкостью вообще, а упрямством, помноженным на самолюбие и зазнайство, как сказал секретарь парткома о Маргарите Алигер. И храбрость их оказывалась всего лишь «ложной игрой в храбрость» и потому не храбростью вовсе, а дешевой демагогией, как заявил поэт Долматовский, проводивший ранее аналогию между альманахом «Литературная Москва» и венгерским «клубом Петефи», с которого и начались тамошние события. И обращаясь к Казакевичу, писательский «генсек» Сурков назвал его выступление не делающим чести его гражданской смелости... Никому не нужны были ни нравственные принципы, ни выяснение истины, ни достоинство поведения. Все действие шло в иной — идеологической — системе координат. Там царил закон единодушного одобрения, отрицающий всякий «гнилой» индивидуализм и буржуазную «свободу личности».

В конце концов весь этот натиск свелся только к одной цели — добиться отречения, вынудить признание ошибок. Они не покалялись, выстояли; но теперь коммунистов альманаха обязывала признать публично свои ошибки принятая на собрании резолюция, которой они должны были беспрекословно подчиниться в порядке партийной дисциплины. И они подчинились.

...Но типографский набор следующего сборника альманаха был все равно рассыпан, и «Литературная Москва» прекратила существование. А «Новый мир» продолжал выходить, и редколлегия его сохранялась покуда в прежнем составе...

IV. Эпилог

1

Для Эммануила Казакевича разоблачение Сталина было очистительным возвращением к Ленину. И к самому себе, в ком жил тот мальчик, который под скорбные заводские и паровозные гудки на лютном январском морозе в Киеве присягал памяти вождя и обещал когда-нибудь написать о нем. Это время пришло. Ранней осенью 1956 года, сдав в набор второй сборник «Литературной Москвы» такого же солидного объема, как и первый, он принялся за повесть «Синяя тетрадь», первоначально названную им «Ленин в Разливе».

Путь от Сталина к Ленину, к подтверждению своих социалистических идеалов проделали тогда многие люди. Таков был первый этап начавшегося общественного прозрения, за которым постепенно следовало и осмысление пагубного значения для страны большевистского переворота во главе с Лениным в октябре 1917 года. Но Казакевич не считал, что именно этот переворот привел ко всем пережитым народом катаклизмам и бедствиям. Он оставался привержен идеалам своей юности. И все ужасы ГУЛАГа для Казакевича связывались только со сталинщиной, со Сталиным, исказившим, как он считал, идеи и план Ленина. Он не смог, не захотел, не успел переоценить своего кумира, олицетворявшего для него великие идеалы социальной справедливости.

...В тот именно период, в пятидесятые годы, Эммануил Казакевич раскрылся для многих людей и прежде всего для обширного круга писателей во всем блеске своих притягательных качеств — отзывчивого человека, острослова и едкого эписграмматиста, собеседника-эрудита, озорника, застольного верховода. Ему многое прощалось — за доброту души и обаяние. И близкие друзья принимали его в этой сложности: «Эмик — это Эмик»...

Получив, после успеха «Весны на Оudere», новую, просторную, как хоромы, четырехкомнатную квартиру в писательском доме около Третьяковской галереи, он, не раздумывая, потеснился и поселил у себя Юрия Олешу с женой, потерявших, будучи в эвакуации, свою московскую «жилплощадь». Казакевич ходатайствовал за него, добивался, а пока суд да дело предоставил им одну из своих комнат. Эта их «коммуна» просуществовала год.

Среди тех, для кого он сворачивал разнообразные «горы», была и вернувшаяся из ссылки дочь Марины Цветаевой, Ариадна Эфрон, написавшая впоследствии в своих воспоминаниях о нем:

«Казакевича ни о чем *своем* не надо было просить: то, в чем ты нуждаешься, он знал лучше тебя самого; заботы и хлопоты о чужих делах молча брал на себя. Эти заботы были частью его будней — ничего из ряда вон выходящего. И все доводил до конца — сам...

Необычайно добр и отзывчив был Пастернак — однако его доброта была лишь высшей формой эгоцентризма: ему, доброму, легче жилось, работалось, крепче спалось; своей отзывчивостью на чужие беды он обезвреживал свои — уже случившиеся и грядущие; смывал с себя грехи — сущие и вымышленные. Это он сам знал и сам об этом говорил.

Казакевич же помощью своей не свой мир перестраивал и налаживал, а мир того, другого человека и тем самым перестраивал и улучшал мир *вообще*. Тяжелый труд — заботы о чужом насущном — был частью его повседневного бытия, такой же не приметной и необходимой, как хлеб, который он ел.

Пастернак помогал людям как христианин — какой мерой даешь, такой и тебе отмерится. Казакевич — как коммунист. Пастернаковская *bienfaisance*¹ была для него праздником, *bienfaisance* Казакевича — буднями. Что до меня, то они были безмерно мне дороги оба. Пастернак спасал мне жизнь в лагерях и ссылках, Казакевич выправлял ее, когда я вернулась на поверхность без кессоновой камеры; принимал на себя давления ведомых мне и неведомых атмосфер. И множества безвоздушных пространств, ибо ничто так не давит, как их «невесомость».

¹ *bienfaisance* (фр.) — благотельность

Как-то я пришла поблагодарить Казакевича за очередную гору, которую он для меня сдвинул. « — Будет вам, А.С., — ответил он и отмахнулся. — В том, что с вами случилось, виноваты мы все. Значит — и я. Так за что же благодарить?» — То, что «со мной случилось», он считал общей виной.

Пастернак же себя чувствовал виноватым потому, что «с ним не случилось того, что со мной».

Одной такою «горой» явилась первая книга «Избранного» Цветаевой. Пока эта книга *пробивалась*, «Литературная Москва» поместила в своем втором выпуске подборку стихов Цветаевой и статью о ней Ильи Эренбурга. Статья эта также попала в «обойму» тех публикаций, за которые печатно и устно обличали на все лады альманах.

Историю разгрома альманаха и собственного покаяния Эммануил переживал глубоко и остро, несмотря на все старания отнестись к происшедшему «философски». Но и эти горести сменялись радостями. В 1959 году он впервые в жизни посетил Францию и Италию, потом был в Северной Европе.

Так перемежались у него труд, трудности, праздники, и все это было в тот момент самым важным, горячим, болезненным или благодатным, и не ведалось — что там уготовано впереди, даже за ближним поворотом.

Казакевича волновал, сверлил творческий *максимум*. Потрясенный в Милане «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи, он отметил в дневнике: «На такую картину можно и нужно потратить целую жизнь. Я понял впервые величие Леонардо, так мало сделавшего (по количеству картин). Это всегда меня несколько удручало. Теперь я понял, что он сделал».

Свой максимум Эммануил Казакевич видел в эпопее «Новая земля», готовиться к которой начал давно, в самый разгар работы над военными повестями и романами.

Мысль создать целую эпопею спервоначалу ошеломила его своею неожиданностью и дерзостью. Он только что закончил свой первый роман, взял этот «тяжелый вес». И все же взяться за такую книгу, которая вобрала бы в себя в едином сплаве серию книг, представлялось невероятным. Подумав о множестве предстоящих трудностей самого разного, в том числе цензурного порядка, он просто испугался. «Но, отдавая себе полный отчет во всех этих трудностях, я уже, сам того не зная, был в плену категорического императива. Случайная задача стала казаться неслучайной, нужной, ценной, необходимой, наконец — неизбежной, неотвратимой, как сама смерть», — написал он в «Предисловии» к будущей книге в мае 1950 года.

А уже в июле он находился в избранной им сельской «глубинке», в деревне Глубоково Владимирской области, где вознамерился уединиться от столичного коловращения, и записывал там в своем дневнике:

«... А теперь — главное: собрать силы для написания самого главного — эпопеи, энциклопедии советской жизни за 25 лет — с 1924 по 1950 год. Это — огромный, может быть, не по силам труд, но я должен совершить его и, надеюсь, совершу.

Это — большой, гигантский роман, в котором вся наша жизнь, главные и второстепенные ее стороны должны найти отражение — верное, объективное».

Во имя будущей эпопеи он и поселился в деревне — здесь надлежало ему проникнуть в истоки и результаты коллективизации крестьянства. Он отвел себе около полутора лет на то, чтобы пройти вчерне свой курс «деревенского образования». Затем он спланировал провести полгода в Магнитогорске или Кузнецке на одном из крупных заводов, предварительно поработав в библиотеке над материалами о периоде индустриализации. Он примеривался к эпопее со всей основательностью. Подсчитал предположительный ее объем — выходило 240—250 авторских листов, 5000 страниц. Уже без робости зафиксировал: «Самый большой (по объему) роман в русской литературе». Наметил географию, в которую помимо отечественных краев, городов и весей вошли Германия, Польша, США, Франция, Англия, Китай, Венгрия. Круг героев эпопеи принял в себя крестьян, рабочих, интеллигентов, писателей, дипломатов, офицеров, генералов, солдат, нэпманов, студентов, партработников, хозяйственников. Главным же героем, по его мысли, должен был стать страдающий и побеждающий советский народ. И еще одно качество своей будущей прозы predetermined он заранее: «Ничего *изящного* не будет в моей книге. Это будет жизнь — с ее радостями и тяжестями. Оборони меня боже от изящного».

У него непрерывно конкретизировался круг событий, которые вбирал в себя этот роман, события группировались хронологически, образуя будущие части, сюжетные линии и связки между ними.

Он расчертил обширное и подробнейшее «генеалогическое древо» своего романа, где фамилии множества героев, заключенные в прямоугольники, соединялись между собой линиями в соответствии с их сюжетной взаимосвязанностью...

2

А жизнь его скоротечно приближалась к концу.

Гнетущей тревоги близкой смерти он в себе нисколько не чувствовал — слишком был жизнелюбив, активен и продолжал верить в свои почти безграничные творческие возможности. По-прежнему составлял широкие перенасыщенные планы, большинство работ в которых переходило из года в год. И общественный его темперамент не признавал покоя. Но прорывалась тревога из-за того, что главное дело его жизни все еще не совершено.

Сердечный приступ привел его в больницу. Это совпало с переживаниями из-за «Синей тетради», в которую он вложил столько душевных сил и которая встретила холодное отношение в «Новом мире».

Врачи вывели его из плохого состояния, подлечили, но последствия болезни были ощутимы. Он называл два источника своего сгорания. Один из них — само творчество, сопрягаемое для него с *разведкой боем* в литературе и тяжким преодолением себя во имя того литературного уровня, который был себе задан. Не менее, если не более, забирало сил «связанное с работой» — прохождение рукописей, критика. Критика испортила ему много крови. Он был внимателен к доказательному суждению. Из равновесия выводили беспардонность и злонамеренность. Ему хотелось и быть и выглядеть непробиваемым. Успокоение он старался обрести в ярой работе по ночам. Прохождение рукописей тоже не было легким. Самой многострадальной до выхода в свет оказалась «Синяя тетрадь». На ней он разошелся с «Новым миром», а значит, с Твардовским, принял нелегкое решение передать рукопись в журнал «Октябрь», Панферову, которого вскоре сменил Кочетов, вовсе из чуждого ему стана «автоматчиков» партийной власти.

В феврале 1961 года Эммануил Казакевич перенес тяжелую операцию. Лечь в больницу на этот раз вынудили сильные боли в животе. Врачи сказали ему, что ликвидировали язву. Он поверил — желал верить:

«И вот, как ни странно, после операции, явившейся огромным нервным потрясением, я почти здоров. Потерял около 20 кг, помолодел, глаза стали большие, как в юности. Если это все даст семь—десять лет настоящей работы, я выполню свое предназначение».

В последние годы он выглядел старовато — заметно пополнел, полысел, лицо сделалось одутловатым, и внешняя перемена после операции была ему приятна.

Он попенял себе, что не продиктовал свои впечатления и переживания, связанные с операцией, пока они не потускнели, не потеряли мучительной свежести, — для вероятной повести о врачах.

В апреле, солнечным днем с тающим снегом, после трехмесячного пребывания в больнице, он возвратился домой. И начертал план на 1961—1963 годы. В этом перечне отсекалось все прочее, кроме романа-эпопеи и повести «Иностранная коллегия» — о французской оккупации Одессы в годы Гражданской войны. Остальными пунктами были книжные издания опубликованного, публикация написанного, а также поездки за границу и по стране в творческих целях. Но не удержавшись и на этот раз, он все же добавил сюда доделку некоторых прежних замыслов... «Синяя тетрадь» уже подготавливалась к выходу отдельной книжкой. Чрезвычайно важен был для него и принятый к изданию сборник военных повестей, куда спустя тринадцать лет после журнальной публикации вошли, наконец, «Двое в степи», несколько им отредактированные. Этот заветный томик, в котором собралось лучшее, что он написал о войне, с полным правом дополнил бы и готовый уже рассказ «При свете дня».

Этим рассказом Казакевич поставил последнюю точку в своей Книге войны. В ней уже нашли отражение многие характеры, разные ситуации и моменты войны. Охвачен был и переломный период в Германии сразу после войны. В новом рассказе давалась мирная послевоенная жизнь в одной московской квартире, где внезапный и сильный отсвет войны озаряет для тех, кто продолжает здесь свое пребывание, истинную великость погибшего, простую и недостижимую, непонятую самым близким

ему человеком, женой, ни в довоенной повседневности, ни в военное лихолетье. Идея проявления на войне замечательной сущности человека, принимавшегося прежде за обыкновенного, даже заурядного, восходила еще к тому первому его замыслу в прозе, о котором Эммануил рассказывал и писал друзьям в конце войны, когда у него все еще было впереди... Так что творческая история «При свете дня» продлилась больше указанных им в дневнике тринадцати лет.

В этом большом рассказе автор не ограничивался, в отличие от повести «Двое в степи», лишь объективным воспроизведением поступков своих героев, давая возможность читателю допредставить, дочувствовать то, что происходило в их душах. На сей раз он сам осветил тайники их мыслей и чувств. Рассказ вызывал щемящую боль за polegшее на полях сражений человеческое благородство и бескорыстие, доброту и красоту. Новый рассказ произвел сильнейшее впечатление на читателей, был признан критикой превосходным, за него ухватились телевидение и кинематограф. (Все повести и романы Казакевича переходили на экран; но проза его немало утрачивала от своевольных переделок сценаристов и режиссеров, что добавляло ему огорчений.) Казакевич вновь подтвердил свою славу блестящего мастера новеллы. «При свете дня» опубликовал Твардовский. Тесные дружеские отношения между ними восстановились.

Побыв затем в санатории, окрепнув, он уединился на даче и принялся за «Новую землю». Работа двинулась. «Хочу надеяться, что этот роман будет достоин России, русской революции и русской литературы...» — отметил он в дневнике. Эпопее он предпослал эпиграф из Апокалипсиса: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».

Он был доволен сделанными главами:

«У меня чувство, что только теперь начинается моя настоящая литературная жизнь, что все ранее написанное — подготовительный, во многом еще робкий этап. У меня теперь медвежья хватка, я все могу. Я снова, как во время писания «Сердца друга», начинаю бояться за свою жизнь — не от страха смерти, а от страха не исполнить то, что предназначено».

Он не управился написать свой роман-эпопею.

Прошедший через тысячу смертей на фронте, он понадеялся, что впереди у него достаточно жизни. Войдя в силу после операции, отписав первую часть первой книги эпопеи, он нетерпеливо переключился на заготовки для «Иностранной коллегии», противовесом перетягивавшей его к себе. Казакевич стал приглашать участников одесского подполья к себе на дачу, подолгу расспрашивал их, а его секретарь стенографировала эти беседы. Затем, весной, он собрался с главным своим помощником по сбору материалов, старым большевиком-подпольщиком, ехать на машине в Одессу — через Харьков, Киев, Николаев и Херсон. Херсон был добавлен в маршрут, чтобы обязательно повидать Выдригана. А в Харькове, Киеве, Николаеве планировалось встретиться с жившими там участниками одесских событий и порыться в местных архивах. Его шофер готовил машину к продолжительной езде.

Перед автопутешествием он в составе писательской делегации слетал во Флоренцию на конгресс Европейского сообщества писателей; кроме Флоренции, бывал и в Риме.

Прилетев из Италии, отправился в намеченный путь по родной стране, но доехал только до Харькова, города своего детства. Его сильно беспокоила судьба рассказа «Враги», отданного в центральную газету. Он звонил по ночам домой, потом в редакцию, его просили что-то поправить, и он, оставив спутников с машиной в Харькове, рванул на самолете в Москву, чтобы на месте, самому внести эти поправки — такое значение придавал он публикации «Врагов». Рассказ был о Ленине, о Ленине непримиримом и гуманном, который неофициально предлагает лидеру меньшевиков Мартову, прячущемуся и смертельно больному, немедленный отъезд за границу.

«Враги» вызвали большой интерес и оживленно обсуждались. Эммануил радовался, но в Харьков не вернулся — почувствовал недомогание. В какой-то степени, возможно, и прилет в Москву интуитивно был связан с ощущением вновь наступающего нездоровья. Так город детства замкнул круг его земных путешествий...

Он засел на даче, пытался работать, превозмочь болезнь. К болезни добавились переживания извне: в те дни «Литературная газета» напечатала хлесткую статью, наголову разбиравшую его литературный рассказ с позиции точности истори-

ческих фактов. И все остатки сил и нервов до очередной операции он потратил на возмущение и писание вариантов ответа своему критику.

Хирурги объявили приговор: запущенный рак. Эта весть потрясла друзей, знакомых, близких и дальних. Казакевича любили и ценили, повседневно искали его поддержки, совета, спешили передать ему новость, узнать его реакцию, насладиться его шуткой, эпиграммой, иронией. Но в страшном роковом переломе сдернулась обволакивающая, приглушающая дымка привычности, и перед всеми непосредственно знавшими его с усилившейся до боли остротой предстало все значение его присутствия среди них. И в том же роковом повороте пришло осознание надвинувшейся общелитературной беды — внезапного обрыва творчества писателя, который обязан был еще многое написать, может быть, самое значительное...

Из больницы его перевезли домой, в московскую квартиру. В борении со смертью за жизнь Казакевича участвовало много людей. Из Японии доставлялись специальные антибиотики, а присутствовавшие на съезде онкологов в Москве японские ученые консультировали лечащих врачей по применению препарата. Писатели установили в квартире круглосуточное дежурство.

Он держался мужественно. Шутил, сочинял экспромты. Один из последних:

Шепот в Ваганьково и в Новодевичьем:

— Что же медлят там с Казакевичем?

Когда ему бывало получше, диктовал своей секретарше, преданно ставшей при нем и медсестрой. Но в разговоре один на один с друзьями-писателями горько повторял: «Не жить хочу — роман написать хочу. Не надо никаких усад жизни праздной, только написать...» Теперь он молил судьбу и врачей дать ему год жизни, всего лишь один год, чтобы закончить роман.

После второй операции была еще третья, вовсе бесполезная, но он продолжал полагаться на то, что Высшая Сила поможет ему исполнить его труд. Но, по-видимому, Высшая Сила оставила его с этим замыслом без своей поддержки.

В последние сутки врач, поправлявший аппарат с закисью азота для обезболивания, заметил, как по щеке больного покатилась слеза.

— Закись? — спросил врач.

Эммануил чуть повел отрицательно головой на подушке.

— Зависть... — произнес он тихо.

Врач не понял, подумал, что бред. Поняли близкие, находившиеся в палате. Из наушников в изголовье доносилась музыка Моцарта, который так мало прожил и так много успел...

Казакевич и сам был из породы моцартов. И неоконченные рукописи также тому свидетельство.

Чаще всего он работал над двумя или несколькими произведениями одновременно. Наверное, так был устроен его творческий стимулятор, нацеленный на то, чтобы объять и вытянуть из себя, воплотить на бумаге как можно больше сюжетов. Но стимулятор оборачивался и тормозом. Казакевич торопился зафиксировать новую вспышку воображения в ее свежести и яркости, а «заняв плацдарм», записав это яркое — страницу, эпизод, заключение, — он остывал, откладывал работу, чтобы вернуться к ней по плану, но обстоятельства менялись, планы мешались. Это были издержки творческого богатства, страстного интереса к жизни. Издержки любви к литературе. Но насколько достижимо такое благо — оставаясь самим собой, уравновесить собственные страсти, характер и разум, подчинить себя расчисленному поведению?..

В его дневнике остался диалог, названный им «Разговор с Богом»:

« — Господи, разве можно так поступать? Дать человеку талант и не дать ему здоровья! Смотри, как мне плохо, а ведь я должен написать свой роман. Кто-кто, а ты ведь знаешь, как это нужно написать.

— Ты напрасно жалуешься. Тебе сорок восемь лет, за это время можно было успеть кое-что, согласишься. Приходится еще раз тебе напомнить, что Пушкин, Рафаэль и Моцарт умерли в тридцать семь лет, что многие другие умирали еще раньше и успевали сделать так много, что откладывали отпечаток своей личности и своего искусства на целые поколения.

— Это... верно. Но ты ведь знаешь причины, почему я не смог развернуть свои силы. Ты не можешь не учитывать время, в которое я жил: разруху, голод, многолетнюю жестокую диктатуру. Ты не можешь не знать, что в такие времена вообще, а в

наше время в частности люди рано созревают житейски и поздно — в моральном отношении...

— Но великие тем и отличаются, что даже в труднейшие времена они способны остаться собой и оттиснуть очертания своего лица (или хотя бы ладони) на огромном, изменчивом, железном лице времени. Раз ты не смог, значит, ты не велик. Примирись с этим и не жалуйся».

Этот разговор с самим собой произошел у него еще перед первой операцией. Эммануил понимал, что при отборе в свой пантеон Литература никому никакой пощады не дает. И, как стон, записал: «Невыносимо быть больным и беспомощным, когда у тебя в душе, еще не на бумаге, такая книга».

От его эпопеи остались двенадцать мощно написанных глав, гора черновиков, набросков, планов, схем, тетрадей, исторических материалов.

Что же произошло? Не хватило жизни? Но почему даже после операции, получив такой предупреждающий «звонок», он все же перебил работу над своим главным произведением заготовками для повести «Иностранная коллегия»? Потребовалось вновь окунуться в истоки? Материал оказал сопротивление, и это также явилось одной из причин, по которым он «боялся» эпопеи? Или ему что-то мешало в себе самом и долго не удавалось это преодолеть? А когда, наконец, перед ним открылась «даль свободного романа», было уже трагически поздно? Кто знает... Наши пределы, как и наши победы, внутри нас.

Но судьба художника решается не только *внутри* него, но и *вовне*, во взаимодействии его человеческих качеств и таланта с теми обстоятельствами, в которых он живет и творит. История советской литературы вопиет о том, что все истинные таланты неизбежно попадали в перемалывающую машину сталинщины. Одни из них, как Мандельштам, Пильняк, Бабель, были уничтожены физически. Других, как Булгаков, Платонова, Ахматову, Зощенко, Пастернака, Гроссмана, не переводя за колючую проволоку и не расстреливая, подвергали моральной изоляции, общественной травле, лишали возможности печататься. Третьи пытались честно сказать свое слово в существующих условиях. И в этом плане, очевидно, можно говорить о *варианте* Казакевича и об уроках его судьбы.

Один из главных уроков — в производившейся коварной подмене идеалов, основывающихся на нравственных понятиях добра, справедливости, всеобщего блага, тотальной идеологией, подчиняющей человека предписываемым ею постулатам и особенно опасной для художника. И вот построенный в тридцатые годы Магнитогорск воспринимается, как «город-чудо», которым «может гордиться наш рабочий класс и весь народ», несмотря на то, что «он стоил больших, чрезмерно больших жертв...» И вся страна, весь Советский Союз видится в замысле романа как «Новая земля», хотя оборотной, скрытой стороной ее был «Архипелаг ГУЛАГ». Все-таки, судя по тем двенадцати главам, которые Казакевич успел отделать окончательно, он пошел в своей эпопее путем полной правды в изображении описываемой им действительности. Но насколько это изменило бы весь первоначальный замысел, определенно сказать нельзя.

Уроки эти и в том, что приверженность идеологии, разводя, разъединяя ум и сердце человека, может со временем взорвать его изнутри...

Эммануил Казакевич умер сорока девяти лет 22 сентября 1962 года. И так совпало, что в этот день телевидение повторяло спектакль по его рассказу «При свете дня». А через несколько дней состоялась премьера фильма «Двое в степи» — по повести, которая тринадцать лет была под запретом.

Хоронили его с воинскими почестями. Все центральные газеты и литературные журналы напечатали некрологи и обширные статьи о нем, подписанные известными писателями. В статьях цитировались — уже применительно к нему самому — слова из «Двоих в степи»: «Великий разводящий — Смерть — снял с поста часового», и из «Сердца друга»: «...ему суждена неповторимая судьба: будучи мертвым жить». Некоторые статьи так и назывались — «Сердце друга» или «Сердце солдата»...

Смерть, как это и происходит всегда, с внезапной четкостью и властью проясняет истинное значение ушедшего из жизни человека. На похоронах и в некрологах о Казакевиче говорилось преимущественно как о военном писателе. А Твардовский в своей статье выделил из написанного им прежде всего «Звезду» и отвел ей

«заглавное место» вообще среди произведений писателей военной темы, получивших тогда широкую известность:

«...Появление этой повести сразу означало приход в русскую советскую литературу большого, вполне самобытного и яркого таланта и, более того, новую ступень в освоении материала Великой Отечественной войны.

В отличие от своих литературных сверстников, еще державшихся в освещении фронтовой жизни приемов жанра мемуарно-хроникального или очеркового, Казакевич в «Звезде» дал блестящий образец жанра собственно повести, художественной организации материала...»

Действительно, Эммануил Казакевич вместе с Виктором Некрасовым вошел в первую послевоенную волну отечественных баталистов. И именно он стал во многом предтечей для второй волны, возникшей в пору «оттепели». Именно в его повестях впервые столь явственно запечатлелся дух Великой Отечественной войны и *характеры* того поколения людей, которое вынесло на себе неимоверные тяготы фронта и отдало для Победы все свои силы и миллионы жизней. И эти характерные образы солдат, сержантов и офицеров из произведений Казакевича возникали потом и у последующих баталистов, подтверждая тем самым, как точно видел и мастерски воплощал он войну. Не остался без внимания и его опыт опробования разных масштабов прозы.

И становилось все очевиднее, что своей Книгой войны Казакевич «оттиснул очертания своей ладони на огромном, изменчивом, железном лице времени».

После его смерти возник целый поток воспоминаний о нем. Писали те, кто знал его в отрочестве, в Киеве и Харькове, кто был с ним затем в Биробиджане; писали фронтовики, рассказывая о встрече с ним на войне как о светлом и незабываемом событии в их жизни; молодые литераторы, которых он поддержал с первой рукописью и помог превратиться рукописи в книгу; и, конечно, сами писатели, кто вместе с ним действовал в литературе в послевоенные годы. Притягательность и значение его личности, признаваемые и при его жизни, обрели еще большую значимость от горького осознания свершившейся утраты и образовавшейся пустоты. Наиболее точно это выразил К.Паустовский:

«Только потеряв его, мы поняли до конца, что он принадлежал к первым и лучшим людям нашего времени — по остроте и смелости мысли, по вольному и умному таланту, глубокой честности, по блеску его воображения и тому бурному человеческому обаянию, которое мгновенно покоряло всех... Нередко он бывал и печален и гневен или, вернее, как-то гневно-печален. Это его состояние всегда находилось в связи с опасениями за судьбу литературы, за достоинство человека и его независимость».

Вскоре был издан двухтомник его сочинений. Позднее — еще одно собрание произведений, писем и дневников. Вышла и обстоятельная монография о его творчестве. Опубликовалась большая подборка его писем и документов военной поры. Увидели свет и завершённые главы эпопеи «Новая земля». А спустя годы был издан и сборник воспоминаний о нем. И это была еще одна *его* книга, написанная не им самим, но его жизнью и свидетельствующая о том, что Казакевич оставался *живым* до конца.

...И потому перенесемся вновь в 1943 год, когда ему еще предстояли и его военный поход — с боями, разведывательными поисками, с его воинской отвагой, ранениями и сохраненной судьбой-удачей жизнью; и неистовость творчества — со «Звездой», «Двоими в степи», «Сердцем друга», с радостью побед и горечью вынужденного, как на войне, отступления; и веселье, праздничность бытия, путешествия, мужская дружба и женская любовь; и тяжкая болезнь, трагедия несвершения книги, которую полагал главной — труд, бой, пир и горесть жизни. И смерть. И посмертная память, состоящая для писателя в том, что переиздаются и заново экранизируются его книги.

Перенесемся и представим себе его в то раннее июльское утро самой середины жесточайшей войны, когда он, молодой, тридцати лет отроду, чувствуя себя, по Пастернаку, «вечности заложником», не считаясь ни с какими препонами, катит со своим другом-полковником на «виллисе» навстречу судьбе и угадывает над собой на мерцающем рассветном небосводе свою Звезду и всем сердцем воспринимает, что идет на ее свет...

Андрей Хаданович

Под знаком качества

Перевод Игоря Белова

Баллада о тридцать восьмом троллейбусе

Тридцать восьмой троллейбус зажигает свои бортовые огни:
нечего делать на остановке — что мы стоим, как пни?

Полеты зимой? Никогда. Ясно и ворону.
Но у водителя звезды в глазах светят уже во все стороны.

Погода шепчет — нелетная, правды и в крыльях нет,
и светофор заикается, включая свой красный свет.

«Красная Маска Смерти», — сказал бы тут Эдгар По.
Но тридцать восьмой троллейбус не пойдет сегодня в депо.

У зевак под зимними шапками волосы дыбом встают,
когда тридцать восьмой покидает наш ледяной приют.

Как от вальса, головы кружатся у пассажиров и их дам.
«Троллейбус летит на небо. Следующая остановка — там...

Не забывайте оплачивать, — слышится, как пароль, —
на воздушной линии сегодня работает контроль...

Не отвлекайте водителя, набирающего высоту.
Убедительно просим держать леденец во рту.

Не компостируйте талоны, если есть проездной билет.
Уступайте ангелам пожилого возраста — правды и в крыльях нет.

Бизнес-класс для пассажиров с детьми и инвали...»
Больше объявлений с неба не доносится до земли...

Троллейбус летит вверх, внизу летит его тень.
Небесный диспетчер сбился со счета:
тридцать восьмой троллейбус за день!

Хаданович Андрей Валерьевич — поэт, переводчик, эссеист. Родился в 1973 г. в Минске. Первая книга «Письма под одеялом» вышла не на белорусском, а в украинских переводах (Киев, 2002). Автор нескольких книг стихов, в т. ч. «Земляки, или Белорусские лимерики» (2005), «From Belarus with love» (2005), «Сто ли100в на tut.by» (2007), «Берлибры» (2008).

Преполагает литературу в Белорусском ун-те, президент Белорусского ПЭН-центра.

Белов Игорь Леонидович — поэт, переводчик. Родился в 1975 г. в Ленинграде. Автор книг стихов «Весь этот джаз» (Калининград, 2004), «Музыка не для толстых» (Калининград, 2008). Переводит польскую, украинскую и белорусскую поэзию. Лауреат всероссийской литературной премии «Эврика!» (2006) и др. Живет в Калининграде.

Постимпрессионизм

Ребенком
пытаюсь забраться на бабушкину печь —
и руки по самые плечи
тонут в черном море
семечек,
которое бабушка пытается высушить.

В те времена
семечки сохли на диво быстро,
а подружки
не стеснялись их лузгать
при мне,
и шелуха просто
висела у них на губах,
совсем не отбивая
желания целоваться.

И я снимал ее —
осторожно, как сапер,
ведь первое прикосновение
запросто могло быть последним,
а так хотелось продолжения,
тем более что на печи
сохли новые семечки.

С тех пор
я разбираюсь в подсолнухах
не хуже Ван Гога,
а в тыквенных семечках
намного лучше его.

Et si tu n'existais pas...

если б не было тебя в великом раскладе мира
я выдумал бы тебя как вспышку космического огня
посылал бы тебе эсэмэски наплевав на черные дыры
инициалы твои были б звездами для меня

я дарил бы имя твое недавно открытым странам
и небесным дорогам его бы присваивал тоже
и не верил бы что обезьяна происходит от обезьяны
ибо все было б очень похоже на подобие божье

о тебе сочинял бы я песни и орал бы куплет за куплетом
и соседи проснувшись ночью не знали б о ком пою
посреди зимы я послал бы их прямо в... лето
не боясь дешевого китча в попсовом этом раю

ты была бы последним криком и первым шепотом моды
и я умирал бы от счастья не прося эвтаназии
мой карандаш бы летал над землей указкой прогноза погоды
но ты есть у меня и не знаю что делать с моей фантазией

* * *

он говорил ей глупости он приносил ей ландыши
невозможные в это время в другом раскладе
они обнимались так часто — глубже, пацан, дыши —
словно их постоянно снимали светской хроники ради

балтийские дни и ночи были прожиты наугад
и глаза от нехватки сна не слипались уже ни на йоту
там где место встречи неба и моря стыдливо прикрыл плакат
рекламируя небу и морю автомобиль тойоту

а когда дженис джоплин перекрикивала гданьскую электричку
поскольку от грохота рельсов ее как-то особенно перло
он понимал что чудо опять превратится в привычку
если дышать так часто,
небо вновь попадет не в то горло

ты скажешь, амур не настолько привык к оптическому прицелу
чтоб свадьба текла по усам и нос в шоколадном креме
а просто своя рубашка ближе к обожженному солнцем телу
невозможному в этом раскладе в другое время

★ ★ ★

две ложки соли на кружку теплого моря —
того что течет с волос и на лице не стынет
просачиваешься сквозь границу на встречу со светлым *tomorrow*
и впадаешь в море в районе гданьска и гдыни

мокрый ветер с утра мозги промывая
извилины ваших маршрутов корректирует очень кстати
мимо тебя пролетают тучи птицы трамваи
электрички на мальборг и катера с вестерплаттэ

иностранные языки изучаешь по караоке
джаз-фестивали чаек на молах и пирсах
любая девчонка ангел чаще всего кареокий
на языках без костей встречается пирсинг

в планетарии спишь под одеялом большой медведицы
и зажигаешь под хмурым небом на зло прогнозам
фигура что издали красною кожей светится
лицейский учитель поэт с обгорелым носом

а потом вышлешь по почте или напишешь в посте
стишок-оправдание своей и чужой бессоннице
что ты вел себя тут как и положено гостю
не сгорал на буйках и не заплывал за солнце

★ ★ ★

сны о потерянном времени приходят без вариантов
дятел стучит по дереву — знай о своей судьбе
в этом мире все больше и больше качественного антиквариата
и все меньше и меньше места некачественному тебе

но есть еще солнце анфас и месяца желтый профиль
и лирики-дилетанты и делирики-профи
и броуновское движение от вечных прух и непрух
на ощупь к палаткам подружек и просто подруг

отряды новых писателей все переписут начисто
высокопарные парни с рифмами парными
и новый плохой поэт родится под знаком качества
чтоб антикварные опусы стали когда-нибудь кварными

Змитер Вишнёв

В желтых ладонях акации

Перевод Светланы Буниной

* * *

девушка с телом форели
 легкая как волны
 светлая как солнце
 странная как сон
 веселая и чистая
 как луч света
 девушка с телом форели
 я смотрю на тебя словно сом
 словно слон
 я стою как абориген с веслом
 в моих глазах нет
 ни мыслей ни слов
 я облучен магическим трепетом
 девушки с телом форели

* * *

сосны меня оплетают отлетают корнями в небо
 чувства ходят по кругу и в конце обозначен
 неблагоприятный пейзаж
 отогнав околичности речи
 я иду целовать твою руку
 в твоих глазах читаю страх отчаянье непонимание
 читаю янтарь

Дорожные впечатления

голова Карла Маркса венчает центр Кемница
 дома с мертвыми окнами —
 дети ушли на запад
 ветер гуляет в глухом одиночестве
 как после войны...

Вишнёв Змитер (Дмитрий Юрьевич Вишнёв) — поэт, романист, художник. Родился в 1973 г. в Дебрецене (Венгрия). Окончил факультет журналистики Белорусского ун-та, учился на высших литературных курсах при Литературном институте им. А.М. Горького. Один из создателей литературного объединения «Бум-Бам-Лит» (1995—1998). Автор нескольких, в т.ч. последние — «Верификация рождения» (2005), «Фараон в зоопарке» (2007). Произведения З.Вишнева переведены более чем на 20 языков. Живет в Минске.

Бунина Светлана — поэт, историк литературы. Родилась в 1974 г. в Харькове. Автор книги стихов «Удел цветка» (М., 2009), монографии «Поэты маргинального сознания в русской литературе начала XX века (М. Волошин, Е. Гуро, Е. Кузьмина-Караваева)» и др. Доктор филологических наук, лауреат премии им. Бориса Чичибабина за первое комментированное собрание стихотворений поэта. Живет в Москве.

пролетарии объединились и тронулись
в сторону светлого буржуазного будущего
даже таксисты не знают
что и кого перевозить
разве что мусор
разве что окостенелые мысли
разве что лозунги Карла Маркса
и только веселые художники
и только веселые поэты
спрятались в бывших бомбоубежищах
и пьют пиво и пьют ром
пишут шедевры
оживляют окрестный пейзаж
реанимируют погасшее солнце

* * *

возвращаюсь...
возвращаюсь во влажный Минск
вхожу в теплый кисельный туман
среди привидений
рассыпаюсь прозрачной крупкой
землей

* * *

Золотые вывески носятся, словно
птицы. С неба льются красные звезды.
Танк падает с памятника Змитру Вишнёву.
Армии маршируют проспектами
горланят песни про Пеликанов
и расстрелянных паразитов. Обувь
испачкана сажей, в саблях могучие волны,
автоматы змеино сплелись и стены
зданий пестрят фонарными знаками.
В этом воздухе запах ванили, дух
горбатого чародея, который бьет в домах стекла
и вносит в подъезды серые мачты

* * *

На ветке сидели три птички
синяя, зеленая и черная
Они чистили перья
моргали глазами
Богданович Шукайло Громыко¹
слова отстукивали синими буквами
и обживались на ветке
теплым полднем весенним
у белорусской хатки
я думал про возрождение нации
в желтых ладонях акации

¹ Максим Богданович (1891—1917), Павлюк Шукайло (1904—1939), Михаил Громыко (1885—1969) — белорусские поэты, яркие фигуры литературного модернизма начала XX века.

Фарид Нагим

Дубль два

Рассказ

— Ich sterbe, — сказал он, отвернулся к стене и затих.

Сергей вдруг понял, что Чехов сказал это по-немецки потому, что рядом с ним не было ни одного русского. Он тактично констатировал им свое состояние и все. Прочертил границу меж своей спиной и миром.

Сергей Перепелка возвращался с презентации немецкого издания своего нового романа. Ему было комфортно в этом автомобиле, в продуманной, удобной одежде и вообще очень уютно в мире и в самом себе. Приятно молчаливый и улыбчивый водитель вез Сергея — уставшего и сладостно, почти эротически пустого с одной премьеры на другую — он был нужен людям, они хотели видеть его, слышать, умиляться и дорого платить за билеты, книги, диски. Он знал, что автомобиль везет ценность, и казался сам себе хрупким, беззащитным, милым. Ему нравились серые и промозглые виды за окном, нравился всеобщий неуют, нравилась тяжесть и некомфортность труда многих и многих людей, нравилось соболеznовать им, мерзнувшим на остановках, прущим какие-то грузы, тупо стоящим за витринами магазинов и ресторанов. Тем более приятно, что он был защищен крепостью своего бренда, единственного и неповторимого, защищен надолго вперед.

По пути следования он несколько раз встретил ПЕРЕПЕЛКУ — в аэропорту, на большом, длинно растянутом полотне, он рекламировал банковскую карточку. На въезде в Москву фанатов предупреждали о его выступлении вместе с группой «Шипр» в саду «Аквариум». В центре города афиши приглашали зрителей на спектакль по его пьесе, на спектакль по его идее и на моноспектакли. Проезжали мимо нескольких книжных магазинов — «перевернув» глаза, он видел — какие из его книг и на каких полках там стоят — «современная проза», «хиты продаж сентября», «бестселлер», видел журналы, в которых интервью или фотосессия с ним. В кафе, за стеклом, мелькнула девушка с ноутбуком. Сергей подбирал и уже внятно составлял в голове слова, которые он напишет в своем ЖЖ для тридцати тысяч читателей. Он улыбался, это были хорошие слова, добрые истории и милые шутки с компьютерным символом :-). Могло быть и такое, что девушка открывала его блог: «Просто хотелось написать, что от Ваших постов мне очень тепло. Я отношусь к Вам с нежностью — совсем недавно я прочитала Вашу книгу «Песок», а в тот счастливый час, когда встретила мужчину своей мечты, мы говорили... как думаете о чем? — верно, о том, что это была последняя книжка, которую и он прочитал :))» — писала она, а по стеклу кафе в это время проскользило отражение его автомобиля.

Сергей вдруг удивился, что он — ПЕРЕПЕЛКА. Что этот писатель, драматург, актер, режиссер, что эта культовая личность, кумир поколений, этот самый сложный механизм со своими законами, привилегиями и обязанностями и есть он. Так бывало уже не раз.

Сергей сцепил руки на колене и усмехнулся. По себе он знал, что точно так же удивляется какая-нибудь голливудская звезда, например Джордж Клуни, оставаясь в одиночестве, поражается точно так же: «Я — КЛУНИ! Нет, ну надо же, я — КЛУНИ, охренеть!» Точно так же удивляется и Ксения Собчак. Ей тревожно и страшно, порой она уже не знает, что делать со своим брендом. СОБЧАК всемогущ, богат и подозри-

тельно везуч, он дергает ее за ниточки, словно кукловод, порой вспыхивает и сердится по ничтожным пустякам, раздражается на совершенно левых людей, изменяет ей.

— Вряд ли, — сказал он. — Я думаю, она вообще не запаривается. Просто это все, что она умеет. Да. Быть самой собой и это продавать.

— Что? — быстро обернулся водитель.

— Ничего, я так.

Водитель кивнул и с преувеличенным вниманием посмотрел в зеркало.

В кармане вздрогнул айфон. На экране улыбающееся лицо — Саша Новости. У каждого известного человека находится множество участливых, бескорыстных и назойливых помощников. Часто именно они и создают легенды о беспомощности Звезды, о ее гениальности, бездарности, глупости, сварливости, чувствуя при этом свое превосходство, как врач над больным, как критик над писателем, как слуга над хозяином.

— Привет. Поздравляю!

— Спасибо.

— Нет, Сережка, ты не понял с чем!

— У-унд?! — мягко и насмешливо потребовал Сергей. Ему нравилось, как это делали немцы. — И!

— Новость! Вышел в свет учебник по русскому языку для школьников, в нем есть несколько правил, которые иллюстрируются фразами из «Бумазеи» и «Песка». Прикинь, да?!

— Надо же, приятно, нечаянная радость. Придешь на спектакль?

— Не могу. Все девчонки, с которыми я прихожу, влюбляются в тебя. А мне, типа, спасибо, Санек, что познакомил с творчеством Перепелки.

— А-а, хм, ну извини, чувак.

После него позвонил Алексей Меламут. Леша был именно тот самый человек, про которых говорили — олигарх. Он был настоящий олигарх, один из нескольких, управляющих огромной территорией. А еще он был очень простой и классный парень, которому нравилось жить.

— Кто это? — вдруг спросил Меламут хриплым, похмельным басом.

— Вообще — это мой вопрос... Это я.

— А-а... а-а, это ты, Сергушок? Извини, я тебя случайно набрал. Как ты?

— Ничего, нормально все.

— Ну, хорошо, давай.

Меламут издал первую книгу Сергея и вообще помогал ему, хорошо, по-дружески помогал. И Сергей не чувствовал себя должным — Меламуту очень нравились спектакли и речитативы под музыку, а продажи от тиражей книг давно уже превысили все расходы. Он сделал неплохой бизнес вместе с Сергеем. Вообще, ПЕРЕПЕЛКА был удачным бизнес-проектом: при минимуме вложений максимум отдачи.

Рабочие сцены никуда не спешат, но всегда успевают — везде, но только не в России. Вот и сейчас, самолет, который по тросику должен перелетать через весь зал на сцену прямо в руки Сергея, — застрял где-то над семнадцатым рядом. В Америке, человек, отвечающий за это дело, сгорел бы от стыда.

— Блин, ну, неужели так сложно? — раздражался Сергей. — Ведь это не птица!

— Эт точно! — усмехнулся парень, ответственный за полет самолетика.

— Что точно?

— Что не «Чайка»!

— В смысле?

— Ну-у... что типа примитивно, по идее должен бы и долетать, ептыть, — парень прятал усмешку и явно копировал речь других рабочих. — Долетит, куда он денется...

Витя Пакгауз, директор театра, слушал Сергея, набычившись, выкатив светлые глаза и плотоядно распустив губы.

— Я все понял. Не заводись — он бывший актер. Это зависть. Да и получают они, честно говоря, сущие копейки.

- Ясно.
- Представляю, как он должен тебя ненавидеть — он учился по Станиславскому, а ты, простой филолог, сделал их всех.
- Да уж... А я Чехова ненавижу, — усмехнулся Сергей.
- Что так?
- Он все уже написал за меня. Порой кажется, что я — Костя Треплев.

Сергей недоумевал и обижался, когда его «не любили». Все, что он делал, — было добрым и никого не обижало. Сергей первым объявился на сцене как человек советский обыкновенный боящийся и говорил о страхе в ожидании войны, о том, что придется погибнуть за Родину, о боязни подвергнуться пыткам в плену и стать предателем и т.д. Ему удалось создать феномен человека свойского, вышедшего из толпы и заговорившего о сокровенном на их универсальном уровне. Его темы вечные: детство, школа, любовь, семья, какие-то мелкие и милые моменты и пустяки, из которых составляется бытовая жизнь людей всего мира, но замечает и говорит о них только он. Сергей, например, никогда не скажет, что в автобусе пахнет резиной. В автобусах Голландии резиной не пахнет. Но в автобусах всего мира пахнет «по-особенному» — он так и говорит об этом: «В автобусе пахло по-особенному». В самом начале то, что делал Сергей, считалось андеграундом, молодежным изыском, сценическим открытием — на этой волне его поддержали некоторые критики. Но чем успешнее становилась деятельность Перепелки, чем респектабельнее становился он сам, тем сильнее его раздражало все андеграундное, ненормальное, претенциозное, мрачное и малобюджетное. Чем больше у него появлялось почитателей, тем агрессивнее ополчались на него критики и люди, имеющие отношение к так называемому высокому искусству.

На сцене он смущался и запинался настолько, что какая-то тетка из первых рядов громко сказала: «Не бойтесь, Сережа! Мы сами боимся». Слева засмеялись, а справа захлопали. Отклик зала порой вдохновлял до истерики, когда кажется, что еще чуть-чуть и в самый драматический момент зарыдаешь слезами счастья, Сергей это вовремя замечал и, чтоб не заносило, сдерживал эйфорию. После спектакля он долгое время пребывал в каком-то сиянии, ему хотелось энергичных и дурашливых действий, хотелось смеяться, плакать, и, стоя под душем, он продолжал играть уже другую, еще не совсем ясную для него самого пьесу. Поскальзывался и смеялся, пуская струйки изо рта.

От спектакля он отходил долго, собирался медленно еще и для того, чтобы не встретить у служебного входа поклонниц. Когда-то он мечтал, что станет известным и заведет кучу роскошных и веселых любовниц. Но этого не произошло, он еще ни разу не изменил жене. Образ мягкого, доброго и верного мужчины, созданный им, не вызывал у женщин плотоядных желаний. И никому из влюбленных в него девушек он не испортил мнения о себе, не испортил своего воображаемого образа. Он не изменил той блистательной, юной и мудрой поклоннице, которая, наверное, ждала его впереди. В том будущем, когда он исполнит все задуманное и не будет таким уставшим и расписанным по минутам, когда жена станет «невкусной» и не такой трепетной, когда подрастут дети и хоть что-то станут понимать, когда ему, может быть, захочется посмотреть и на других своих детей, которые родятся от других женщин...

Из тьмы неба в жидкий пузырь фонарного света свисли нити ветвей с редкими, желтыми листочками. Силуэт мужчины. «Какой свежий, не бутафорский воздух... Да, к тебе... Да-да... спасибо... о-о, спасибо... и вам спасибо... конечно... сейчас я устал, обязательно в следующий раз», — проговорил про себя Сергей и надел вежливое, уставшее лицо.

Человек отдал ему букет и внимательно посмотрел в глаза.

- Что, скажете, доктор? — усмехнулся Сергей.
- Вы правы, я и есть доктор, — мужчина пожал плечами.
- А я пошутил.
- Бам Петрович Шалбанов, психотерапевт.

— Что ж, очень приятно.
— И мне приятно, а моей жене как приятно! Жаль, сама она постеснялась к вам подойти.
— Ну-у, обычно стесняюсь я...
— Не буду вас задерживать, — вдруг сурово перебил Бам Петрович. — В нашей клинике появился Перепелка.
— Что?
— Появился, скажем так, параноидный тип — молодой человек, твердо уверенный, что он — это вы.
— Потрясающе, как Наполеон?
— Наполеон уже не актуально, есть Сталины, естественно Путин, появился Медведев и вот вы...

Этой ночью, в одиночестве стоя в колеблющемся вместе с деревьями круге фонарного света, Сергей понял, что случай дарит ему новый спектакль, не похожий на все, что он делал раньше. Моноспектакль «Я не ПЕРЕПЕЛКА», где он в одном лице будет играть самого себя и сумасшедшего, считающего себя ПЕРЕПЕЛКОЙ.

Удручающая, до мелочей знакомая больничная обстановка, те же запахи и звуки, отсылающие в далекое и неизбежное прошлое. «Особенные» запахи — в психушках Голландии хлоркой вряд ли воняет.

Бам Петрович относился к Сергею двойственно — то как к писателю и хорошему знакомому, то как к больному. Они были почти ровесники.

— Вот этот полный мальчик — Ксения Собчак.
— Он же мальчик.
— Ну, да. Вот мужчина, который нашел миллион долларов.
— И?
— Очень хотел найти миллион долларов и нашел-таки. Пошел менять в обменник. Мир — дурдом, конечно, но не настолько, чтобы кипу рекламных листовок считать за доллары. Сдали его в милицию. Теперь он министру внутренних дел пишет, генпрокурору, во Всемирную организацию по борьбе с пытками направил письмо, председателю комиссии по правам человека при президенте, омбудсмену России.
— Забавно. А где же Я?
— На обеде... Вон дядя, которому кажется, что он убил человека, — скрывается здесь от мафии. Возле мусорки мальчик, повернутый на пластических операциях члена.
— Как же это все излечивается? Все так непросто.
— Да уж, это вам не лягушку через задницу надувать.
— Блин, но как же вы их лечите, интересно?! — перед всеми, в ком он на какое-то время нуждался, Перепелка разыгрывал непосредственную детскость.
— Как?! — вдруг возбудился Бам. — На мне тридцать больных! Я им даже элементарную психотерапевтическую помощь оказать не могу. У меня семья, я — ученый! А вынужден работать на нескольких ставках, как в платном, так и в бесплатном отделении.

— Да, да...
— Но и там и там все равно отсутствуют современные медикаментозные средства, те, что есть, — имеют выраженные побочные эффекты! — Бам оторвал лепесток от цветка в горшке и зажевал. — Поэтому я применяю как древние эзотерические практики, так и нейролингвистическое программирование, — Бам искоса посмотрел на Сергея. — Голотропное дыхание, трансперсональная психотерапия.

— Какой ужас... Вечная палата номер шесть.
— Да ну бросьте уже эту школьную пропаганду! До революции в России было двести и более частных психиатрических больниц с коллективом из 3—4 врачей достаточно высокой квалификации. Получается, что один психиатр вел 5—6 душевно больных. Медсестер было больше, — он снова сорвал лепесток и задумчиво сжевал его. — Доктор Чехов, как всегда, взял вопиющий случай какого-то Мухосранска, а большевики его распиарили! Даже государственные психиатрические больницы срав-

нительно редко пользовались приемами стес-не-ния психически больных, не говоря уже о частных психиатрических учреждениях, где они были абсолютно невозможны. У меня об этом статья в инете есть.

— Надо же.

— Ну, вот и Ты вышел. Он пока на платной... Но это ненадолго, по опыту знаю — не потянут.

— Как в американском кино, — сказал Сергей. — Клиника, парк, желтые листья, сумасшедшие.

— Даже и сравнивать нечего. Мы сильно отстали в вопросе частной психиатрической помощи, одно слово — институт Сербского и Кащенко.

Сергей напряженно всматривался в одинокую фигуру в длинном халате — они разительно отличались. Человек оглянулся и посмотрел на окно. У Сергея от напряжения заслезились глаза и перехватило горло. Ему было жалко этого человека, он почувствовал себя виноватым в его болезни, не просто болезни, а как бы в убийстве, уничтожении другой личности.

— Я о нем напишу, — сказал он.

— И я, с вашего позволения, опишу ваш случай, — обрадовался Бам. — Представляю, сколько будет комментов на этот пост! Хоп, как говорят в Ташкенте?!

— Что? — поежился Сергей. — А, хоп, конечно.

— Ну-с, вот история болезни, ознакомься.

— Федор Нахимов. Надо же. А почему я? Почему не адмирал?

— У кого что болит... И потом, сверхличности — это не актуально.

— Ну да — ну да...

«1978 года рождения. Профессия — официант, надо же... поступил в апреле 2008-го».

— Наденьте халат и не сюсюкайте с ним!

— Он же меня узнает, наверное?

— А вот это — посмотрим и... почитаем — он ведет ежедневник, натурально писчий.

Огромные листья под ногами, точно вампирские плащи, странная сухость платановых стволов, тяжелая, осклизлая сырость кленовых деревьев. Свежий и тонкий запах тленья.

— Привет, — сказал Сергей.

Федор нахмурился и промолчал. Как и все сумасшедшие, он вовсе не производил впечатления больного.

Сергей сел на другой край скамьи. Очень красиво сочетались мрачные, тяжелые глубины парка с легкой, хрупкой желтизной опавших листьев. Черный, сморщенный бархат дубовых стволов, мшистая зелень на них, тонкая серебристая пыльца повсюду. Сырое, древесное карканье вороны.

— А хорошо здесь! — удивился Перепелка. — Какая сочная цветовая гамма.

— Да, я знаю, для шизофрении характерно неадекватное отношение к цвету, — Федор глянул с некоторым презрением и отвернулся.

Самая обыкновеннейшая внешность. Сергея умиляли эти взъерошенные волосы, строгое, сосредоточенное лицо, серые глаза и хлопающие ресницы, барственно сцепленные на колене руки и этот «дворянский» халат.

— Уже чувствуется осень — в холодном воздухе, в облаках, в звездах над ними... — сама собой, независимо от Сергея, включилась фирменная интонация ПЕРЕПЕЛКИ. — А главное — в глазах. И, кажется, что в Москву возвращаются очень хорошие люди, актеры, художники и писатели, которых не было целую вечность. И вот они все вернулись в свои старинные, уютные и теплые дома. Скоро они позовут меня к себе. Мы будем говорить и думать только о хорошем и смотреть в холодные окна на осеннюю, старинную Москву...

Федор презрительно хмыкнул.

— А вы знаете, что на Марсе идет снег? — отрешенно сказал он.

— Не-ет.

— Огромная, вымершая планета и только шорох снега в темноте.

— Жутко.

— Хотите, я вам что-то покажу?

— Да, можно, — Сергей обернулся, будто спрашивая разрешения у Бама.

Они пошли в глубь парка.

— Вон танцующее дерево, — показал куда-то Федор и украдкой огляделся.

— Где?

— Вон, посмотрите внимательнее... У меня временные трудности, — продолжал он, не меняя интонации. — Я в ловушке. Меня здесь душат...

Сергей отшатнулся.

— Видите, какой ствол раздвоенный? Видите?!

Сергей вдруг заметил, что он босой.

— Вы что, слепой?!

— Послушайте, вам не холодно без обуви? Вы же простудитесь!

— Меня давит пошлость этого места, — Федор нахмурился и быстро пошел назад.

Сергей всунул руки глубоко в карманы и нахохлился, он боялся задеть и разрушить нечаянным телесным движением здание спектакля, которое сейчас возносились в нем невесомыми, хрупкими конструкциями. «Я сыграю вместе с ним! Я его вытащу отсюда». — Сергей корил себя за этот вечный прагматизм творческого человека и радовался, что все так сложилось, что настоящий сумасшедший на сцене — такого, наверное, еще не было, вдобавок ко всему просто добрый поступок. «Плюс еще и роскошный информационный повод». — Услышал он голос Ирки. Ира Ключева представляла нехорошую, финансово-организационную сторону ПЕРЕПЕЛКИ.

«Вчера встретил Федора, — писал Федор. — Он по-прежнему завидует мне.

— Федор! — вдруг сказал я. — Я так счастлив, что мы встретились!

— Я не Федор, я — Сергей, — настойчиво утверждал он.

— Я знаю, Федор, — мягко сказал я. — Но Перепелка никогда не врет — так проще, не надо помнить о своем вранье».

«В каком интервью я это говорил? — оторвавшись от чтения, задумался Сергей. — Но то, что говорил, — точно, это мои слова».

«— Понятно, Сергей, — с усилием сказал Федор. — Что нового у тебя?

— Я пишу роман о геях. Я вижу, что ты удивлен. Но я очень хочу вырваться из-под пресса ПЕРЕПЕЛКИ: гомики — это так не похоже на меня. Ведь самое ужасное в том, что рядом с убийственной роскошью всегда стоит женщина. Понимаешь, Федор, любовь ужасно опошлили, а на фоне гомосексуализма она смотрится такой сиротливой, незащищенной, нелепой. Живой, а не глянцевой, понимаешь?

— Понимаю, — уныло кивнул он. — Я недавно прочел твой сценарий «Апокалипсис. Дубль два».

— Ну и как? — улыбнулся я.

— Это потрясающе, — сказал он с завистливым разочарованием и, не выдержав, добавил. — Лучше ты ничего не напишешь.

— Ха-ха, — захохотал я. — Какой прикольный анекдот. А ты на чем сюда приехал?

— Пешком.

— Не может быть, Федор?! Понимаешь, я вообще не автолюбитель, я автомобилей боюсь, меня шофер возит, но во всех своих романах я — автолюбитель, понимаешь, потому что большинство моих читателей любят машины, пиво, футбол, охоту, рыбалку, ебалку, долгие ночные разговоры с женой и так далее, а мне все это претит».

«Интересно. Об этом я уже нигде не говорил. Но это — тоже мои слова».

«Федор ушел подавленный. Порывисто вскочил и убежал. По-прежнему завидует. А я завидую ему, даже ревную. Как нелепо все. Когда я смотрел вслед этой одинокой фигуре, меня пронзила мысль о том, что я хочу сыграть с ним на сцене.

Пригласить его в пару. Это будет, скажем так, восхитительный и пряный спектакль, такой непохожий на все, что ты делал раньше... Федор, мне не холодно. Мне жарко, именно поэтому я и спрятал колотырки — даже трава потеет от моих ног».

Сергей вздрогнул — словно бы не прочел последнюю фразу, а услышал над ухом насмешливый голос Федора.

Человек, присланный от Меламута, передал ему тонкий файл и флэшку.

— Знаете, я же не просил его об этой услуге, я рассказал ему об этом курьезе для...

— Да ладно ты не менжуйся! — сказал дядя. — Здесь все по интересующему тебя объекту. Леша сказал: «Я за личные коммуникации». Это чисто его слова. Сказано — сделано, хули...

Сергей хотел уже послать его, но дядя улыбнулся широкой и обаятельной улыбкой матерого зверя, дружески протянул широкую ладонь. С такой же улыбкой он мог бы, наверное, перерезать горло.

Федор Нахимов был тот самый обыкновенный, нормальный человек, на которых ориентировал свое творчество Перепелка. Краешком жизни он еще застал СССР; учился на историка в педагогическом институте; рано женился на однокурснице; у них родилась дочь; по профессии не работал, а сразу пошел в ресторан; у него даже имелся автомобиль.

Сергею всегда было интересно, в чем такие люди находят смысл своего бытия — неужели в семье, детях, любовницах, автомобилях, футболе, в нелюбимой работе от отпуска до отпуска, в надежде, что повысят зарплату. Сергей даже уважал этих людей за их смиренное терпение.

На флэшке был весь компьютер Федора — фотографии, маленькое видео (смонтированные и положенные на музыку Ф.Скляра кадры семейного отпуска в Турции), несколько киносценариев, ежедневник — Word Pad, записи в блоге.

Обычные школьные, институтские и семейные фото застенчивого человека с ускользающим лицом. На некоторых фотографиях он словно бы прислушивается к чему-то, растерян, хмурится.

В сценариях, не представлявших ровно никакого драматического интереса, всегда был один и тот же герой — молодой официант, и финал — апокалипсис. Поражало, однако, что Федор делал ударение совсем не на том и подобрал для выражения своих мыслей такую неподходящую форму. Сергея потрясли монологи главного героя, похожие скорее на дневниковые записи. Это были замечания о странных на первый взгляд проявлениях человеческой природы — интимные, глубокие и свойственные всем — но признавать их за собой отважился бы не каждый. Сергея так восхитило и напугало написанное, что он даже обернулся, не видит ли этот текст еще кто-то, кроме него. Федор беззастенчиво говорил именно о том, о чем Перепелка всегда умалчивал. Это было табу, он не смог бы говорить такое при маме или дочери. Пришлось бы переходить на другой уровень общения, практически невозможный между людьми. И если слоган Перепелки — «Для каждого», то слоган Федора — «Для каждого Тебя».

Завершая чтение «сценария», Сергей неожиданно испытал свой маленький апокалипсис, он вдруг засомневался в высшем и справедливом устройстве мира, все морально-нравственные устои показались ему призрачными, слишком заданными. Так у него было однажды, когда он перекурил анаши, — все перевернулось с ног на голову и верилось, что можно вывести мир на новую дорогу и легким взмахом руки спасти его от вечных правил, вечных религий, вечных убийств, обманов и катастроф. Какие-то доли секунды Сергей балансировал на краю сияющей пропасти, и свет спасительного знания уже взламывал его череп, но потом он поел, и все это прошло.

Федор был неудобный, отвратительный, но поразительно искренний и талантливый человек, которого необходимо срочно спасать. На его спектакли точно никто б не пошел, но читали бы его многие, в том числе и родители, и дети, если они у него есть. Но вот что он писал дальше: «Сегодня взяла в кредит пластиковые окна фирмы

«Калева». Посоветовал Валеркин друг, который там работает. Семьдесят тысяч рублей. Мы сглупили, в том плане, что на окно, защищенное лоджией, не надо было ставить двойной стеклопакет. Когда я брал кредит, вдруг выяснилось, что у Тани в «Хоум кредит» долг на пятьдесят тысяч. Как, из каких трат он образовался?! Таня, скажем так, слишком широкая натура, я замечал, что в кафе и барах она платит за всех. Я ей еще сказал тогда, что мы в этом похожи и что у нас никогда не будет денег. Она сказала, что так все Львы по гороскопу».

«Сегодня Вика разбила бутылку вина за пять тысяч долларов, все видели, что пьяный клиент подтолкнул ее под локоть. Клиент промолчал, и мы будем в течение полугода делать отчисления от зарплаты».

«Сегодня банкет — удалось заработать — везу домой непочатую бутылку торфяного виски, большие объедки торта и, скажем так, чужой роскошный букет для Таньки. Ехал и ежился от сознания того, какая же я мелкая личность!»

Сергей даже усмехнулся. А вот и он:

«Сегодня были на спектакле Перепелки. Специально отпросился с работы, пошел из-за Тани, чтобы был хороший секс. У женщин трепетное отношение к сексу, им нужно «единство душ». Они защитницы всего земного и телесного — они продлевают материальность этого мира. Ей подозрительно нравится Перепелка, он добрый, считает она. Все люди уже заранее были готовы к чему-то хорошему. Я проснулся от его слов. Он сказал, что, когда бреется, иногда вспоминает что-то неприятное и морщится перед зеркалом — это было точь-в-точь про меня. После этого я слушал его очень внимательно, и мне стало жалко своей прошедшей жизни и вообще. Он говорил обо мне, он заикался и запинаясь, как я, если бы вышел на сцену, он дергал плечом и усмехался, он был летчиком, а я хотел быть милиционером. Как он умеет говорить обо мне так хорошо. И мне было хорошо с ним. На работе было хорошо. Весь день в голове голос Перепелки».

«Сегодня банкет. С самого утра я имел очень неприятный разговор с Катей по поводу фамильярного обращения с клиентами, не поймешь — то любите клиента, запоминайте вкусы и пристрастия, то фамильярность. Я уже типа согласился, что лажанулся, а она все говорит и говорит. В каком-то отчаянии вышел покурить, я задыхался, сигарета выпала из рук, Катюха умеет взорвать мозг, и вдруг увидел Перепелку — он сидел в машине и, прислонившись к стеклу, смотрел на меня задумчивыми, невидящими глазами. Взгляд его скользил по витрине, мусорке и по мне. Войдя в ресторан, я понял, что за торжество будет у нас, и понял, что снова увижу его. У нас вручали премии молодым писателям. Видел в жюри Дридзо — он оказался удивительно невысокого роста, а Улядунов совсем не такой крутой, как в том боевике, даже наоборот. Я всегда был рядом с Перепелкой, обслуживал его, видел его затылок и шею, прислушивался. Он неприятно поразил меня, всех перебивал и рассказывал свои истории. Я понял, что он не циник — он играл циника, неумело, как это делают искренние, добрые и беззащитные люди. Он пил виски «Чивас Ригал», съел несколько бутербродов с маслом и черной икрой. Он был очень вежлив со мной, это как бы плата за наше халдейство, мы равны как бы. Он уехал. Чаевых никто не оставил, как всегда звезды. Я вышел вслед за ним покурить. Он был ОДИН, просто поймал частника, сел и уехал, обалдеть! Мне казалось, что я еду вместе с ним, и мы с ним вспоминаем, мы говорим: «А давай вспомним все такое советское и сапоги на «манной каше». Таксист не выдерживает и присоединяется к нам. Если бы знал, то взял бы Танькин «Песок», чтоб он поставил свой автограф для нее».

«Сегодня играл перед зеркалом его пьесу. Странно, в голове идеально звучит его голос, а моя интонация совсем другая, как в караоке».

— Ну, так говорил бы и продолжал писать свое личное! — не выдержав, сказал вслух Сергей.

«Я уже не знаю — люблю я романы Перепелки или нет? Они у меня читаются. А критики меня ругают».

Странные подвиги в психике Федора начались со случая в ресторане. «Как хорошо, что я могу это написать. Я могу это написать сто раз, но легче мне не станет. Вчера, в пятницу 2008 года, на банкете какого-то министерства, министерства автотранспортного транспорта, пьяный и развратный олигарх вывалил на мою голову — в прямом и самом непристойном смысле — пасту, а потом медленно посыпал рукколой и поперчил. Я, конечно, тупил весь день. Но при чем здесь официант, когда виноват повар?! Еще это дурацкое «ресторанное» отравление с девушкой из «Дома-2». Люди вокруг сдерживали смех, но им было очень смешно, видимо. Руководство проигнорировало случай этого вопиющего хамства. Мне сказали, что синьор Манжели просто закрылся в своем кабинете, типа уже ушел, но он был там. Еще бы — 70 тысяч долларов за банкет! Все меня успокаивали, типа, ну и жесткач, такого, мол, никогда не было. Типа, забей, это из-за кризиса. Я понимаю, что кризис у всего человечества в планетарном масштабе, особенно в макроэкономике, да во всем, нахрен. Но легче мне не стало. Тоска, апатия, отчаяние и страшный зуд, который хочется истереть бритвочкой или петлей об шею. Доколе, блин, доколе?!»

Потом Федор вдруг купил бритву «Филипс», точно как и у Сергея и точно как он начал старательно поддерживать трехдневную небритость.

«Сегодня у меня был прекрасный секс с прикольной Ирой Ключевой. Ах, какая же она. Какая хорошая. Такие груди. Я лежал на ее груди, обсуждали наши планы».

— Ирка точно удивилась бы! — Сергей едва не рассмеялся.

Это была одинокая и странно равнодушная к мужчинам женщина. Ей нравилось творчество Перепелки, но и в этом Сергей порой сомневался. А однажды она с удивлением рассказала, что одна из ее бывших подруг, как выяснилось, всю жизнь была лесбиянкой. Сергей же отметил, что в этот момент она была очень радостной и необычно красивой, точно эта новость ее вдохновила.

«Сегодня в метро девушка напротив меня читала «Песок»! На задней обложке моя небритая фотография. Она была в очках, шурилась прямо на меня и не узнала».

«Сегодня очень сильно побил нашу Малыську. Я не могу выслушивать ее настырные капризы, когда внутри меня звучит другой голос. Эта тема меня бесит конкретно! Сейчас хожу и в натуре ломаю себе руки. Боже, прости меня! Боже, прости меня!»

Театр снимал для Сергея квартиру в одном из окраинных, «спальных» районов Москвы — это одновременно угнетало и радовало его. Однообразная, безысходная и бесконечно «пивная» жизнь вокруг четко оттеняла чужеродность, необычность и особенность Перепелки. Радовало то, что он мог так же прожить свою жизнь и быть похороненным на кладбище у МКАД, но уже точно не проживет, он временно среди этих несчастных и еще не выбрал, в какой прекрасности будет дальше жить. И тем более его поразила весьма точная карта из файла телохранителя Меламута — Федор Нахимов жил в соседнем доме, на первом этаже. Сергей оторопел, он даже видел машину Федора, все совпадало — марка, цвет, номер, и ему на какую-то секунду показалось, что это его машина, что он как бы заново узнал ее. Пересиливая интимный трепет, он стянул с крыши несколько холодных, влажных листьев, заглянул в кабину. «Может быть, это все подстроено? — Сергей осмотрелся. — Что если и я сам участвую в чьей-то «недоброй» пьесе, что если эти алкаши на детской площадке тоже участники странного спектакля?»

«Кумиры — это столпы социума. Крыша мира колеблется — кумиров больше нет и нет добрых людей. Но сколько самоотверженных, бесстрашных и беззаветных

слуг у Зла! А где они — ШАХИДЫ ДОБРА... Я ненавижу ПЕРЕПЕЛКУ! Бог вложил в меня обаяние величайшего пророка и спасителя людей. Я — ПЕРВЫЙ ДИКТАТОР ДОБРА. Увы. Я только ношу на груди крестик со стильной эмалькой. Я потрафляю мелким чувствам и пристрастиям людским. Я усыпляю их на самом краю пропасти, и зарабатываю на этом жалкие, презренные гроши. Когда-то я был настоящим, а теперь я фальшиво запинаюсь, фальшиво заикаюсь и кривлю губы, фальшиво усмехаюсь и прижимаю ухо к плечу. Эти зрители, любящие скромность, ординарность, комфорт, любящие только себя, создали из меня еду».

«Ничтоже не бояшася потерять большую и богатую часть своих зрителей заявляю во всеуслышание: я искренне ненавижу байкеров, за их бессмысленную роскошь передвижения и бесполезность для человечества».

«Откуда во мне это постоянное затылочное чувство ожидания удара? Даже оборачиваюсь. И эта мучительная уверенность в бесполезности, гибельности и уже недолговечности всего. Но эти яхты, виллы, многочисленные дети, любовницы и дети любовниц, неужели они не сомневаются и продолжают укреплять полочку с бриллиантами в поезде, летящем под откос?!»

«Если Таня или Малюська еще раз скажут это, я их, я не знаю, что я с ними сделаю».

Ночь была теплой и ватно-глухой, как это бывает в сырую погоду, когда даже самые коварные сучки переламываются под ногами с бумажным беззвучием. Следуя промокшей, мятой карте, Сергей подобрался к самому подоконнику. Пульс был такой, что все видимое вспухало и сокращалось в глазном хрусталике. Влажный дым оконного света, мясистые, глянцево-синие куски и лохмотья листьев. Створка приоткрыта. Видны были только руки над раковиной, но по этим горестным и нежным рукам он дорисовал весь облик Таньки. И вдруг, у самой своей щеки он услышал тонкий голос дочери.

— Смертельная угроза нависла над новгородцами! — девочка читала по учебнику — ресницы ее вздрагивали и шевелили прядь волос. — Для монгольской конницы оставалось несколько дней пути. Однако ордынцы остановились неподалеку от урочища Игнач крест... мам, там уже феи суперкрошки начались!

— Читай, — красивые, женственно-полные кисти проплыли к полотенцу.

— Игнач крест... внезапно развернули своих боевых коней и приблизительно около 18 марта 1238 года отступили на юг. Этому способствовали мужество и героизм русских людей, оказавших упорное сопротивление монгольским завоевателям.

У Сергея задрожала душа.

«Ребята, привет! — хотелось закричать ему. — Это я, ваш папа!»

— Па-па! — с нежной, влюбленной удивленностью выдохнет дочка.

В траве блестели, вспыхивали капли дождя. В странном и счастливейшем сиянии стоял он у этого окна, и состояние это было не фальшивым. Он не хотел уходить даже когда погас свет.

«Раздоры в религии ведут мир к глобальной катастрофе. Я отец-основатель новой веры — христианский иудо-ислам. На краях поперечной перекладки звезды Давида, а на верхней оконечности полумесяца. Утверждаю, ПЕРЕПЕЛКА».

На следующий день Сергей улетел в Петербург, домой. И когда он гладил свою дочку по голове, ему казалось, что она ласкает и ту, другую девчонку и спит не только со своей женой — он чувствовал на шее и спине те нежные, женственно-полные руки.

Продолжая читать эти чужие-личные записи, Сергей отметил, что, когда Федор «сошел с ума», — он стал умнее и симпатичнее.

«Я живу, как одинокая тетка после тридцати, то есть только для себя. Живу эгоистичными заботами о теле и поиском новых и новых мелких удовольствий: в

Турции мне нравится хамам, в Египте и на Байкале подводное плавание, в Малайзии экзотические массажи, везде и повсюду я, пресыщенный гурман, пробую местные блюда. То есть практикую использование многообразных, изощренных продолжателей и аналогов секса и оргазма. И мне тревожно... Глупые люди надеются на меня, а я, как и все они, в глобальном тупике, я топчусь на месте, или, как все современное мироустройство, — мечусь белкой в колесе, когда кажется, что чем быстрее бежишь, тем скорее найдешь выход. У меня боится душа... Я вижу конечность пути и стараюсь из всех сил наслаждаться тем, что мне дано. Веру в бога я изжил, семья дает смысл, пока не осточертеет, бороться со злом я не хочу — моя чашка кофе вкуснее, когда с той стороны витрины на нее смотрит бездомный нищий. Я хожу в эти адские места извращений — модные бутики и рестораны. Я дружелюбно общаюсь со слугами дьявола. То есть, я должен сделать признание — я, как и все человечество, морально и физически готов к исчезновению мира. Боже, ты слышишь — я устал, я готов к концу света».

Только в конце октября Сергей вернулся с гастролей. Федор все еще находился в больнице, но уже в бесплатном отделении.

— Добрый вечер, — сказал Бам Петрович. — Чем могу быть полезен?

— Я бы снова хотел встретиться с Перепелкой.

— Ах, да. Да, больной Нахимов... Но он уже на общих основаниях.

— Ну и чего?

— Ничего, надо купить одноразовые бахилы.

Во всей больнице не было дверей — длинный коридор и комнаты — туалет, еще что-то, кухня, палаты и большой зал для прогулок, что-то типа красного уголка или Ленинской комнаты с решетками на окнах. Сергей смотрел из темноты на деревья, и желтые листья казались застывшими в воздухе, развешенными на невидимых нитях. Мужчина в спортивном костюме делал зарядку. Щуплый паренек прижимал к уху пустую ладонь и хаотично бродил по залу.

— Слышь, ты, достала уже! — сказал он.

Появился Федор и Сергей, рассмотрев его, ахнул.

— е-мое! Кто вас избил?

— Передайте олигархам, которые подослали вас, что они не услышат от меня ни единого слова! — с ненавистью сказал Федор.

— Да никто меня не подсылал, блин! — разозлился Сергей. — Хватит валять дурака!

— Это вы, блин, валяете дурака! Российский офицер изнасиловал и убил девушку... Понимаете ли вы, это наш отец сделал с нашей сестрой, с моей родной сестрой?! Я вот здесь это чувствую и болею.

— Э-э...

— Алло... Сгинь, сука, слышь, я сказал!

— В Африке от голода и жары умирают миллионы людей...

— Ну так, что с того?! Я и рад бы помочь этим людям... Бог им поможет, что вы на себя его функции примеряете? Не верите в его силу?

— От моей веры ни холодно ни жарко. Пока я тут трачу с вами время, умерло или убито уже несколько человек.

— Сгинь, не звони больше, от..бись, а!

Их разговор привлек больных, они столпились у дверей — один ужаснее другого.

«Невероятное зрелище. Какой там Гойя?! Гойя отдыхает. А ведь сейчас даже не средневековые... Перекошенные, вытянутые, сплюснутые, с опухолями и чаговыми наростами — неужели эти лица породило наше время. Наверное, поэтому охранник попросил фотоаппарат оставить».

— Человеческая подлость не имеет границ! Я ору вам в ухо, а вы не слышите: в нашей с вами стране за просто так задерживают людей, наших братьев волокут по земле, им затыкают рты, бьют и убивают, а мы спешим поскорее пройти мимо. Где внутренняя свобода истинных интеллектуалов?!

— Задерживают тех, для кого бунт и провокация стали профессией и средством пиара. Это все уже было и привело к страшной революции. Допустим, в твоих словах

и есть доля правды, но о какой социальной ответственности можно говорить с таким населением, как наше? Как их спасать? Ведь это неловко, стыдно и нехудожественно вообще... Сами люди положили на все, они устали и в апатии. Им всем по херу, короче говоря!

— Ложь, ложь ненасытных воров! Россия идет по страшному кругу. Эта затянувшаяся ностальгия по Советскому Союзу и плотоядное, безграничное потребление... Каждый десятый болен сифилисом или СПИДом.

— Что ты все козыряешь какими-то сведениями!? Вот у меня гораздо более десяти приятелей, но никто из них не болен сифилисом или СПИДом.

— В стране каждый год похищают, убивают, развращают, абортируют и продают на органы Великую Детскую армию.

— Знаешь, я понял тебя — ты из тех ленивых неудачников, которым все же не лень постоянно ерничать, истекать желчью, презирать и ненавидеть. Они меня в ЖЖ задолбали уже!

— Поверьте МОЕМУ печальному опыту — чем богаче и успешнее вор, тем громче он говорит о величии народа, о Родине и вере в ее великий духовный потенциал, о том, что все будет хорошо.

— А ты не веришь конечно же.

— Нет. Люди неправы!

— Послушайте, виной всему, что с вами произошло — непомерная гордыня! — Сергей сказал это громко и с вызовом.

— Так, мне все ясно! Передайте им, что я прекращаю всяческую связь с общественностью! Передайте им всем, что близятся последние времена. А в сущности, зачем?

Сергей чуть не засмеялся от вида всей этой картины — он, спорящий с сумасшедшим официантом, внимательно притихшие уроды у дверей. На самом деле Сергей спорил с Федором все время с самой первой встречи, спорил с его дневником, спорил с восприятием ПЕРЕПЕЛКИ и с тягостной досадой понимал, что этот сумасшедший в чем-то прав. Сергея любили в этой стране, здесь ему сопутствовал успех, творческая и материальная удача, — все это истеризировало его душу, настраивало на любовь и счастье, и ему казалось, что он действительно любит этот народ, эту страну, верит в ее великий потенциал и великое будущее, верит в дело ее управителей и уважает их. Его устраивала сложившаяся ситуация, и он заклинал, чтобы положение вещей как можно дольше оставалось неизменным, словно бы сила этих его заклинаний и действительно могла что-то исправить, очистить, излечить. Сергей подсознательно уже заготовил эти слова: «Ребята, я им искренне верил, я не знал, что наши правители были циники и убийцы». Это был своеобразный синдром заложника, которому террористы создали комфортные условия, назвали собратом по успеху, обещали сохранить жизнь — и он убеждает себя и окружающих, что все нормально, просто другие заложники — неудачники, которым закономерно не повезло в силу каких-то их слабостей. Сергей изоощренно балансировал меж пошлостью и откровением, меж лояльностью и оппозицией, бунтом и конформизмом.

— Вот ты все ругаешь Перепелку, обвиняешь во лжи и фальши, а он всего добился своим трудом! — разозлился Сергей. — Упорством. Волей. Его и слушать никто не хотел. Он, как рекламная дешевка, заманивал людей на свои первые спектакли. Он нищенствовал и голодал, в отличие от некоторых халдеев, — Сергей почувствовал, как распухает в нем театральная эйфория. — У меня гастрит и изжога, и порой у меня не было денег на Ренни, и я мучился, сглатывал слюну и терпел, терпел! Знаешь ли ты, как сложно завоевать любовь зрителей?! Это невозможно устроить специально, это мистика!

— Что вы мне все это говорите?! Я все это прекрасно знаю и без вас!

— Ничего ты не знаешь! Это не мир кончается, это ты кончился как личность. Пусть погибнет социум, которому я не нужен, да?

— Я ненавижу Перепелку! Я уничтожаю искусство. Я уничтожаю элиту. После 2012 года нас всех накажут.

— Зря ты так. Еще столько добра и любви в людях всего мира, столько сил и желания жить и дарить жизнь, радоваться и влюбляться.

— И тем более страшно и жалче. Неужели заложен тоннель необратимости?! О-о, я вижу, вы хитрый и сытый циник, но вы сами себя обманываете.

— А вы знаете, по статистике в психбольницах в основном не ученые и поэты, а малообразованные пролетарии. Неожиданно, правда?

— Это невыносимо! — Федор привстал и крупно задрожал всем телом. — Этот вал катится и нарастает! Как же больно, больно мне...

Вдруг Федор побежал и ужасно, не замедляя бега, ударился об стену головой. Сразу, точно уже ждали этого, закричали и заплакали несколько уродов. Расталкивая толпу, вбежал медбрат и уже было занес ногу, чтобы пнуть корчащегося человека, но, заметив взгляд Сергея, сдержал ногу и по ходу движения отбросил ею стул, рывком поднял притихшего, окровавленного Федора, повел куда-то. Федор оглянулся и показал Сергею фак.

Сергей засмеялся и только волею опытного актера удержал свой собственный истеричный крик. Он задышался, легкие ломило, и ему стало казаться, что он никогда уже отсюда не выйдет.

Мужчина в спортивном костюме не делал зарядку — он так и оставался все это время — закинув одну руку за голову, а другую уперев в бок. Так он и пошел за Сергеем, смотрел с укором и качал головой.

«Лили Аллен — скандальная звезда! Что скандального в этой холеной англичанке — высунутый язык?! Каждый раз поражаюсь — ну что, нахрен, скандального в этих прагматичных буржуа — Джонни Деппе, Тарантине, Джастине Тимберлейке и т.д.?! Ну что? Кокаин? — так это роскошь. Художественно порванные майки от кутюрье? Сызмальства мечтают лишь об острове и миллиарде. Сначала хер, а после — сэр! И все по плану — минеральная вода без газа, коллекция машин и мотоциклов «Харлей Дэвидсон», совместные рестораны. Майкл Джексон... О-о, а-а, понял — я монстр! Меня сделали. Ну, да, я появился в конце девяностых, это набравшие силу олигархи провели опрос всего усредненного, нормального миронаселения и по итогам анализа общественных вкусов создали ПЕРЕПЕЛКУ. А когда я понял это, когда стал выламываться из-под гнета пошлости, они при содействии ФСБ уперли меня в дурдом. Прикол в том, что я не сумасшедший, но мне отсюда не выйти. Прощай, читающий эти строчки. Помни обо мне».

Сергей, которого так вдохновил горестный и жалкий феномен Федора Нахимова, не осуществил задуманного. Бегло осматривая проволочную конструкцию своего будущего спектакля, он понял, что гений великого писателя и тут его опередил. Пьеса «Я не ПЕРЕПЕЛКА», обретая очертания, тускнела и все больше походила на современную версию рассказа А.П.Чехова «Палата № 6». Наверное, поэтому Сергей охладил к судьбе Федора и уже не понимал своей прежней суеты вокруг этой патологии вулгариус. Вспоминая его интимные записи, он хмыкал, раздражался и начинал что-то пустое и нудное доказывать самому себе; во рту появлялся металлический привкус, а по телу разливалась апатия.

— Да пошел он к черту! — шептал Сергей.

Он поставил еще один спектакль, из тех, к которым привыкли его почитатели, и благодаря которым он когда-то прославился. Стоя на сцене, действительно чувствовал, как от фальши неестественно кривятся его губы. Он понимал, что люди наслаждаются узнаванием прежнего, доброго ПЕРЕПЕЛКИ, но чуть-чуть в других обстоятельствах, с новейшими деталями современного быта. Он вызывал две реакции: смех и ностальгию по сиюминутному прошлому, а также чувство радости, что он не обманул ожиданий, у него в очередной раз все удалось, что у него все хорошо и, значит, у нас всех тоже все хорошо. Как мы все пристрастны... Сергей замер на секунду, вместе с ним замер весь зал, будто люди почувствовали — сейчас пойдет совсем другой текст и начнется действительно интимное действие, которое вызовет неудобство и отвращение, стыд и ярость, но ничего такого не случилось. Обладая непогрешимым художественным чутьем и оставаясь верным великой художественной правде, Сергей чувствовал — это вовсе не его амплуа, а люди за рампой — не из той оперы, они — переходное поколение людей некоего переходного времени. Что изменит ПЕРЕПЕЛ-

КА? Попробуйте сами. Должен глобально поменяться весь этот мир уродливого формата бухгалтера Кафки и доктора Чехова. И это надо начинать делать своими руками и прямо сейчас, перед зиянием тоннеля необратимости.

«Господи, как я счастлив, продли, пожалуйста, эти мгновения!» — думал Перепелка, видя самого себя со стороны и слыша свои печальные слова:

— Приходилось ли вам, будучи взрослым человеком, встречаться с...

На рождественские каникулы он, вместе с женой и дочкой, планировал съездить в парижский Диснейленд, там можно жить в коттеджах или даже вигвамах. Но полетели к океану, чтобы открыть занавес в другую реальность, чтоб вынести за жаркие скобки эти обледеневшие машины, цементный снег и пухлых зимних людей.

«Па-па, па-па!» — как это раздражало меня. Этот ее крик! Наконец-то я понял, почему она так часто повторяет это слово — оно нравится ей, вот она и кричит по делу и без дела: «Па-па и па-па!»

В лесу было очень сыро и ужасно много улиток, даже трудно развести костер.

— Ну что ты? — успокаивал я Таньку. — У улиток нет нервов. Они ничего не чувствуют.

— Нервы есть у меня, — ответила она.

Костер еле разгорался. Она сидела на корточках и терпеливо выбирала улиток с поленьев. Потом ели шашлык и пили пиво. Таня вставала и снова выбирала.

— Они сами лезут в огонь, потому что там тепло.

Потом мы брюзжали губами.

— Так губы накачиваются, — сказала Таня.

И мы все втроем брюзжали. Немеют мышцы вокруг рта».

Сыро, холодно. Меж сваями бунгало хлупал океан, тихо и мелко, словно лесное озеро. Сергей лежал рядом с дочерью, Анжела что-то выискивала в Интернете и вдруг испуганно посмотрела на мужа.

— Ты чего?

— Тут пишут... Удивительно, как же так можно? Все-таки в этом «МК» умеют завлекать объявлениями. «ПУТИН И СОБЧАК ЗАДУШИЛИ ПЕРЕПЕЛКУ». А всего-навсего, в какой-то московской психушке придурки задушили человека, который считал, что он — ты. Потрясающе, Сер, я живу с Наполеоном.

— Да, мне что-то такое говорили. Я тебе разве не рассказывал?

— Нет, я б такое помнила.

— А, мне Саша Новости сказал, мол, есть псих, у которого такая мания величия...

Где-то вдалеке, наверное, на башне разрушенного маяка, печально залаляли бакланы.

«Странный сентябрь. Ничего не хочется. Тревога. Кажется, что он последний, что после него не то что октября, а вообще ничего не будет».

У Сергея болело легкое. Ему казалось, это так странно проявляет себя акклиматизация после длительного перелета. У него уже было такое.

Тяжелая и скользкая ртуть океанских волн. Серый и холодный песок. Сергея странно раздражала замусоренность прибрежной полосы, точно это недоработка коммунальных служб. Все эти ракушки, перламутровые осколки, крабики, паучки, подмышечный ворс водорослей засоряли его сознание, зудели в мозгах, копошились раскаленной чепухой. Сергей услышал голоса, это его жена с дочкой спешили на пляж, надеясь, что и он там. А он вдруг испугался и метнулся к пальме. Они шли мимо, а он прятался и в противоход им переступал за стволом. Странно, ведь только сегодня утром, он придумал милый семейный розыгрыш и улыбался, представляя, как весело он все это устроит.

Сергей проснулся и удивился, что спал в очках. Он потрогал лицо, но оно было

голое, никаких очков. Однако что-то явно сжимало переносицу, он потерял ее и понял, что двумя пальцами пытается по какой-то старой и странной памяти нащупать пенсне.

— Ich sterbe, — сказал он, отвернулся к стене и затих.

Сергей вдруг остро понял, что этими словами Чехов провел страшную межу перед Ольгой Леонардовной — он откестился от нее, это было почти проклятье. Еще Сергей вспомнил странную фотографию Чехова в глянцевого журнале Анжелы — лицо, словно бы составленное из двух половинок. Лицо человека на грани катастрофы.

Чехов был повсюду, он всегда окружал Сергея, а сейчас вдруг оказался и внутри его, в самом центре. Сергей с ужасом почувствовал, что проваливается меж половинок этого страшного лица, что он неудержимо соскальзывает в доктора Чехова.

«Сто шесть лет тому назад, в три часа ночи, в немецком санатории хлопнула пробка шампанского, и умер 44-летний мужчина — Антон Чехов».

Сергей закашлялся и выскочил на берег.

«Что это?! Кашель, милостивый государь... Он ВСЁ и потому я — он. Он так меня мучает именно потому, что я, на самом деле и есть он». Сергей закрывал глаза, поскальзывался, задыхался и тонул в этом портрете. Он чувствовал мышцами бедер, что идет точно, как Чехов. И снова поднес руку к переносице, теперь уже понимая зачем. Сыро, с металлическим привкусом во рту схаркнул, но набегало снова, и он громко кашлянул в ладонь, показалось — кровь! Или это пятна в глазах? Что за чепуха? Сергей побежал на пляж, к людям, желая убежать от вязкого тумана, что рос, вспухал, исходил из него, заполняя все пространство, куда бы он ни устремился.

Холодное, люминесцентное солнце выглянуло из-за белесо-перламутровой гряды облаков. На грязной и мрачной воде вдруг проявились купоросно-голубые слои, а скалы истоно почернели. Солнце скрылось снова, океан побелел, вспенились серые волны, а скалы посинели, и резко обозначился горизонт.

Что-то творилось с погодой. Острыми лезвиями блистали под ветром пальмы. Вода была колюче-холодной, словно бы волна перевернулась стилой глубинной стороной. Никто не купался. Полуголые люди, старики и дети, мужчины и женщины, худые и полные, белые и черные, желтые и красные, сбившись в сиротливую кучу, сидели у ослепительно сияющей кромки и смотрели вперед. Некоторые курили, кто-то читал, ел, пил, дремал — но все нет-нет, да и поглядывали в океаническую даль, прищуриваясь, прикладывая ладонь ко лбу, кто с напряжением, кто с апатией и будто бы насмешкой, кто с деловитостью и уверенностью во взгляде.

Все словно бы ждали чего-то.

Инна Кабыш

Саша плюс Маша

Рассказ

— Вовк, отвези меня на кладбище! — с места в карьер — будто с их последней встречи не прошло больше года — выпалила в телефонную трубку Светка.

(И Роман Вовк, которого еще в школе одноклассники перекрестили в Вовку, подумал, что Светка не меняется: им было по шесть и Светку на все лето отвезли к бабушке, а когда в конце августа привезли обратно, она выскочила из машины и, подбежав к нему, слонявшемуся по двору, протянула распухший указательный палец и сказала — так, будто они расстались час назад: «Это меня оса ужалила!..»)

— Не рано ли? — усмехнулся Вовка.

— Шутишь? — возмутилась Светка. — Я пять лет не была...

— А это далеко? — поинтересовался Вовка.

— Вообще-то у черта на куличках, — вздохнула Светка. — Но мне туда не надо — мне нужно заказать памятник, то есть памятник — это громко сказано, а просто плиту, потому что, когда умер, а точнее, попал под поезд отец, плиту ему поставил «Газпром», который тогда еще так не назывался, а когда через двадцать пять лет умерла мать, работавшая библиотекарем, денег совсем не было, и какой-то мужик из соседней деревни предложил мне добить мать на отцовской плите... — Светка перевела дыхание.

— Ну и? — нарушил паузу Вовка.

— Ну и получилась лажа, — Светка закурила, — потому что отец на фотографии молодой, а матери все-таки за пятьдесят, так что они смотрятся не как муж и жена, а как сын и мать, и потом... — Светка замолчала.

— Что? — насторожился Вовка.

— Не важно, — отрезала Светка и закончила: — Я хочу заказать новую плиту, но, поскольку в нашей глухомани нет никаких удобств, отвези меня на любое другое кладбище, где есть гранитная мастерская.

— Не вопрос, — ответил Вовка и добавил: — Ведь мы часа за два управимся, а то мне на работу.

И Светка заверила, что, конечно, делов-то куча!..

— Я слышал, ты сейчас в школе работаешь? — спросил Вовка, поворачивая руль.

— Ну да, — Светка закурила.

— А ты любишь детей? — снова спросил Вовка.

— Знаешь, как в том анекдоте, когда грузина спрашивают: «Вы любите помидоры?» — а он отвечает: «Кушать люблю, а так нет...» — Светка выпустила дым. — Учить люблю... — и повернулась к Вовке:

— Ты, говорят, развелся?

Вовка кивнул.

— Странно, — пожала плечами Светка. — В детском саду, когда мы с девчонками играли в «Дочки-матери», все всегда хотели, чтобы именно ты был «мужем», потому что другие мальчишки говорили, что хорошо, только я пошел на войну, а ты коляску возил...

Вовка затормозил:

— Приехали.

Сторож показал, где находится контора, и они пошли по длинной, усыпанной гравием дорожке.

— Я давно хотел тебя спросить... — начал Вовка, — еще когда в школе учились... — он посмотрел на Светку. — Как человек, если он не Анна Каренина, может попасть под поезд?

— Мать всю жизнь была уверена, что это дело рук гэбэшников, — как бы нехотя начала Светка. — Отец ведь в институте был всеобщим любимцем... А однажды... — продолжала она, не глядя на Вовку, — отец вернулся домой и сказал матери, что меня сегодня вызывали в комитет комсомола и предложили...осведомлять органы о настроениях среди студентов. И неделю на размышление дали. — Светка замолчала.

— А он? — прервал молчание Вовка.

— Мать говорила, что он ей это сказал, конечно, с возмущением, но и как бы с гордостью: вот, мол, понимают, кто в институте лидер... — Светка вздохнула. — Мальчишка!.. — и опять замолчала.

— И что дальше? — не унимался Вовка.

— А дальше... мать, она ж у меня с Западной Украины, заявила отцу, что я не сомневаюсь, что ты им ответишь, а только на всякий случай знай: или я, или они...

— Понятно... — Вовка помолчал. — И ты думаешь, они...

— Не я, — перебила Светка. — Но мать была уверена, что ему этого не простили, и через пятнадцать лет, когда он получил такое блестящее назначение — главным инженером, в Москву, — отомстили... — Светка вытащила сигарету. — Как ты думаешь, здесь можно курить? — И добавила: — Мать говорила, что это как в «Выстреле», только там Сильвио свой удар не нанес... — Светка положила сигарету обратно в пачку. — Впрочем, она была помешана на русской литературе...

— А говоришь, с Западной Украины, — усмехнулся Вовка и, толкнув дверь конторы, пропустил Светку.

Заполнив заявление, Светка протянула его начальнику кладбища.

— И документы, пожалуйста, — попросил тот, не глядя на Светку.

Светка достала из сумки два свидетельства о смерти.

Начальник механически пробежал первое и раскрыл второе.

— Это...как? — он поднял глаза на Светку.

— Что — как? — с вызовом ответила Светка.

— Да вот же, — начальник ткнул пальцем в заявление, — в графе «Фамилия», перед «Мария Николаевна», вы пишете «Корч...» — он запнулся, — «Коч...»

— Кочмарчик, — перебила Светка.

— Правильно, — кивнул начальник. — а в свидетельстве у вас — «Яшина», — он снова посмотрел на Светку.

— Ну и что? — огрызнулась та.

— То есть как это «ну и что»? — строго сказал начальник. — У нас тут не шарашкина контора, а государственное учреждение: мы изготавливаем плиты согласно документам. А у вас, — он постучал пальцем по Светкиному заявлению, — вместо одного человека написан другой, — начальник понизил голос, — может, вообще живой... — И хмыкнул: — Пряма Гоголь какой-то!

— Ничего не Гоголь! — вспыхнула Светка. — Просто мать потом замуж вышла и взяла фамилию отчима...

Начальник задумался:

— Ну и...почему вы не пишете в заявлении фамилию этого, как вы выражаетесь, отчима?

— Да потому что я его ненавидела! — взорвалась Светка.

— Попрошу не шуметь в общественном месте, — постучал карандашом по столу начальник кладбища. — А, собственно, почему?

— Потому что он был парторгом в своем институте и вечно бубнил, что «советское значит отличное», а сам из всех заграниц привозил тряпки — себе и матери...

— А вам нет? — уточнил начальник.

— Да не в этом дело!.. — Светка вытащила сигарету. — А в том, что, когда я ушла из дома, мать сказала соседке, Вере Акимовне, а та мне потом передала, что я хоть и Мария Николаевна, но не Волконская, которая выбрала мужа, а ребенок тем временем погиб, и развелась с отчимом...

Светка покрутила сигарету в пальцах.

А молчавший до сих пор Вовка поддержал, что да, действительно, когда Светка ушла из дома, то жила у меня, как раз родители в командировку уехали, и Мария Николаевна тогда чуть с ума не сошла, а вы тут бюрократию разводите...

Начальник нахмурился.

— Хорошо, пусть так. Но вот в графе «Дата смерти» вы пишете... — он надел лежавшие на столе очки, как если бы для того, чтобы разглядеть цифры, нужно было более острое зрение, чем для того, чтобы разглядеть буквы, — «1970», хотя в свидетельстве у вас стоит «1995». — Он снял очки. — А это как?

— А так, — Светка сломала сигарету, — что когда мать умирала от рака, а участковый врач выписывал ей омнопон в расчете на один раз в сутки, а нужно было восемь, как выяснилось потом в хосписе, когда мне — по блату, то есть с помощью того же отчима, который, несмотря на то что времена переменялись, остался номенклатурщиком, хотя и перестал быть отчимом, — удалось ее пристроить, чтобы она не сошла с ума от боли, она сказала, что мои муки — адские, потому что жизнь кончилась, когда погиб твой отец... А отец погиб в 70-м...

— Н-да... — протянул начальник кладбища. — А свидетели есть?

— Свидетели чего? — не поняла Светка.

— Что она так сказала, — пояснил начальник.

Светка задумалась:

— Сын... — и, прикинув, добавила: — Ему тогда два года было...

— Два года не считается, — твердо сказал начальник кладбища и отодвинул Светкины бумаги.

Светка и Вовка подошли к машине.

— Вовк... — Светка копнула носком туфли гравий. — А ты не мог бы... свозить меня еще в одно место?..

— Нет проблем, — Вовка открыл дверцу, пропуская Светку.

— Я тут вспомнила, — затараторила та, пристегивая ремень, — когда мы с Петровым венчались, там, сбоку от храма, была вывеска не то «Бюро похоронных процессий, не то «Нимфа». Я еще тогда подумала, что это плохая примета. — Светка посмотрела на Вовку. — Это недалеко...

— Так вы с Петровым венчались? — включил зажигание Вовка.

— Ну да, — Светка достала сигарету. — А потом развелись...

— Что развелись, я знаю, — Вовка крутанул руль. — А что венчались — впервые слышу.

Светка посмотрела в окно на уплывающее кладбище.

— Мне что обидно — что мать после развода не поменяла фамилию обратно, — она стряхнула пепел в пачку. — А я хочу, чтобы отец не знал...

Вовка вопросительно посмотрел на Светку.

— ...что она второй раз замуж выходила, — пояснила Светка и сердито затаилась: — Зачем она вообще ее меняла!... — и, помолчав, добавила с усмешкой: — Впрочем ...я же поменяла...

— Так ты что — Петрова? — изумился Вовка.

— Была, — Светка опять посмотрела в окно. — Три года... Малодушные, конечно, с моей стороны... — Она повернулась к Вовке. — Но, знаешь, как тяжело быть «Кочмарчик» в России! Ты же помнишь, как учителя вечно перевирали мою фамилию! И преподаватели в институте. И приемщицы в прачечной... — Светка махнула рукой. — А тут — Петрова. Простая фамилия.

— Главное, русская, — заметил Вовка и вдруг спросил: — Может, ты за меня потому и замуж не вышла, что менять «Кочмарчик» на «Вовк» — как шило на мыло?

— Да нет! — усмехнулась Светка, — просто для меня два года — это слишком много, — и добавила: — Наташа вон даже год не выдержала...

— Какая Наташа? — не понял Вовка.

— Ростова, — засмеялась Светка и откинулась на сиденье. — А помнишь, Пашка Безукладников написал про меня на доске:

Пока Светка — детка,
это лишь кошмарчик,
а как станет бабой —
вообще кошмар.

И захохотала: — Ты ему еще тогда морду набил, и тебя в комитет комсомола вызывали...

— Морду набил, — согласился Вовка, — а в комитет комсомола вызвали не за это...

— А за что?

— Здесь, что ли? — кивнул Вовка на появившиеся за окном купола.

— Но самое смешное, — сказала Светка, открывая дверь с надписью «Последний приют», — что он оказался совершенно прав...

В комнате, куда они вошли, по периметру были расставлены образцы памятников и плит, а в центре за столом с компьютером сидела средних лет женщина — в очках и платке.

— Мы бы хотели заказать плиту, — без предисловий сказала Светка и, подумав, добавила: — Матушка...

Матушка обвела рукой комнату:

— Выбирайте!..

Светка не спеша обошла комнату и вернулась к столу.

— Вот такую! — показала она на плиту с двумя портретами.

— Двойной, — застучала по клавиатуре матушка. — Имена и фамилии?

— Кочмарчик Александр Петрович и Кочмарчик Мария Николаевна, — четко произнесла Светка.

— Даты рождение и смерти?

Светка опустила глаза:

— Тысяча девятьсот тридцать седьмой и тысяча девятьсот семидесятый...

— У обоих? — уточнила матушка.

Светка кивнула.

— Пожелания по оформлению, — деловито осведомилась матушка. — Цветы, рамка, крест...

— Крест! — обрадовалась Светка.

— Крест, — повторила матушка и автоматически спросила: — Покойники крещеные? Православные?

Светка посмотрела на Вовку.

— Вообще-то отец был коммунистом, — начала она, — но его двоюродная сестра, — Светка облизала пересохшие губы, — когда утопился его старший брат, сказала мне на похоронах, что их в детстве вроде бы крестили...

— Вроде бы! — проворчала матушка. — А мать?

— Мать крещеная, — радостно выпалила Светка, — в протестантской церкви... — и, поняв, что дала маху, понуро добавила: — В баптистской...

Матушка отстранилась от компьютера.

— Как все запущено! Тут тебе и коммунисты, и баптисты, и... — она выдержала паузу, — самоубийцы...

— Это жизнь, — возразила Светка.

— Земная, — уточнила матушка, — в ней у нас, известно, бардак. Но в вечности, — она подняла вверх палец, — должен быть полный порядок!...

Светка побледнела:

— По-вашему, в вечности они не будут вместе?

Матушка пожала плечами, что, может, коммунисты и баптисты как раз и будут, а вот самоубийцы...

— Господи! — Светка умоляюще посмотрела на матушку. — А они так любили друг друга. — Она перевела глаза на Вовку. — В смысле отец и его брат. И дядя Борис, который был всего на два года старше отца, даже всегда ходил к директору, когда вызывали родителей, потому что их отец погиб в Финскую, а мать вечно где-то подрабатывала, потому что отец бил футбольным мячом окна и вообще не учился, это уж потом, в институте, он был гордостью курса, так как искренне верил, что коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны, а дядя Борис вообще по жизни был отличником...

Светка снова посмотрела на матушку.

Но та развела руками, что, конечно, все это очень трогательно, но выбивать православный крест над ними я позволить не могу...

И Светка сжала кулаки, а Вовка быстро схватил ее за локоть и вытолкал за дверь.

В машине Светка разревелась, а Вовка, сказав в мобильник, что меня сегодня не будет, достал карту и спросил:

— Так где, ты говоришь, твое кладбище?

— Около... деревни... Клушино, — всхлипнула Светка. — Это по Калужскому шоссе... Но...

— За пять лет, — перебил Вовка, — что ты там не была, а в России не осталось ни одного неприватизированного туалета, там могла появиться мастерская величинной с «Газпром»...

— Или наоборот, — закончила Светка и, развернув к себе зеркало заднего вида, стала вытирать платком потекшую тушь...

— Я вот что в толк не возьму... — Вовка подождал, когда она закончит, и вернул зеркало на прежнее место. — Как, имея папу коммуниста и маму баптистку, ты умудрилась венчаться в православной церкви?

Светка присвистнула:

— Знаешь, какой был скандал в благородном семействе!

Вовка искоса взглянул на Светку, а она пояснила: меня же растила одна мама, потому что отец погиб, когда мне было пять лет, а отчим не в счет, потому что два года не считается, это любой дурак знает, так что я в восемнадцать лет крестилась в баптистской церкви: у протестантов ведь крестят с совершеннолетнего возраста, чтоб сознательно... — Светка убрала платок в сумку. — А я оказалась несознательной и, когда в девятнадцать выходила за Петрова, перекрестилась в православие, чтобы мы могли обвенчаться...

— А он что, шибко православный? — спросил Вовка.

— Да нет... — пожала плечами Светка. — Как большинство русских. Просто крестили в детстве...

— Так это была твоя идея? — уточнил Вовка.

— Венчаться?

Вовка кивнул.

— Ну да. Я хотела, чтобы муж и жена были венчанные, ребенок крещеный, все православные...

— Просто ты хотела, — перебил Вовка, — чтобы порядок был уже здесь, на земле, а не на небе, как обещала нам сегодняшняя матушка, — и усмехнулся: — А то Петрова — и вдруг баптистка...

— Может, и так, — тряхнула головой Светка. — Только из этого ничего не вышло, потому что хотя мы с матерью потом и помирились, но ходили в разные церкви...

Вовка хмыкнул.

— Ну не перекрещиваться же мне было в третий раз, — возмутилась Светка и, отвернувшись к окну, добавила: — Но свою фамилию я вернула и больше ее не меняла, хотя, как ты, наверное, знаешь, была замужем еще два раза...

— Странно, что у тебя только один ребенок! — заметил Вовка.

— Всех детей не родишь! — сказала Светка, глядя в окно, и съехидничала, что зато у тебя трое...

— Я противник аборт, — поморщился Вовка. — Как ни крути, а это убийство...

— Убийство! — процедила Светка. — Ты прям как наш батюшка — он каждую проповедь кончает словами, что женщинам просто не хватает воображения понять, что оплодотворенная клетка и живой ребенок — это одно и то же...

— А ты считаешь, не одно?

Светка развернулась:

— Помнится, в школе ты любил Достоевского?

Вовка кивнул:

— Было дело.

— Сочинение писал «Мой любимый герой». Наша Клава тогда возмущалась, почему Раскольников, а не Павка Корчагин или на худой конец Базаров...

Вовка улыбнулся.

— Ну а коль скоро с воображением у тебя все в порядке, представь, — продолжала Светка, — что после убийства старухи-процентщицы в квартиру — неожиданно

для Раскольников — возвращается не беременная, как на это намекает Достоевский, Лизавета, а Лизавета с ребенком. Лет пяти. Который все понимает и может опознать тебя на следствии...

— Ну? — напрягся Вовка.

— ...и твой Раскольников — в целях самосохранения — грохает топором и его, — Светка сузила глаза. — Повторяю, не оплодотворенную клетку внутри Лизаветы, а живого ребенка. — Она выдержала паузу. — Простил бы ты ему убитого ребенка?

Вовка вытащил из бардачка пачку сигарет.

— Я думала, ты не куришь... — подняла брови Светка.

— Не курю... — закурил Вовка и, приоткрыв окно, выпустил дым. — А говорила, не любишь детей...

— Мало ли что я говорю! — дернула плечами Светка. — Я, может, думаю, что аборт — это еще хуже, чем убийство, это самоубийство...

Несколько минут ехали молча.

— А чего дядька-то твой утопился?

— Дай сигаретку, — попросила Светка, — мои кончились.

— Много куришь, — заметил Вовка, протягивая пачку.

— Я еще и пью, — усмехнулась Светка. — Так что, ей-богу, зря ты тогда Пашке Безукладникову морду набил... А дядя... — Светка вытащила сигарету, — был директором института геологии в Чернигове. Они с отцом так и договорились: один газ ищет, а другой строит для него газопроводы, чтобы мы с тобой, — Светка закурила, — жили при коммунизме...

— Так он из-за коммунизма утопился? — не понял Вовка.

— Его уволили, — Светка затянулась. — Когда Украина стала самостийной и на все руководящие должности поставили хохлов...

— Погоди... — наморщил лоб Вовка, — а он разве был не Кочмарчик?

— В том-то и дело. Ему, когда выдавали паспорт, вместо «Кочмарчик» написали «Кочмаров», а он смолчал, думаю, даже обрадовался, — Светка поджала губы. — Тогда все хотели быть русскими, — она стряхнула пепел. — А теперь доказывай, что ты не москаль...

— Так он утопился, потому что его уволили? — допытывался Вовка.

Светка выбросила окурки в окно.

— Почему утопился Катерина? — и сама себе ответила. — Не потому, что Борис уехал, а потому, что все остальные остались. — Она помолчала. — Вот и дядя Борис: не потому, что коммунизм не построили, а потому, что смысла не стало... — и совсем тихо добавила: — Я иногда думаю: может, даже хорошо, что они не видят всей этой свистопляски вокруг газа...

— Между прочим, — сказал Вовка, — когда в школе мою хохляцкую фамилию «Вовк» переделали на русское имя «Вовка», я тоже не протестовал, — и вдруг спросил: — Ты, кстати, не забыла, как меня зовут на самом деле?

Светка улыбнулась:

— Я ведь все-таки литератор, Роман...

Возле указателя «Клушино» они свернули на асфальтовую дорогу.

— Ого! — удивилась Светка. — Раньше одни колдобины были...

— То ли еще будет, — свистнул Вовка.

И действительно — за поворотом показался коттеджный поселок.

Светка вжалась в сиденье, а Вовка усмехнулся:

«Вот тебе и «глухомань!...»

Они подъехали к кладбищу.

— А ты был прав, — кивнула Светка на небольшое дощатое строение, возле которого стояли плиты и лежали венки, — хотя и переоценил масштабы...

Вовка закрыл машину, и они вошли в дощатое сооружение с вывеской «Прием заказов».

На железной кровати у стенки храпел мужик.

— Небось, здешний начальник, — поморщился Вовка. — Пойдем на территорию...

Они долго пробирались рядами тесно стоящих оград, тыкаясь то в одну, то в другую, потому что Светка никак не могла вспомнить, где находится могила ее родителей.

Наконец она увидела четыре высокие рябины, росшие за оградой — по одной возле каждой из ее сторон — и образовавшие над могилой что-то вроде шатра.

— Какие стали!.. — остановилась Светка. — А были совсем прутики...

Они вошли в ограду. Могила заросла высокой — по пояс — травой. Светка достала из сумки тряпку и бутылку с водой и протерла фотографии: одну керамическую, а вторую — выбитую прямо на плите, а потом, изредка вытирая глаза тыльной стороной ладони, стала полоть траву.

А Вовка, выйдя из ограды, крикнул:

— Есть кто живой?

Слева что-то зашуршало, и появился мужик с лопатой.

— Здорово, командир! — кивнул Вовка.

— Командир — там, — мужик мотнул головой в сторону дощатого домика, — но если что по делу — ну там оградку покрасить или сорняки протравить — это ко мне. — И представился: — Дядя Саша.

— Дядя Саша, — как всегда без предисловий сказала подходя Светка, — а можно установить новую плиту?

Дядя Саша оперся на лопату.

— Чего ж нет? — он подошел к ограде, откуда только что вышла Светка. — А чем вам старая не нравится? Работа, по всему видать, советская...

— ...значит, отличная? — перебила Светка. — Знаем: проходили. Но меня не устраивает... как бы вам получше объяснить...стиль.

Дядя Саша сощурился, разглядывая плиту.

— А чего тут объяснять? Стиль — великая вещь... — Он перевел глаза на Светку и подмигнул. — Белка-то вам будет — как насчет свистка? В смысле: не хотите ли эпитафию?

— Эпитафию? — переспросила Светка.

— Ну да, — оживился дядя Саша. — Вот, к примеру: «Покойся, милый прах, до радостного утра».

— Карамзин, — автоматически сказала Светка и покачала головой.

— Согласен, — кивнул дядя Саша, — сам не люблю сентиментализм.

Светка с Вовкой переглянулись.

— А такую, — на лице дяди Саши изобразилась грусть. — «Вы, березки, не шумите, милых сердцу не будите».

Светка сморщила лоб:

— Это где-то у Бунина...В «Деревне», кажется, — и в упор посмотрела на дядю Сашу, — только там «мово Ваню». Точно: «мово Ваню не будите».

Дядя Саша крякнул:

— Я вижу, мы коллеги...

— Ну... — улыбнулась Светка, — я-то простая учительница, а вот он, — Светка толкнула локтем Вовку. — Редактор журнала.

— Толстого? — почему-то заволновался дядя Саша.

— Глянцевый, — поправил Вовка.

— Это совсем другое дело! — обрадовался дядя Саша. — А то редакторов этих толстых журналов я терпеть ненавижу!

— Чего так? — усмехнулся Вовка.

— Да один мне тетрадку стихов — здоровую такую, за 48 копеек — всю исчеркал...

— Так вы поэт? — улыбнулась Светка.

— Типа того, — скромно ответил дядя Саша. — Я ж не только переделываю — у меня и свое есть.

— Например? — заинтересовался Вовка.

Дядя Саша прокашлялся:

— «Есть и дети, и жена, а любила мать одна». Или — «Доченька, пройдут года, а ты все будешь молода».

Дядя Саша покосился на внимательно слушавших Светку с Вовкой и продолжал:

«Распроклятая Чечня все отняла у меня».

А вот из нового: «Слишком этот свет жесток, отдыхай на том, браток».

Дядя Саша остановился:

— Ну как?

— А вы не хотите книжку издать? — то ли шутя, то ли серьезно спросил Вовка. — Есть же книжка «Тосты»...

— Оно мне надо! — презрительно сплюнул дядя Саша и, обведя рукой кладбище, изрек: — Вырубленное топором не зачеркнешь пером...

Светка от удивления широко раскрыла глаза:

— Так это все...Вы написали?

— Почти, — ответил дядя Саша и объяснил, что, во-первых, как вы успели заметить, здесь есть и классика, а во-вторых, не все же хотят эпитафии...

— Насчет эпитафии мы подумаем, — пообещала Светка, — а вот остальное... — и она выложила дяде Саше свои проблемы.

— Как говорил герой Шукшина, эх, вы, интеллигенция! — дядя Саша воткнул лопату в землю и сел на скамейку у столика возле ограды. — Садитесь, — пригласил он и Светку с Вовкой, — в ногах правды нет.

Вовка и Светка сели.

— Тут надо аллегорически, — дядя Саша сделал замысловатый жест рукой.

— То есть? — уставилась на него Светка.

— С подтекстом, — дядя Саша похлопал себя по карманам и вытащил блокнот.

— Это, надо думать, ваши родители? — посмотрел он на Светку.

Светка кивнула.

— Правильно я понял вашу идею: вы хотите, чтобы они, любившие друг друга, всегда были вместе и причем не где попало, а в Царствии Небесном?

Светка опять кивнула:

— Именно!

— Тогда так... — дядя Саша открыл блокнот, вытащил из-за уха карандаш и, на минуту задумавшись (при этом губы его шевелились), написал на чистой странице:

Саша + Маша = любовь

Светка посмотрела на надпись и ошарашенно пролепетала:

— А разве...так можно?

— А почему нет? Кто платит, тот и заказывает текст, — рассудительно ответил дядя Саша.

— А где...крест? В смысле Царствие Небесное? — робко спросила Светка.

— А это что? — дядя Саша ткнул пальцем в знак «+».

— Ну, ты, блин, даешь! — не выдержал Вовка.

— Только вот насчет «платит»... — дядя Саша почесал за ухом. — У нас тариф: 100 рублей — знак. А у вас текст уж больно короткий... — Он многозначительно посмотрел на Вовку. — Невыгодно...

— Обижаешь, — развел руками Вовка, — мы ж все-таки филологи: понимаем, что подтекст дорогого стоит...

Дядя Саша захлопнул блокнот:

— Тогда лады!

Они с Вовкой ударили по рукам, а Светка вытащила из сумки фляжку и набор из трех крошечных стопок:

— За успех нашего безнадёжного дела?

— Я за рулем, — виновато ответил Вовка.

— А я на работе, — вздохнул дядя Саша.

— Вот так и спиваются русские женщины, — Светка взболтнула содержимое фляжки, — между прочим «Наполеон». — Она открутила пробку. — Дети подарили. На День учителя.

— Хорошая у вас работа, — сглотнул дядя Саша. — Благородная...

Светка наполнила свою стопку.

— А!.. Где наша не пропадала, — резанул рукой воздух дядя Саша. — По пятьдесят капель — и в бега.

— То-то, — усмехнулась Светка и наполнила вторую стопку.

— Ну если по пятьдесят капель... — промямлил Вовка.

Светка наполнила третью.

Дядя Саша встал:

— Ну, как говорится, Царствие Небесное!..

Выпили.

— Хороший коньяк, — отметил дядя Саша садясь. — А еще ругают современную молодежь...

А Вовка, кивнув на коттеджный поселок, спросил:

— Наезжают?

— Не сыпьте соль на рану, — дядя Саша повертел в руках стопку. — Клушинские говорят, что скоро нас вообще с землей сровняют, потому-де, что кладбище недействующее... — и рукой со стопкой он показал на край кладбища, где — через овраг — начинались коттеджи. — Место кончилось...

— Конец света... — выдохнула Светка и, ни к кому не обращаясь, сказала. — А разве может быть... «недействующее кладбище»?..

Наступила тишина, только слышно было, как в коттеджном поселке работает экскаватор.

— Если может быть *город* на костях, — нарушил молчание Вовка, — то почему бы не быть *поселку*?..

А дядя Саша бросился успокаивать Светку, что, даже если могилы закатают, наш скорбный труд не пропадет, потому что тогда... — дядя Саша вскочил: «Я поставлю надгробные плиты впритык, как книги на полке... — Глаза его заблестели. — Ведь в конце концов есть только текст между прошлым и будущим...»

— По-моему, это тост, — заметила Светка и налила по второй.

— Саш-ка!... — раздалось со стороны дощатого сооружения.

— Труба зовет! — дядя Саша вскочил, быстро опрокинул стопку и кашлянул, что хорошо бы авансик...

И Светка стала лихорадочно рыться в сумке, но Вовка вынул из кармана stodollarовую бумажку и протянул дядя Саше. И тот замялся, что зачем аж долларами-то, но Вовка возразил, что твоему тезке вообще платили золотом за строку...

И дядя Саша положил бумажку в карман и гордо зашагал к выходу.

Светка взяла фляжку:

— На посошок?

Вовка кивнул и, взяв наполненную стопку, сказал: «Ведь ты так и не знаешь, за что меня тогда в комитет комсомола вызывали...»

И Светка опустила стопку и подняла на Вовку глаза.

Вовка спросил:

— Помнишь, мы писали сочинение «Мой любимый школьный предмет»? — и, не дожидаясь ответа, продолжил: — А на следующий день Клава, которая к тому же была школьным парторгом, взяла мою тетрадь и повела меня в кабинет химии, к нашей классной, и сказала, что вы только послушайте, что ваш ученик написал *вместо* сочинения... — и сам себя перебил. — Как в том анекдоте: «Правда ли, что можно предохраняться чаем? — Правда. — А *до* или *после*? — *Вместо*»...

— Извини, — запротестовала Светка и по инерции подняла стопку, — но когда твои родители уехали в командировку, это просто чудо, что я не залетела...

А Вовка, как будто не слыша, продолжал:

— ...и прочитала вслух:

В целой нашей школе,
в целом комсомоле
лучше нет предмета,
чем Кочмарчик Света.

— а Пашка Безукладников, который, оказывается, был в лаборантской, настучал на меня в комитет комсомола. Так что не зря я ему морду набил... — Вовка чокнулся со Светкой и выпил. — Хоть и не за это...

Июль 2009

Переделкино—Шатурторф

Сергей Васильев

Офелия, Корделия, Джульетта...

* * *

То ли климат излишне сух,
То ли сук рубить недосуг —
Вот и пьешь свой вишневый сок,
Ожидая выстрел в висок.

То ль идем не по той стерне,
То ли плачем не в той стране —
Пусть звенит в тумане струна,
Полно кукситься, старина!

Будет год, а может быть, век —
Станет зверем вновь человек,
И дракон о трех головах
Уравняется с ним в правах.

* * *

Брачные игры бабочек в мрачном парке,
Лип, дубов и акаций зеленый темный редут.
А еще тутовник — какие тут к черту парки —
Шелкопряды куда волшебнее нить прядут!

Я лежу в траве и гляжу, как над облаками —
Не поверишь! — сквозит изумрудная стрекоза.
Я люблюсь не полднем, не солнечными боками —
Только жизнью, слепящей твои и мои глаза.

Драхма вроде бы есть, да у Волги нету Харона,
А ладья утопла во лжи, во зле да в золе.
И приходится жить, как веселая та ворона,
Триста лет на бесплодной, сырой и желтой земле.

Васильев Сергей Евгеньевич — поэт, переводчик. Родился в 1957 году в с. Терса Еланского района Волгоградской области. В 1982-м окончил Литинститут им. Горького. Автор 4 книг стихов, в т.ч. «Странные времена», «Бересклет» и др. Пишет стихи для детей. Гл. редактор детского ж. «ПРОСТОКВАША». Лауреат всероссийских премий «Сталинград», «О, Русь!», имени Расула Гамзатова. Живет в Волгограде.

* * *

Вот и кончены дни венчальные,
Называемые судьбой.
И плывут облака печальные
Надо мною и над тобой.

Вечер катится, как каракатица,
Синей крови набравши в рот,
Хорошо так, весело катится,
Но не под гору, наоборот.

Этой полночью злой и звездною
Славно будет помочь греху
И дышать невозможной бездною,
Ожидаемой наверху.

* * *

Ты болеешь, ты в бреду,
Хочешь, я к тебе приду
И твою болезнь пустую,
Словно счастье, украду?

Нежный, пьяный и босой,
С ливерною колбасой,
С синяками под глазами,
С водкой, пахнущей росой?

Я люблю тебя давно,
Я гляжу в твоё окно,

Но ни разу почему-то
Не открылось оно.

Ладно, милая, болей,
Лей на голову елей
И, на сына нежно глядя,
Понемножечку взрослей.

Я-то ладно, как-нибудь,
Весел мой угрюмый путь.
Но того, кого любила,
Не прощай и не забудь.

* * *

Вот и осень грустная, как вдова.
В роще сыро, а нож кривой.
И стоят раскрашенные деревья,
Шелестя неживой листвою.

Наклоняюсь, не чуя земли подвох,
И срезаю большущий груздь.
Подо мною Бог, надо мною Бог,
А во мне только эта грусть.

Шекспир

1

Не Гамлет, но Фортинбрас
Плывет по живой воде.
И я уж который раз
Думаю — жизнь везде.

Полоний не полон крыс,
Он с живностью накоротке.

Одну Офелию грыз
Йорик — в чужой руке.

А если подумаешь про
То, что жизнь и впрямь коротка,
То нужно творить добро
Сейчас, а не на века.

2

Офелии легко — плывешь среди кувшинок
И среди других цветов, печальных и речных,
Напоминая речь отвесную снежинок,
Запутавшихся в небесах ночных.

Она плывет, не помня об утрате,
И радость несусветная в глазах.
О Гамлете и об отважном брате
Она всплакнет лишь только в небесах.

3

Шекспир — продукт, конечно, образцовый,
Но от него бессмертием разит
И грубостью веселой и свинцовой,
Которая нас смертью поразит.

И кто поймет, что скажет жизнь на это,
Кто нас спасет от страшных звездных бед —
Офелия, Корделия, Джульетта
Иль брошенная господом Макбет?

* * *

Никто не хочет распроститься
С существованьем и в бреду:
Растет трава, щебечет птица
И рыба плавает в пруду.

По лугу, скошенному мною,
Кузнечик скачет вороной.
Не оседлать его ни зною
И ни красотке записной.

Сомлевшая от стометровки,
Лежит на солнышке коса.
И божьи сонные коровки
Не улетают в небеса.

И так вот, мучаясь и тужась,
Жизнь множится, расту и я,
Превозмогая древний ужас
Напыщенного бытия.

Дмитрий Стахов

Перевернутые небеса

Роман

5.

Ночью Ивану приснилось, что он умер. Мертвый, он лежал на диване в чужой, неизвестно кому принадлежавшей квартире.

Перед тем как там оказаться, он ходил по московским улицам. Узнавал знакомые с детства места, доставал из кармана куртки надежную, заряженную мелкозернистой «Ilford» камеру, переводил кадр, нажимал на спуск. Большие дома расширялись кверху, будто нависали над улицами, оставляя над головой узкие полоски серого неба, по которому пролетали стаи ворон. Отбившиеся от стай птицы планировали вниз, садились на краешек тротуара, глядели на Ивана маленькими блестящими глазами, беззвучно разевали клювы, отпрыгивали в сторону, когда он к ним приближался, превращались в сумрачных прохожих, ссутулившись, шли по своим делам. Иван пытался заговорить то с одним, то с другим, но никто не останавливался, не отвечал. На востоке, в просветах между домами, висела бледно-серая, в голубоватых оспинах луна, с запада стены высвечивал розоватый солнечный рефлекс.

Иван, выйдя на проезжую часть переулка, попытался увидеть хотя бы краешек солнца, но тут же в переулок свернула темно-синяя машина, из нее выскочили несколько человек в коротких легких пальто, направились напрямик к нему, и он вбежал в ближайший подъезд. И плотно закрыл за собой дверь. И держал ее руками. Иван слышал дыхание людей по другую сторону двери, ждал, когда они уйдут, но они не уходили, стояли и ждали, когда он сам откроет дверь. По лестнице спустилась женщина, с ребенком на руках, со сложенной коляской. Остановилась рядом, передала Ивану ребенка, начала раскладывать коляску. Ребенок в упор, внимательно смотрел на Ивана. Иван отводил глаза, а ребенок — вглядывался. Наконец, женщина забрала ребенка, усадила в коляску, преодолевая сопротивление Ивана, открыла дверь. Иван бегом, слыша за собой топот преследователей, поднялся по лестнице, до последнего этажа, позвонил. Ему открыли. «Я очень устал!» — сказал Иван, уверенно прошел по коридору и оказался в дальней, полутемной комнате.

Закрытые, плотные, пыльные шторы на двух высоких, выходящих на шумный проспект, окнах. Свисающая с потолка старомодная, с хрустальными гирляндами люстра. Маленький письменный стол у стены. Кресло. Выцветшие, с разводами от высохшей протечки обои. На стене над столом — фотография какого-то человека в сдвинутой на затылок мятой шляпе. Лампа с зеленым абажуром.

Не снимая куртки, не разуваясь, он лег на застланный темно-красным покрывалом диван. Подушки дивана тут же приняли его тело, он словно вошел в паз, совпал с предуготовленным ему углублением.

Иван вытащил — да-да, именно ее! — подаренную дедом «лейку», модель МЗ. Ту самую, которую таможенники не разрешали вывезти в Англию, и отцу пришлось звонить Артемию Филипповичу. Ту самую, которой он готовил снимки для конкурса.

Фотоаппарат — «лейка». Черно-белая пленка. Никаких постановок и монтажа. Никаких обрезанных кадров. Только захватить фрагмент реальности. Одна сто двадцать пятая доля секунды. В камере мелькает свет. Мир останавливается. Точнее —

мир останавливается по его, Ивана, желанию. Безыскусное искусство фотографического снимка. Магия. Волшебство.

Перед смертью во сне он успел провести приобретшей удивительную чувствительность подушечкой пальца по верхней панели камеры, как слепой прочитал заветные слова Ernst Leitz GMBH Wetzlar Germany. Мягкий ход наводки на резкость. Впустившие его люди встали у кровати. За ними толпились преследователи. Он попытался их всех рассмотреть. Не получилось. Он навел на стоявшего ближе всех камеру, сделал снимок. Он терял способность видеть своими собственными глазами, его глазами становился объектив.

И он проснулся.

Где-то в доме хлопнула дверь.

Иван отбросил одеяло, сел, включил стоявшую на столике у кровати лампу. Темнота отступила в углы. Иван встал и подошел к комоду. Взял в руки лежавшую на комод «лейку». Вернулся к кровати, сел, зябко повел плечами. «Странно, — подумал Иван, разглядывая камеру, — вроде бы только вчера утром зарядил, а пленка уже почти кончилась, двадцать девять кадров, двадцать девять...»

Дверь хлопнула снова.

Но уже другая. Если первый хлопок послышался откуда-то неподалеку, со второго же этажа, то новый — снизу.

Иван подхватил висевшие на спинке стула джинсы, откинулся на кровать, натянул джинсы, встал, застегнул молнию. И набросил на плечи рубашку.

Он вышел из комнаты. Босиком. Прошел по коридору. Остановился на верхней ступени лестницы. Снизу, просеянный через ступени, поднимался свет. Внизу кто-то был.

— Эй! — тихо позвал он.

Никто не отзывался.

Иван начал спускаться по лестнице.

За столом, боком, подперев голову рукой, закинув ногу на ногу, сидела бабушка. В халате. Упавший тапочек лежал на полу кверху подошвой. Бабушкины ноги были пронизаны темно-синими жилками. Длинные, тонкие пальцы. Молодая, узкая, изящная ступня.

— Ты что не спишь? — садясь напротив, спросил Иван.

— Бессонница, — Галина Федоровна продолжала смотреть прямо перед собой. — Последнее время я легко засыпаю, сплю, а потом просыпаюсь. Мне мешают мысли. То я думаю об одном и том же, например — о Мариночке, то мысли скачут с одного на другое. А ты чего не спишь?

Иван зевнул. Лицо его сморщилось. Он шмыгнул носом.

— Дверь! Хлопала дверь. И потом — мне такое снилось...

— Да! Да-да... — Галина Федоровна кивнула. — Кто-то тут ходит...

— Кто-то? А я подумал — ты.

— А что мне ходить? Мне ходить нечего. Это дверь мастерской. Я говорила Андрюше. Он меня высмеял. Будто я выжила из ума. Или начиталась детективов. А я детективы не читаю. Я проснулась, решила пойти вниз, начала спускаться по лестнице и услышала, как хлопает дверь. Значит, Ванечка, ты тоже слышал. Значит, я из ума не выжила.

— Может — сквозняк?

— Ваня! Сейчас сквозняка нет? Нет! Значит, и десять минут назад не было. Сквозняк!

Иван встал, пересек кухню, вошел в тамбур, из которого одна дверь вела на крыльцо, другая, напротив, была дверью туалета, а дверь прямо была дверью мастерской. Он взялся за ручку двери мастерской, повернул и дверь открылась. «Странно, — подумал Иван, — кажется, отец всегда запирает мастерскую».

Сквозь стеклянный потолок светили звезды. Он включил свет, и звезды погасли. В мастерской никого не было. Иван обошел мастерскую по периметру, мимо высоких шкафов, плотнее прикрыл чуть приоткрытую дверцу одного из них. Обернулся к стоявшему посередине мастерской чертежному столу. Посмотрел на компьютерный стол с огромным плоским дисплеем. Выключил свет. Вернулся в кухню.

— Там никого нет, — сказал он бабушке и заметил, что Галина Федоровна успела налить себе немного коньяка в большой коньячный бокал из стоявшей на столе бутылки.

— Будешь? — спросила бабушка.

— Буду, — Иван открыл шкаф над мойкой, взял бокал, налил себе коньяка. — Твое здоровье!

— И твое! — Галина Федоровна сделала маленький глоток, поцокала языком, допила коньяк и ткнула чуть согнутым пальцем в свой бокал.

Иван привстал со стула, взял со стола бутылку. Пробка уютно выскочила из горлышка.

— Мы так сопьемся, — сказал Иван.

— Мы? Ты не пьешь, мне уже поздно спиваться. Я скорее окочурюсь от чего-то другого. Так вот, происходит что-то странное. Какие-то звонки. Люди в черном. Двери хлопают. Ты вот спокойно вошел в мастерскую. А раньше Андрюша всегда ее запирает. Всегда! Он забыл или у кого-то есть дубликат ключей? Или он не запер мастерскую специально?

— Я вчера пленку вставил в камеру, — сказал Иван, — а проснулся, посмотрел, почти вся пленка использована. Я же точно помню — сделал только пять-шесть кадров, пока Антон сгребал снег. Не больше. Твое здоровье!

Иван опустошил свой бокал. И усмехнулся: расскажи он кому-нибудь из своих лондонских приятелей, что он ночью сидел на кухне отцовского дома и пил с бабушкой коньяк, его поднимут на смех. Но если рассказать, что бабушка его вся во власти каких-то мистических фантазий, то это будет круто. Очень круто!

Наверху хлопнула дверь.

— Вот! — Галина Федоровна подняла кверху палец. — Вот! В доме кто-то есть!

— Конечно, — кивнул Иван. — Отец, Юля, Митенька, Марина, дядя. Господин Обрезчиков. Людей в доме полно!

— И ты туда же! — Галина Федоровна покачала головой. — Забудем! Забудем! Так вы едете к Буйницкому? Решил послушаться отца?

— Едем. Ты его знаешь?

— Я? Откуда! Артемий его знает. Говорит — пустейший человек. Но очень богатый. Миллиардер. Его хотят назначить на важную должность. Вернее, он хочет сам сесть на важную должность, чтобы командовать и говорить, как и что делать не только в своих компаниях...

— Да я не потому, что отец сказал. Просто надо куда-то поехать. Я уже отоспался. Вот уже кошмары во сне. Но Артемий Филиппович ведь обо всех так говорит. Для него все пустые. Я это помню!

— Буйницкий из пустых самый пустой, — Галина Федоровна перевернула тапочек, вставила в него ступню, притопнула. — Пустым же всегда везет. Всегда! Ладно, надо пойти поспать. Или почитать. Проводи-ка меня! И коньячок захвати.

Иван довел бабушку до ее комнаты. Открыл дверь. Пропустил Галину Федоровну вперед. Бабушка села на край кровати. Иван поставил бокал с коньяком на тумбочку.

— Дай-ка мне очки. Я буду читать.

Иван передал бабушке очки.

— Спокойной ночи! — сказал он.

— Утро уже! Полпятого. Давай, иди!

Иван вышел из комнаты Галины Федоровны и заметил, что по коридору прошемыгнула чья-то тень. Он уже собрался последовать за ней, как почувствовал на себе чужой взгляд. Он обернулся: в дверях своей комнаты стоял дядя, шелковый халат, мягко спадающие на домашние туфли брюки, шейный платок.

— Ты тоже не спишь? — спросил Иван.

— Не сплю, — голос Петра Ивановича был низок, он смотрел на Ивана исподлобья. — Ты ничего не слышал?

— Да мы с бабушкой тут...

— Про вас я знаю! Не твой ли дружок по коридору шастает?

— Антон? Он спит.

— Ну-ну! — Петр Иванович отступил на полшага и закрыл дверь.

Иван прошел мимо двери комнаты Обрезчикова. Остановился. Приложил к двери ухо. Прислушался. За дверью было тихо. Иван аккуратно открыл дверь, пригляделся и понял, что кровать пуста. Ему стало как-то горько, неприятно на душе. Он закрыл дверь, сделал еще несколько шагов, повернул за угол. Коридор раздваивался. Налево — к комнате отца и детской, направо — к комнатам над гаражом, в одной из которых спала Марина. «Не ходи туда! — сказал сам себе Иван. — Не ходи!»

Утром же он был в отвратительном настроении. Стоял возле Марининой машины. Ждал, когда Марина и Обрезчиков выйдут из дома. Тяжело падал снег. И тут же спрессовывался в плотное, сырое полотно.

За большим окном передвигались тени. Бабушка кормила Марину завтраком. Иван, сказав, что не голоден, завтракать отказался. Обрезчиков посмотрел на него, усмехнулся, положил себе в миску с овсянкой большой кусок сливочного масла. И намазал маслом горячий тост. Отец еще спал. Юлия занималась Митенькой. Дядя заперся в своей комнате. Марина, спросив разрешения, закурила, сделала две затяжки, сигарету потушила. Быстрым движением сбила верхушку вареного яйца. Иван понял, что это — надолго.

Он поднялся по ступеням крыльца, взял лопату, принялся расчищать снег. Шарф размотался, он стянул его, бросил на капот машины. Потом снял куртку. С каждым новым броском он чувствовал себя лучше и лучше. «Мне-то что за дело? — думал Иван. — Они взрослые люди. Им не нужно ни мое разрешение, ни чье-либо еще». Он расчистил почти всю дорожку, когда Марина и Обрезчиков вышли из дома. Бабушка стояла у окна, приложив ладони к стеклу, смотрела, как Марина открывает багажник, как достает скребок и начинает счищать снег с машины.

— Ванька! Ты бы лучше с машины начал! — крикнула ему Марина.

Иван не ответил.

Марина не торопилась. Обрезчиков стоял рядом с ней, что-то говорил. До Ивана долетал Маринин смех.

При выезде из ворот машину чуть повело, но Марина справилась, вывернула руль, скомандовала: «Все пристегнулись!», и они поехали к городу. Иван сидел сзади. Он поднял воротник, обхватил себя руками, завалился на бок, уткнувшись головой в дверцу.

— Ты что? Не выспался? — спросил его Обрезчиков.

— Не выспался, — буркнул Иван.

— Оставь его, — сказала Обрезчикову Марина. — У него скачки настроения — обычное дело. Как у моего папочки. Кстати, что он на тебя так взъелся?

— Ему не нравятся мои взгляды на жизнь, — ответил Обрезчиков.

— А у тебя есть взгляды?

— Ты считаешь их лишними?

— Не отвечай вопросом на вопрос. У тебя есть взгляды?

— Есть. Только я не знаю — какие. Они так быстро меняются... Петру Ивановичу не нравится, что я делал Интернет-дневник для его подруги...

— Но ты же говорил, что никогда ее не видел и, тем более, не знал, что она — его подруга.

— Да я тогда не знал ни о существовании Петра Ивановича, ни о Ванькином. Она прислала фото, чужое, кажется — Дженифер Эннистон, если не ошибаюсь, мы списались, пообщались по аське, потом — по скайпу. Она меня видела, я ее — нет, у нее якобы веб-камера не работала...

— Это все ты уже рассказывал. Я никак не могу понять — зачем повторять одно и то же, только с небольшими вариациями? Вчера подробности были другие ...

— Какие?! Ты хочешь сказать — я привираю?

— Конечно! Но сейчас — не об этом. Мы говорили о твоих взглядах на жизнь.

— Правда? И что же?

— Какие они?! Какие?

— Ну, я, наверное, верю в любовь...

Машину слегка подбросило на выбоине, Иван ударился головой.

— Черт! — прошипел он.

— Спи братик, спи! — Марина завела правую руку между сиденьями, похлопала Ивана по колену. — Знаешь, — сказала она Обрезчикову, — я ведь серьезно спрашиваю.

— А! Серьезно... Ну что ж...

Проснулся Иван уже в Москве.

6.

Марина высадила Обрезчикова и Ивана возле подъезда под длинным козырьком. Стоявший на краю тротуара охранник в черном комбинезоне тут же вытащил из внешнего кармана рацию, произнес в нее несколько слов, подошел к машине вплотную.

— Здесь нельзя останавливаться, — сказал он громко. — Проезжайте!

— Эти господа к Леониду Матвеевичу, — опустив стекло, ответила Марина.

— Здесь нельзя останавливаться! Проезжайте! — охранник вновь потянулся к рации.

Марина резко взяла с места, выставила в открытое окно тонкую руку в белой кожаной перчатке и помахала на прощание. Стекло двери подъезда открылись. Иван и Обрезчиков вошли.

— У вас назначено? — спросил другой охранник, тоже — в черном, только без куртки, шапочки, черных перчаток.

Обрезчиков оглянулся на Ивана. Иван потер глаза, открыл было рот, но Обрезчиков уже ответил:

— Нас ждет ваш хозяин. Буйницкий. Леонид Матвеевич. Или мы ошиблись адресом?

— Нет-нет, вы не ошиблись. Прошу вас, вот туда, — он указал на конторку в глубине холла, за которой стояли две улыбавшиеся девушки. — Только сначала — через рамку.

Обрезчиков и Иван подошли к рамке металлоискателя. Обрезчиков, положив сумку с ноутбуком на столик рядом с рамкой, прошел через нее первым. Раздался зуммер, замигала лампочка на перекладине рамки. Обрезчиков собрался выложить что-то из карманов, начал расстегивать куртку, но к нему подошли двое охранников, в костюмах и белых рубашках, в галстуках, один из них попросил Обрезчикова стоять ровно, другой, с ручным металлоискателем, начал водить щупом металлоискателя вокруг него и только потом, когда и ручной металлоискатель начал подавать сигналы, попросил расстегнуть куртку.

— Я же сам хотел это сделать! — сказал Обрезчиков.

Оба охранника хранили молчание. Обрезчиков расстегнул куртку, расстегнул пиджак. Охранник с ручным металлоискателем оттянул к себе полу куртки, держась за нее рукой в ослепительно белой нитяной перчатке, просунул щуп между курткой и пиджаком. Металлоискатель запищал.

Один охранник, без металлоискателя, посмотрел на другого, державшего металлоискатель. Охранник с металлоискателем пожал плечами. Другой охранник отступил на полшага. Охранник с металлоискателем сделал то же самое.

— Снимите куртку и положите ее на столик, — сказал охранник без металлоискателя.

— Пожалуйста! — сказал Обрезчиков.

— Простите?

— Я говорю — надо быть вежливее!

Охранник некоторое время смотрел на Обрезчикова в упор, потом повторил:

— Снимите куртку и положите ее на столик.

— Пожалуйста!

— Что?

— Я говорю — пожалуйста!

— Вы снимите куртку и положите ее на столик. Вы. Куртку.

— Вот я и говорю — пожалуйста!

Охранник вздохнул. Посмотрел на охранника с металлоискателем. Оба они

отступили еще на полшага. Еще один охранник, возвышавшийся над другой конторкой, напротив рамки металлоискателя, поднял трубку зазвонившего телефона.

— Да, — сказал он в трубку. — Да. Да. Да. Хорошо. Да.

Охранник за конторкой повесил трубку. Вышел из-за конторки и подошел к охраннику с ручным металлоискателем, что-то шепнул ему на ухо.

— Возьмите вашу сумку, — сказал охранник с металлоискателем Обрезчикову и повернулся к Ивану.

— Проходите, пожалуйста, — сказал он.

Иван прошел под не издавшей ни единого звука рамкой.

— К вам сейчас подойдут, — сказал вышедший из-за конторки охранник. — Вот кресла. Присядьте. Пожалуйста.

Иван пошел к креслам. Пол под креслами был стеклянный, внизу плавали красные с белыми крапинками рыбы. Одна из них посмотрела ему в глаза, и Иван вспомнил, как ловил в объектив женщину в длинной юбке, пытавшуюся завязать распустившиеся ремешки сандалий. Женщина была одета слишком легко, но держала в руках оранжевое пальто. Она положила пальто на плечо, наклонила голову, прижимая пальто к плечу, поставила ногу на столбик ограждения тротуара. Иван успел сделать несколько снимков женщины в длинной юбке и за сотые доли мгновения до взрыва начал переводить объектив в сторону приближающегося двухэтажного автобуса. Он чувствовал, что с этим автобусом что-то вот-вот произойдет. Раздался взрыв, второй этаж автобуса исчез, взрывной волной женщину сбilo с ног, а кусок чьего-то тела, что-то ярко-красное и студнеобразное ударило Ивана в плечо. А он продолжал снимать. Его притягивали не сами события, а их предчувствия.

Иван сел в кресло. Обрезчиков никак не мог снять куртку. Заведя обе руки за спину, он пытался ее стряхнуть, подпрыгивал, тряс плечами. Иван встал, сдернул рукава куртки с рук Обрезчикова, положил куртку на кресло. Куртка тут же соскользнула на пол. Иван нагнулся, вновь встретился взглядом с рыбой.

— Слушай, — Обрезчиков огляделся. — Огромный холл, ни одного человека. Никого!

— А они? — Иван кивнул на охранников, на девушек.

— Манекены. Функции. Я не могу себе представить самого себя на их месте. Стоять на ресепшн, спрашивать — «Вы к кому?», звонить, говорить «К вам господин такой-то». Или проверять, не несешь ли ты колющие предметы, копаться в чужих вещах, брать в руки чужие удостоверения личности. Это — самый низ. Ниже некуда...

Возле них, словно соткавшись из воздуха, возник человек в сером костюме, светло-голубой рубашке, розовом галстуке. Чуть коротковатые брюки. Темно-коричневые ботинки.

— Вы от Андрея Ивановича? К Леониду Матвеевичу?

— Да, — кивнул Иван. — Мы от Андрея Ивановича.

— Прошу за мной!

Обрезчиков и Иван поднялись и пошли за человеком в сером костюме. Обрезчиков остановился, развернулся, возвратился к креслу, подхватил стоявшую возле кресла сумку с ноутбуком. Потом вернулся еще раз, уже — за курткой.

Человек в сером костюме уже стоял возле лифта. Было видно, что ему не нравятся мятые вельветовые брюки Ивана, джинсы Обрезчикова. Он отвернулся, достал из кармана магнитную карточку, вставил ее в считывающее устройство. Двери лифта раздвинулись.

— Прошу!

Пропустив их в кабину, он вытащил карточку, вошел следом, нажал на кнопку с номером этажа так, чтобы ни Иван, ни Обрезчиков не смогли увидеть этот номер. Двери лифта задвинулись, лифт полетел вверх.

— У вас все так серьезно, — сказал Обрезчиков человеку в сером костюме.

— В каком смысле? — человек в сером костюме поднял брови. На его лбу образовались две тонкие морщинки.

— Ну, эта вот карточка. Без нее на лифте не покатаешься, точно?

— Мы здесь вообще-то не катаемся на лифтах, а работаем, — морщинки на лбу человека в сером костюме разгладились.

— А... — Обрезчиков обернулся к Ивану. — Вот, Ваня, люди тут работают, а мы, понимаешь...

Лифт остановился, двери раздвинулись.

— Прошу! — человек в сером костюме пропустил Обрезчикова и Ивана вперед себя, но сам из лифта выходить не стал, нажал кнопку какого-то этажа, двери лифта закрылись, и человек в сером костюме исчез.

— Добрый день! — услышали Иван и Обрезчиков и обернулись на голос.

Посередине совершенно пустого холла стоял еще один человек в сером костюме, в отличие от первого — с блокнотом в левой руке, с ручкой в правой.

— Здравствуйте, Иван Андреевич! — обратился он к Обрезчикову, потом повернулся к Ивану.

— Здравствуйте, Антон Васильевич! Очень рад вас видеть! Леонид Матвеевич просил проводить вас в его комнату для переговоров.

— Наоборот, — буркнул Обрезчиков.

— Простите?

— Я — Антон Васильевич. Он, — Обрезчиков указал на Ивана, — Иван Андреевич. Все остальное пойдет.

— Прошу прощения! — новый человек в сером костюме крутанулся на каблуках — Иван отметил, что ботинки у людей в серых костюмах были одинаковыми, — и пошел по направлению к закрытой двери матового стекла.

— Сейчас он вставит в дырку свою карточку, и дверь откроется, — довольно громко сказал Обрезчиков.

Человек в сером костюме вставил в прорезь у двери свою магнитную карточку, толкнул дверь и пригласил Ивана и Обрезчикова пройти. Они прошли в дверь и оказались в большом зале.

Белые стены, черный блестящий пол, длинный стол, стулья, падающий сверху рассеянный свет. В дальнем углу зала, за маленьким столом, сидел человек в белом свитере и что-то писал. Увидев вошедших, человек поднял голову, встал, с шумом отодвинул стул из гнутых металлических трубок, начал пересекать зал, по мере приближения поднимая для рукопожатия руку.

— Это — Леонид Матвеевич, — сказал человек в сером костюме, который тоже вошел в комнату для переговоров и теперь стоял за спиной Ивана и Обрезчикова.

— Спасибо! — бросил Обрезчиков через плечо. — Мы в курсе.

Лицо Леонид Матвеевич имел удлинненное. На нем было застывшее выражение усталого внимания, однако глаза, полуприкрытые тяжелыми, набрякшими веками, глядели жестко. Длинные ноги свои Леонид Матвеевич ставил чуть в стороны, отчего походка его была как бы рыскающей из стороны в сторону. Леонид Матвеевич подошел, поднятую уже на нужную высоту руку направил на Ивана.

— Рад видеть, — произнес он голосом молодым, почти — мальчишеским. — Сейчас вот заканчиваю тезисы для выступления. Хочу знать ваше мнение.

Он быстро сдвинул пальцы Ивана, после чего передал руку Обрезчикову, внимательно, широко открыв глаза посмотрел на него, ему сдвинул пальцы.

— Основная мысль моего выступления — распределение власти, — сказал Леонид Матвеевич, возвращаясь к своему столу. — Подлинная власть уже не в руках тех, кто по своей должности облечен властью, а принадлежит технократам. В этом прямая угроза государственным институтам. Среди технократов по этому поводу царит воодушевление, которого я, сам — технократ, не разделяю.

Иван шел слева, на полшага отставая от Леонида Матвеевича. Обрезчиков, шедший от Леонида Матвеевича справа, чуть заметно кивал головой. Человек в сером костюме на ходу что-то записывал в блокнот.

— Кто это? — Леонид Матвеевич повернулся к Ивану и кивнул на Обрезчикова. — Он пришел с вами. Кто он?

— Мой друг.

— А! — Леонид Матвеевич посмотрел на Обрезчикова. — Да-да, мне Андрей Иванович говорил, что вы приедете с другом. Друзья — это главное!

Они подошли к столу. Леонид Матвеевич предложил садиться, указав на стоявшие перед столом стулья, такие же, как и его, дешевые, сам обошел стол, уселся

первым. Человеку в сером костюме стула не досталось, и он остался стоять, продолжая что-то записывать в блокнот.

— Наша эйфория от возможностей капитализма и свободного рынка сходит на нет, — откидываясь на спинку стула, поигрывая пластиковой ручкой, сказал Леонид Матвеевич. — Будучи антитезисом феодализму, капитализм должен уступить место синтезу. И синтезом будет новое средневековье!

— Простите, но средневековье и феодализм... — начал было говорить Обрезчиков, но Леонид Матвеевич даже не посмотрел в его сторону.

— Это средневековье будет средневековьем общественным, — Леонид Матвеевич говорил ровным голосом, спокойно, уверенно. — Причем уже сейчас на первый план выходит работа с людьми. Сама экономика выдвигает на первый план социальное измерение, оттесняя прибыль на периферию. Рынок становится всего лишь вспомогательным механизмом, а крупное производство успешно дополняется мелким и даже индивидуальным.

— Вы хотите сказать, что отчуждение, о котором писал Маркс... — вновь попытался вставить слово Обрезчиков.

— Да, отчуждение, клеймо капитализма, клеймо больших корпораций, будет по мере развития нового средневековья изжито, — кивнул Леонид Матвеевич и внимательно посмотрел на Обрезчикова.

— Читали Маркса?

— Да, — ответил Обрезчиков. — Читал, но не Маркс сейчас важен. Проводники нового средневековья, люди, имеющие дело с субъективными образами, могут оказаться слишком уж оторванными от объективной реальности. Виртуальная мощь нового класса должна быть уравновешена реальной мощью традиционалистов...

Леонид Матвеевич уронил ручку, она щелкнула об пол, он наклонился за нею, и его слова «Продолжайте, продолжайте!» глуховато прозвучали из-под стола.

— Не только конструирующие виртуальности должны иметь воздействие на тех, кто принимает решения, на власть, — продолжил Обрезчиков. — Традиционалисты должны иметь свой канал информационного воздействия. Им нужны корпоративные представительства, от которых идет информация наверх, в адрес власти Верховной. Таковой может быть только монархия — сильная, единоличная власть, сверхустойчивая благодаря наследственной передаче и религиозному освящению. Лишь она способна подняться над дуальностью субъекта и объекта, политики и экономики. Лишь она способна уравновесить два уклада — информационный и вещественный.

Леонид Матвеевич наконец вылез из-под стола. Его лицо покраснело. Он шмыгнул носом, посмотрел на Обрезчикова с любопытством, бросил на стол ручку, которая, прокатившись по столешнице, вновь упала на пол, к самым ногам Ивана.

Иван поднял ручку. Положил ее на стол.

— Спасибо, — сказал Леонид Матвеевич. — У тебя любопытный друг. Говорит почти то же самое, что собирался сказать я сам. Скажите — вы читаете мысли? Или каким-то образом подсмотрели мои материалы?

Леонид Матвеевич посмотрел на человека в сером костюме.

— Ты записал, что он сказал? Хорошо... Сегодня вечером у меня будут гости. Нечто вроде большой тусовки. Соберутся разные люди. Большинство — совершеннейшая дрянь. Мелочь. Но будут и люди приличные. Приходите. Оба.

Хлопнула дверь, Леонид Матвеевич резко поднялся со стула.

— Наташа! — громко сказал он. — Наконец-то! Ты обещала быть к одиннадцати, а уже семь минут! Забирай их... — он, словно в руках у него были револьверы, ткнул указательными пальцами в Обрезчикова и Ивана. — Пока, парни, пока! До вечера!

С этими словами Леонид Матвеевич шагнул к стене, нажал на выступавшую из стены блестящую белую кнопку, открылась дверца, в проем которой Леонид Матвеевич и шагнул, за ним успел протиснуться человек в сером костюме, дверца закрылась, а к Ивану и Обрезчикову подошла невысокая, с гладкой прической женщина. Большие раскосые голубые глаза смотрели на них чуть устало, строгий деловой костюм дополнял яркий, искрящийся люрексом шарфик.

— Меня зовут Наталья, — сказала женщина. — Наталья Сессаревская. Да-да,

Сессаревская. Бывшая жена. Советник по связям с общественностью. Иван? Антон? Отлично, отлично. Завтракали?

7.

В корпоративном кафе была экологически чистая, обезжиренная, без холестерина еда, кофе — без кофеина. Салаты, рыба, постное мясо. Оливковое масло. Сушеные фрукты, орехи. Белые стены. Легкая, еле слышная музыка. Все говорили полупрошептом, многие сидели за столиками в одиночестве, уставившись в одну точку, пили воду, сок, бросали в рот орешки, изюм, сосредоточенно жевали.

— Основной ваш бизнес — производство бумаги? — спросил Иван у Натальи Сессаревской, сидевшей к столу боком, положив ногу на ногу. Сессаревская ела зеленый салат с кедровыми орешками, пила мультивитаминный сок.

— Почему вы так решили? — Наталья посмотрела на Ивана с удивлением.

Иван пожал плечами.

— Не знаю. Ваши сотрудники очень часто вытирают руки салфетками. Я подумал — это тоже проявление корпоративного духа, — он развернул салфетку с логотипом корпорации Леонида Матвеевича.

— Леня считает, что здоровее есть руками, — Сессаревская усмехнулась. — И многие наши сотрудники ему подражают. А вы, — она улыбнулась, — наблюдательный. Не любите корпоративный дух?

— Он — фотограф, а они все индивидуалисты. А он к тому же закончил Лондонскую фотошколу, — вставил свое слово Обрезчиков. — Скажите, Наталья, — он тоже, словно пародируя Сессаревскую, сел к столу боком, подпер голову кулаком, быстрым движением схватил с тарелочки половинку очищенного грецкого ореха, — скажите...

— Да? — Сессаревская перевела взгляд на Обрезчикова.

— Вам не приходило в голову, что есть много вещей, похожих на мозги. Вот, например, орех, — Обрезчиков показал орех сначала Сессаревской, потом — Ивану, отправил орех в рот. — Или, — продолжил он, — каракуль. У вас нет каракулевой шапочки? Раньше это было так модно. Создавалось впечатление, будто мозги наружу....

Сессаревская посмотрела на Обрезчикова с грустью.

— Как там Лева?

Обрезчиков быстро взглянул на Ивана.

— Скучает... — ответил он.

— Правда? — Сессаревская усмехнулась. — Это на него не похоже. Ну что ж, — она отодвинула от себя тарелку, — приятно было познакомиться! — и быстро встала. — До встречи!

В маленьком ресторанчике, запрятавшемся в переулке, за столиком в глубине почти пустого зала, куда Обрезчиков предложил зайти поесть как следует, Иван собирался спросить — что это вдруг Обрезчиков затеял такой странный разговор, разговор про мозги наружу, но Обрезчиков Ивана опередил.

— Я хотел узнать — сколько времени они были женаты, как складывались их отношения, кто был инициатором развода... — сказал Обрезчиков, бросая на стол толстую книгу меню. — И — не решился... Слушай! Как она выглядит, а? Вот что значит — порода. Но откуда узнала, что я со Львом знаком? Не иначе — до сих пор в контакте.

Иван пожал плечами.

— Я буду солянку. Мясную.

Ивану было неприятно оттого, что Обрезчиков явно недоговаривал-привирал. Неприятно и за него неловко.

— А я рыбную...

Принесли солянку, две запотевшие рюмки с водкой.

— Ты мне что-то не нравишься, — сказал Обрезчиков Ивану, поднимая рюмку. — Мрачный какой-то. Хлебни супцу. И будь здоров!

В дальнем углу ресторанчика располагалась небольшая компания, трое моло-

дых людей, все — в костюмах. На их столе стояло ведро для шампанского, блюдо с маленькими пирожными, один из сидевших что-то набирал на клавиатуре раскрытого ноутбука, двое других время от времени пытались заглянуть через его плечо. Когда Обрезчиков громко позвал официанта и попросил его принести еще по рюмке водки, сидевший у ноутбука обернулся на голос.

— Антон! Это ты? — громко произнес он, поднялся, закрыл ноутбук. — Обрезчиков!

— Кто там? — спросил Обрезчиков у Ивана.

— Откуда я знаю? — допивая водку, сказал Иван. — Какие-то незнакомые...

— Вот так встреча! Откуда? Ты же где-то в Европах! Или я ошибаюсь? Вы не Обрезчиков? — говоря это, молодой человек пересек зал, остановился у их стола.

— Я — Обрезчиков! — Антон снизу вверх посмотрел на подошедшего. — А это, Ваня, богатый наследник водочной империи, Лев Урывкин. Тезка великого и ужасного Сессаревского. Трезвенник, поклонник здорового образа жизни. С другой стороны, глупо ожидать, что производитель водки будет и ее потребителем. Главное — деньги, верно, Лева?

Полные, чувственные губы Урывкина растянулись в нерешительной улыбке. Маленькие, глубоко посаженные глаза смотрели на Обрезчикова беспокойно.

— Лев! — сказал он Ивану, на Ивана, впрочем, не глядя. — Рад видеть!

— Кого? — Обрезчиков, вытирая углы рта кусочком хлеба, доел солянку, откинулся на спинку стула. — Его? Меня?

— Тебя, Антон, тебя... А, простите, и вас, конечно! Не знаю, как вас зовут, прошу прощения...

— Садись... Зовут моего друга Иваном. Да садись ты!

Обрезчиков ногой отодвинул стул, Урывкин поймал его, зацепившегося задними ножками за край ковра и готового упасть, поставил, сел. Иван через плечо посмотрел на оставшихся за столом приятелей Урывкина. Те, открыв ноутбук, приблизив головы друг к другу, смотрели в монитор и в унисон, тоненькими голосками, хихикали.

— А ты почему не в Европах? — цокая зубом, спросил Обрезчиков, выхватил из вазочки зубочистку, воткнул меж зубов. И — снова цокнул зубом. — По чистой случайности?

— Нет, — Урывкин смутился. — Не случайность. Бизнес. Отец просил кое-что уладить. Вот, сижу тут, жду. У меня назначена встреча...

Последние слова Урывкин обратил к Ивану, который ответил на них понимающей улыбкой. Впрочем, улыбку он тут же согнал с лица: манера Урывкина быстро облизывать губы, при этом — часто-часто моргая, показалась ему наигранной. Иван подумал, что Урывкин давно уже наблюдал за ним и Обрезчиковым.

Он быстро взглянул на Антона. Тот подмигнул в ответ.

— С каким-то налоговиком? Угадал?

— Почему с налоговиком? — Урывкин надул губы.

— А мне рассказывали, что тут, у вас в России, принято встречаться с налоговиками. Улаживать вопросы. Такая форма проведения досуга.

— Нет, не с налоговиком. С одним технологом. Специалистом по прохладительным напиткам. Скоро весна, за нею лето. Отец хочет перепрофилировать несколько линий на лимонад.

— Совесть замучила?

— Какая совесть? Почему? Ну что ты, Антон! Просто прохладительные напитки в последнее время становятся все хуже. Тут дело в том, — Урывкин повернулся к Ивану, — что сейчас используется слишком много химии. Но главное — сахар. Вот технолог, с которым я встречаюсь, специалист по сахару. Вы мне скажите — почему кока-кола стала такой невкусной?

— А раньше была вкусной? — спросил Иван. — Я не пью кока-колу.

— Не любите?

— Не знаю... Я люблю лимонад «Буратино». Любил, вернее...

— Хорошо, — Урывкин с готовностью продолжил разговор. — Буратино так Буратино... Но Буратино тоже стал невкусным. Почему?

Иван пожал плечами и с недоумением посмотрел на Обрезчикова. Тот методично ковырял в зубах зубочисткой и цокал зубом.

— Да, Лева, почему?

— Сахар! Сахар! Прежде это был, в случае с кока-колой, настоящий темный тростниковый сахар. Нерафинированный. В случае с «Буратино» — нерафинированный или свекольный или также, по тем временам — дешевый, тростниковый кубинский. Но потом стали использовать сахарозаменитель. И складов нужно меньше. Заменитель не гидроскопичен. Одна таблетка на большой объем...

Обрезчиков поднялся, вытащил бумажник.

— Спасибо за лекцию, Левочка! — он бросил на стол несколько купюр. — Твои познания поразительны. Ты нам открыл глаза. Пошли, Иван!

— Куда вы? — Урывкин вскочил. — Я — с вами.

— У тебя же встреча. С технологом.

— Он уже не придет. Опаздывает на сорок минут! Он во мне заинтересован, не я — в нем. Да и мои люди с ним поговорят, — Урывкин кивнул на сидевших перед ноутбуком. — Они в курсе. Предлагаю зайти в одно место. Удивительные люди, потрясающие! Тебе, Антон, будет очень интересно! И вам, — Урывкин повернулся к Ивану. — И вам тоже...

К столику подошел официант с маленьким подносом, на котором стояли две рюмки водки.

— Мы бы пошли куда угодно с тобой, Левочка, — обязательно, но Иван хотел хороший кусок мяса...

— У нас... — начал было официант, но Обрезчиков остановил его коротким жестом, взял с подноса одну из рюмок, выпил, занюхал кусочком хлеба.

— Там накормят! — Урывкин был готов вцепиться в рукав Обрезчикова. — Я сейчас наберу, скажу — мы идем, к нашему приходу, а это — рядом, будет мясо. Вы какое любите? Вэл дан? С кровью?

— У нас... — пытался вставить слово официант, но Обрезчиков посмотрел на него так, что официант поставил подносик на стол, подхватил лежавшие на столе деньги и быстро ушел.

— Он, — обращаясь к Ивану, Урывкин кивнул на Обрезчикова, — когда-то перевернул мою жизнь. Показал мне на простых примерах, что я трачу время на чепуху. А теперь, когда я нашел в себе силы меняться, думает, от меня так легко избавиться? Не выйдет!

— Ну, если Ване дадут мясо, я согласен, — сказал Обрезчиков.

— А ты... А тебе... Я буду звонить, надо будет сказать — что приготовить тебе?

— Что-нибудь легкое. Рыбки. Или... А, лимонада на натуральном сахаре, тростниковом.

— Будет! Обязательно! — Урывкин просиял. — Идем! У меня машина, тут, в двух шагах.

Он быстро подтрусил к своим людям, быстро сказал им несколько слов, вернулся к Ивану и Обрезчикову, которые уже одевались в гардеробе.

— Катущищева показывают в интернет-тиви, — сообщил Урывкин. — Потрясающее зрелище! Что-то похожее на мумию. Только глаза сверкают. Все в Англии говорят, что это был поджог. Поджог! Полыхнуло сразу в нескольких местах. Ничего, все выяснится, с божьей помощью, — Урывкин быстро перекрестился.

— Ты стал верующим? — спросил Обрезчиков, поплотнее надевая шерстяную шапочку. — Прежде ты был, кажется, атеистом. Как и все комсомольцы. Хотя нет, ты комсомол не застал...

— Я не был атеистом. Никогда! — Урывкин позволил гардеробщику накинуть себе пальто на плечи, вытащил из кармана пиджака хрустящую купюру, протянул не глядя. — Я всего лишь не задумывался о таких вопросах. Это не значит быть атеистом.

— Да-да, извини, ты был не атеистом, а пофигистом. Что же тебя подвигло?

Урывкин открыл тяжелую дверь, пропустил вперед Ивана и Обрезчикова, его самого чуть не прищемило, но он толкнул дверь плечом, выскочил на улицу, помахив-

вая маленьким узким, черной кожи, с тиснением и золотыми вставками, портфельчиком, придерживая грозившее соскользнуть с плеч пальто, бросился догонять.

— У меня была как-то беседа с одним человеком, — сказал Урывкин, поравнявшись с Иваном и Обрезчиковым. — И он мне сказал, что люди живут для того, чтобы умереть. Но как умереть, с каким чувством — вот главное. Поэтому я...

— Где твоя машина? — резко оборвал его Обрезчиков.

— Машина? — Урывкин вдруг деланно захохотал. — Так вы пошли в другую сторону! Поэтому я... Да вот она стоит!

Они подошли к сигарообразной, черной машине. Водитель смотрел телевизор. Заметив хозяина, он выскочил и бросился открывать дверцы.

— Ты это серьезно, Лева? Про смерть? — спросил Обрезчиков, усаживаясь на сиденье.

— Конечно! И с тех пор...

— Вот что с людьми делают деньги! — тихо сказал Обрезчиков Ивану.

Иван кивнул. И обойдя машину, сам открыл дверцу.

8.

Водитель взял с места плавно, доехал до конца переулка, повернул налево, придавил газ, и у Ивана закружилась голова. Он подумал, что, видимо, врачи на комиссии, когда решался вопрос — может ли он или не может, по состоянию здоровья, участвовать в гуманитарной операции в Дарфуре? — сделали неправильный вывод, сочтя его совершенно здоровым. Хотя прежде — не укачивало! Он хорошо переносил и морскую качку. Его приятель, пожалуй — единственный, по фотошколе, приглашал поехать вместе к тетушке, на остров Уайт, тетушка оказалась лихой старушенцией, управляла в свои семьдесят два яхтой, они вышли из Бембриджа, приятель, тетушка, Иван, подруга приятеля, подруга подруги, и все — за исключением самой тетушки и Ивана, — валялись в лежку, пока тетушка закладывала петлю вокруг буя Бембридж-Ледж, чтобы обойти косу Калвер-Спит, Иван удостоился похвалы и был горд, очень горд. Борясь с тошнотой, он также подумал, что в Дарфуре придется постоянно летать на вертолетах, а это — ему рассказывал дядя Петр — далеко не самое приятное. Хотя Петр Иванович летал на советских вертолетах, под пулями, но и ему скорее всего предстоит на таких же вертолетах и тоже под пулями. И у него, уже в который раз, появилось ощущение, что происходящее — некий пролог перед настоящей жизнью, где все вращается вокруг простых, жестких вещей. Голод, жажда, жизнь, смерть.

Мимо пролетали особняки посольств. Мелькнул стеклянный вход в музей. В открытые двери музея заходили люди. Мелькнул козырек над подъездом кирпичного, бывшего номенклатурного дома. Стекло запотело от его дыхания, Иван протер его открытой ладонью, но все равно успел увидеть стоящих на ступенях, под козырьком, двух женщин, молодую и старую. Молодая была красива, но старая была красивее красотой прошлой. Его натренированный глаз запечатлел, а мозг продолжал хранить, пока машина делала еще один поворот, образы этих двух женщин, неповторимость их поз. Так, словно Иван оставался напротив того подъезда, словно тайком вынимал из кармана «лейку» и готовился сделать снимок.

Урывкин обернулся с переднего сиденья.

— Ты надолго? Насовсем? — спросил он у Обрезчикова.

Обрезчиков сидел развалившись, по-хозяйски расставив ноги. Он открывал и закрывал шторку, за которой, в спинке переднего сиденья, располагался экран плазменного монитора. Он поднимал и опускал подлокотник, в котором, под выдвижной панелью, были спрятаны пульт управления DVD и клавиатура компьютера.

— Я полечу в Лондон на следующей неделе, — сказал Урывкин. — Могу взять к себе в самолет.

— Твой собственный или отца? — спросил Обрезчиков.

— Фирмы. У отца, как он любит говорить, ничего нет. Только наручные часы. Так ты еще долго здесь будешь?

— Пока не знаю, — произнес Обрезчиков лениво. — Откуда у тебя такая машина?

— А у меня тоже ничего своего нет, — захихикал Урывкин. — Даже часов, — Урывкин вытянул левую руку и показал сначала Обрезчикову, потом Ивану, что на запястье у него нет часового браслета. — Машина — от фирмы, живу в квартире фирмы, ем что фирма дает. Прибыль растет — продуктов больше, фирма испытывает трудности — переходим на кашу...

— По тебе сразу видно — ты на одной каше сидишь, — кивнул Обрезчиков. — Куда мы едем?

— К Любе Теперик. Это восхитительная женщина. Бывшая жена одного бизнесмена. Он купил ей галерею. И ушел в политику. Она сама занималась политикой. Теперь занимается искусством. Строит на базе галереи творческий центр. Типа кафе, мастерские, офисы. Все под одной крышей.

— Понятно, — Обрезчиков усмехнулся. — Девочка оттягивается.

— Зря ты так, — Урывкин напустил на себя маску обиженного, но на самом деле было видно: ему нравится циничный и презрительный тон Обрезчикова, тон, который он себе позволить не мог. — Она все делает для других...

— Не в моих правилах ругать тех, кого я не знаю, — сказал Обрезчиков. — Только я тепериков повидал немало. Легко быть благодетелем, когда у тебя прикрыта задница. Кстати, о заднице. У ней хорошая задница, у этой Теперик?

— Сейчас увидишь, сейчас! — Урывкин обрадованно закивал.

Машина остановилась.

— Пойдем, Ваня, — Обрезчиков легонько толкнул Ивана локтем. — Посмотрим на инициативы тепериков.

Урывкин уже стоял возле машины, водитель — Иван даже не успел заметить, как тот выскочил и открыл дверцу, — открывал дверцу, чтобы дать выйти и Обрезчикову.

— Ага, — поборов приступ тошноты, кивнул Иван, открыл свою дверцу, вышел и чуть было не попал под летевший по переулку автомобиль.

— Черт! — он с силой закрыл дверцу, дошел до тротуара.

Водитель смотрел на него с немым укором.

— Извините, — сказал ему Иван и поспешил за Урывкиным и Обрезчиковым, уже спускавшимся по ступеням к большой железной двери.

Урывкин нажал на кнопку звонка, а Иван поднял голову, посмотрел в серое, с белыми прожилками небо, оглядел дом, в полуподвальное помещение которого они собирались войти. Дом был большой, с выпирающими фальшь-колоннами, фигуры атлантов снизу казались жуткими, их головы чернели на фоне неба, напряженные икры топорщились мускулами, казалось, атланты помочатся прямо на Ивана, а потом сбросят с плеч непосильную ношу, шагнут вперед, убегут от рушащегося за их спинами старого доходного дома. Иван достал из кармана куртки камеру. Прислонился одним плечом к стене, начал наводиться на одного из атлантов.

Дверь открылась, высокий женский голос радостно прочирикал:

— Левочка, милый, мы тут заждались!

— Иван! — позвал Обрезчиков.

Но Иван смотрел в видоискатель. Он понимал, что даже цейсовская оптика, даже великолепная мелкозернистая пленка, даже его умение не помогут — на фоне светлого неба обращенное к нему лицо готового броситься в бега атланта будет все равно темным. Он нажал на спуск. Перевел кадр. Нажал еще раз. Увеличил выдержку, уменьшил диафрагму. Нажал еще раз.

— Иван! — вновь позвал Обрезчиков.

— Иду!

В проеме открытой двери стояла молодая пухлая женщина, с крашеными, небрежно взбитыми волосами, вздернутым носиком.

— Любовь! — протягивая Ивану унизанную браслетами руку сказала женщина. — Какой у вас фотоаппарат! Обожаю старые вещи! Это пленочный? Но сейчас же везде цифра! Разве нет?

Иван взял ее руку, вдруг, для самого себя неожиданно, наклонился и руку ее

поцеловал. Рука пахла мылом, масляной краской, длинные ногти имели траурную каемку.

— Иван, — представился он, распрямившись, и заметил на лице женщины довольную улыбку.

— Откуда вы? — спросила она.

Дверь ударила ее в плечо, она почти упала на Ивана.

— Из Лондона, — ответил Иван, пиная дверь ногой и подхватывая женщину под локоть.

— Да? Это мило. Уже и не вспомнить, когда мне целовали руку... Так принято в Лондоне?

— Нет...

Глаза Ивана привыкли к полумраку, и он увидел перед собой большое пространство подвала, высокий потолок, белые стены, колонны. Под ногами шуршала бумага, предохранявшая неряшливо положенный, бугрящийся ламинат.

— Проходите, проходите, — повторила Теперик. — У нас недавно закончился ремонт. Готовимся к первой выставке. Это будет нечто феноменальное. Самое актуальное искусство. Самое!

Она говорила быстро, проглатывая окончания слов.

— Лева говорил — вы хотите мяса. Чтобы вам пожарили. Так вот, у нас в экспозиции будет кусок огромный мяса. Художник будет его жарить и кормить всех желающих. Но пока мяса нет. Лева ошибся, он думал, что у нас тут всегда готовят мясо. Я ему говорила о перформансе. Он подумал, что мясо у нас сейчас. Вы голодны? У нас только крекеры. Или может быть пока — вина? Есть шампанское. Вон, в углу, ящики.

Иван увидел, что возле картонных ящиков стояли Обрезчиков и Урывкин. В руках Обрезчикова были два бокала, Урывкин откручивал проволочную петельку, сорвал крепеж пробки, раздался хлопок, из бутылки ударила пенная струя, Обрезчиков отскочил, потом со смехом подставил под струю оба бокала.

— Иван! — крикнул он. — Держи!

И протянул наполненный пеной бокал по направлению к Ивану.

— Не ходите туда! — сказала Теперик и взяла Ивана под руку. — Пусть они там разговаривают, а мы будем разговаривать с вами. И шампанское есть, лучше. Охлажденное. Пойдемте! Вы умеете открывать шампанское? Есть вещи вроде бы сложные со стороны. Например, езда на велосипеде. Или — плавание, — Теперик сжала его локоть. — Или — секс. Вы когда-нибудь думали о сексе со страхом?

Иван рассмеялся.

— Всегда!

Теперик рассмеялась тоже. Она смеялась так же, как Урывкин, отрывисто, четко выговаривая каждое «ха!» Отсмеявшись, остановилась, развернула Ивана к себе, внимательно в него всмотрелась.

— Вы — откровенный. Искренний, — она вновь взяла Ивана под руку. — Я думаю, все мужчины думают о сексе со страхом. Точнее — чем мужчина умнее, тоньше, чувственней, тем чаще это чувство страха его посещает. А там ведь ничего страшного нет!

— Правда?

— Я вас уверяю! Ну, вот мы и пришли к шампанскому. Доставайте!

Они стояли перед большим, двухкамерным холодильником. Иван потянул на себя одну из дверей, и Иван увидел десятки бутылок, разложенные по полкам.

— Доставайте любую, не ошибетесь. Здесь только французское, только «брют», хотя я предпочитаю полусладкое. С шоколадиком. Вы любите сладкое?

— Люблю, — Иван вытащил одну из бутылок, взглянул на этикетку, подумал, что, по самым скромным прикидкам, в этом холодильнике шампанского было на несколько тысяч фунтов.

— Да, у нас немало денег, — словно прочитав его мысли, сказала Теперик. — Это все из фонда Буйницкого. Леня спонсирует мою галерею. Вы идете сегодня к нему? Я иду. Не верьте слухам, что деньги мне дает мой бывший муж. Мой бывший муж очень жадный. Леня тоже жадный, но по-другому. Ну, открывайте. Что вы делаете

в Лондоне? Оттягиваетесь по клубам? Учитесь? Не надо, не отвечайте, меня все это не интересует...

Иван открыл бутылку.

— Что? — Теперик посмотрела на него с недоумением. — Ах, да! Бокалы... надо идти к этим двум умникам. А давайте пить из бутылки? Вы брезгливы? Брезгливы? Тогда пейте первым...

Иван прикоснулся губами к холодному горлышку бутылки, сделал несколько маленьких глотков, передал бутылку женщине. Теперик сделала быстрый глоток, вновь взяла Ивана под руку и вместе с ним подошла к Обрезчикову и Урывкину.

— У тебя, Люба, ни кресел, ни диванов, — Урывкин двигал шеей так, словно галстук, узел которого был ослаблен, тем не менее сжимал его горло. — Хочется сесть, расслабиться.

— Кресла — в офисе. Там сейчас мои девушки сервируют закусь. Сейчас позовут.

— А где обещанное мясо?

— Кое-кто уже в курсе, — Теперик отпила еще глоток и заговорщицки подмигнула Ивану. — Будет перформанс. Много мяса. Одно мясо. Но для меня важно, чтобы вы, бизнесмены, полюбили наконец современное искусство, перестали носиться со своими Шишкиным и Айвазовским, поняли, что современное искусство...

Она замолчала.

— Современное искусство — что? — спросил Обрезчиков, подставляя Урывкину свой бокал. — Полюбить расчетливое, холодное, циничное дерьмо? Которое выделяется людьми, не умеющими правильно взять в руки карандаш? Моя голландская знакомая, когда-то работавшая в Москве художником-оформителем, вышла замуж за профессора-археолога из Утрехта, решила преподавать, ей дали пробные часы, она поставила перед студентами голову этого, как его...

— Кондотьера Гатамелатта, — подсказал Иван. — Ты об этом говорил в самолете.

— Да-да, кондотьера. И обнаружила, что будущих художников не учат рисовать! Теперь это якобы не нужно. Перформанс! Мясо! Мясо надо есть, а по бумаге водить грифелем. По холсту — кисточкой. Вот он, — Обрезчиков указал бокалом на Ивана, из бокала на пол вылилось немного шампанского, Обрезчиков быстро поднес бокал ко рту, выпил. — Вот он... Закончил одну из лучших фотошкол в мире. Но появляется толпа продвинутой публики с модными мобильниками, снимают друг друга в клубных туалетах, их дебилские снимки выставляют в лучшей галерее и называют это искусством. Шишкин хотя бы понятен. Айвазовский хотя бы вставляет. Девятый вал! А у этих — Вася прокатывает дорожку, Маша подтягивает трусики, Линда берет минет, который ей дает Роберт.

Теперик открыла было рот, но заговорил Урывкин.

— Мой отец финансировал тут выставку портрета, — сказал он, вновь наливая в бокал Обрезчикова шампанское. — К нему приходили, просили денег для каких-то инсталляций. Он отказал. К нему обратились из министерства культуры, попросили денег для портретов, портретов классических, и он дал. А потом поехал в Нью-Йорк и на аукционе накупил какой-то современной мази, на несколько миллионов. Я спрашиваю — зачем? Не ответил. Тогда я сказал ему, что на портреты он дал потому, что туда приедут нужные ему люди, из правительства, из администрации, что, если постараться, президент приедет, а инсталляции — это имидж в узком кругу.

— И что твой отец? — спросил Обрезчиков.

— У него новая женщина, она, кажется, делает инсталляции.

— Что он тебе ответил?

— Сказал, что я придурок. Нет бы — дурак. Придурок! Это обидно очень...

— А ты зря обижаешься, — Обрезчиков вновь подставил бокал. — У меня с утра — сумасшедшая жажда, — пояснил он, проследив взгляд Ивана. — Обижаться на родителей последнее дело. Я вот на своего отца обижен. И что толку? Болтаюсь туда-сюда, а отец кромсает всяких фифочек, делает им новые попки-пипки и в ус не дует. Им до наших обид...

— Ах да, ах да! — Теперик даже вскрикнула. — Ваш же отец — знаменитый

пластический хирург! О, я так рада нашему знакомству! Вы, кстати, сами не оперируете? У меня есть подруга...

Теперик сунула бутылку Ивану, подхватила Обрезчикова под локоть, понизила голос, зашептала, и они пошли в глубь подвала, к большой, раздвижной черной двери.

Урывкину шампанское ударило в нос.

— Давно я не пил! Со вчерашнего вечера. Слушай, а ты не хочешь со мной лететь? В Лондон? Ты когда собирался возвращаться?

— Еще не знаю. Я жду... Мне должны сообщить...

Иван посмотрел вслед Обрезчикову и Теперик.

— Она для тебя старая, — сказал Урывкин. — Но попробовать можно. У нее сейчас один дедок, какой-то пиарщик с двумя детьми. Старше ее лет на пятнадцать. Она говорила — пиарщик ей надоел. А у меня невеста — это просто тоска. Отец нашел. Красивая, холеная. Умная. Все как надо — в родне и генерал КГБ в отставке, и какой-то граф-эмигрант, и старообрядец, и купчиха, а родители — люди из правительства. Брак по расчету. Я буду с ней мучиться, она меня будет кнопить, а папа мой — делать бизнес. Скоро свадьба...

— Мальчики! — Теперик стояла возле уже открытой черной двери, из-за которой слышался смех Обрезчикова и женские голоса. — Мальчики! Идите к нам!

Проходя мимо Теперик, Иван уловил тяжелый запах ее тела, истомный запах женщины, прежде ему почти незнакомый. Запах пугающий, манящий. Иван переступил порог.

Обрезчиков сидел в кресле, темноволосая девушка, склонившись над большим журнальным столиком, наливала в чашки чай, другая, светловолосая, тонкая и стройная, пододвигала к Обрезчикову блюдо с маленькими бутербродами. Наливавшая чай отбросила волосы, посмотрела на Ивана. Улыбнулась. Светловолосая обернулась. Она не была красива, но у Ивана сладко кольнуло в сердце.

— Здравствуйте, — сказал он и вдруг почувствовал, что краснеет.

9.

После душа, в халате, поджав ноги, с накрученным на голове полотенцем, Лена сидела в кресле, смотрела на дисплей автоответчика, рука тянулась к клавише «play», но на полпути останавливалась: Лена и так знала, чьи голоса услышит. Из Ирландии должен был звонить отец, уехавший в пресс-поездку со своей главной редакторшей, вислозадой наглой бабой, называвшей Лену «радость моя» и «деточка», из Праги — мать, жившая теперь с большим, толстым пучеглазым мужиком. Прежде Лена пыталась представить себе отца с вислозадой, мать — с пучеглазым, она воображала, как пучеглазый подминает ее стройную, длинноногую мать, думала — как это, наверное, тяжело и неприятно ее матери, а когда мысленным взором рисовала перед собой отца с толстозадой, то не могла удержаться от улыбки: ей виделось, как худой и жилистый отец сжимается мясистыми бедрами этой бабы, как он суетится и торопится, слышалось, как баба кряхтит и подгоняет отца, но теперь подобные картины оставляли ее равнодушной. Еще на автоответчике должны были быть и звонки от матери погибшего с пожеланиями сдохнуть-провалиться, и от друга погибшего, того, что примерял себя на освободившееся место. Она не могла понять, чем вызвана такая ненависть, чем — такая торопливость. Было бы лучше, если бы она погибла тоже? Теперь само ее существование было упреком? И почему друг погибшего не может подождать, пока она не позовет его сама?

Остаток дня Лену преследовали незнакомый запах и неотвязная мысль, что ночью она совершила поступок странный, прежде для нее совершенно невозможный. Ей было стыдно. Запахом ночевавшего у нее мужчины была пропитана ее правая щека, запахом приятным, чуть горьковатым, но запахом предательства, предательства по отношению к погибшему, чьи ароматы для Лены были родными, любимыми, желанными, чье тело теперь — какой запах у него? ужас! ужас! не хочу! нет! — паковали в цинковый гроб. Трагедию надо переживать — об этом она где-то читала — или в одиночестве, или среди близких, а тут — этот мужчина, с которого она стащила сапоги — вот, видишь ли, ковбой! — повела в свою спальню, положила голову ему на

грудь, но если бы он не ушел, она бы с собой не совладала, она бы сама его попросила взять ее, а лучше — ударить, еще лучше — избить.

Ушедший так щедро распрыснул в туалете дезодорант, что ей пришлось оставить дверь открытой, встать под душ. Она вылила на себя гель и замерла: в этой душевой кабине они стояли вдвоем с погибшим, после того, как были вместе в первый раз.

Она заплакала, нажала кнопку на автоответчике, выслушала сообщения отца, матери, крики матери погибшего — получалось, что Лена должна была его отговорить, не дать ему уехать, что за глупость, что за бред! — ласковые утешения его друга, потом прослушала еще раз, потом — еще, потом схватила автоответчик, зашвырнула его в стену, провод выскочил из гнезда, стеганул по предплечью, она ойкнула, схватила провод, рванула его, провод впился в ладонь, она закричала в голос, упала на диван, где, пока она не увела его к себе в спальню, спал тот мужчина, имени которого она никак не могла вспомнить, она приподнялась, обнюхала покрывало дивана, ноздри ее раздувались, рукава халата болтались, руки казались такими тонкими, ей хотелось к маме, но не к этой, которую трахал толстый пучеглазый мужик, а к той, что давным-давно приходила с работы такая пыльная и сладкая, хотелось к папе, но не к этому, с его вислосадой наглой бабой, а к тому, что во дворе их дома копался в моторе старого «Ауди», купленного после первой командировки в Африку, и она заплакала еще горше, и плакала, пока не перестала ощущать запахи, пока не закашлялась, не утерлась рукавом халата, пока не зазвонил ее мобильный телефон и старая подружка Катя не сказала, что Любе Теперик, Катиной теперешней начальнице-хозяйке, нужна еще одна девушка для подготовки выставки, что если у Лены сдана сессия, то можно приступать прямо сегодня, а если не сдана — тоже сегодня, что Люба заплатит хорошие деньги, а потом они с Катей смогут поехать куда-нибудь — «В Прагу?» «К твоей матери?» «Нет, просто в Прагу...» — да, они смогут поехать, на каникулы, после выставки — «А ты что плачешь?» «Разве?» «Ну я же слышу! Что-то случилось?» «Макс погиб...» «А кто такой Макс?» «Макс? Ну... Ну... — Лена поборолла подступавшие новые, уже совершенно не соленые, слезы, — ну, я потом тебе расскажу...» «Ну, тогда давай приезжай!» — и Лена встала с пола, пошла в туалет, в котором уже не было вони дезодоранта, оделась, умылась, сделала из носика заварочного чайника несколько глотков старого, отдающего плесенью чая, застегивая молнию на сапогах, прищемила икру, выругалась, распрямилась и посмотрела на себя в зеркало: «Смерти нет, пока я живу!» — подумала она и вышла из квартиры.

Работа оказалась милой и не трудной. Надо было готовить чай-кофе, сидеть в дальнем закутке принадлежащего Любви Теперик подвала, у компьютера, принимать электронную почту, факсы, телефонные звонки. Перед Леной был запаянный в пластик листок бумаги со списком нежелательных персонажей, к которому, поверх пластика, шариковой ручкой, Теперик дописывала новых. Лена сверялась со списком, в случае если фамилия звонившего в списке и добавлениях не значилась, с трубкой в руках шла искать Теперик. Теперик обычно сидела в другом закутке, побольше, где стояли два дивана, несколько кресел, журнальный стол со стеклянной столешницей. Теперик забирала у Лены трубку, начинала разговор, а Лена возвращалась на свое место, чтобы по окончании разговора — мигавшая на базе красная лампочка гасла — идти забирать у Теперик трубку. В тех случаях, когда Теперик в подвале отсутствовала, а звонивший в списке запрещенных не значился, нужно было сверяться со списком тех, кому разрешалось назвать номер мобильного Любы Теперик. Но эти люди никогда не звонили, они или так знали номер мобильного, или не интересовались ни современным искусством, ни продвигавшей его Любой Теперик.

Теперик сразу выдала ей конверт и сказала: «На расходы! Отчета не надо!» Конверт был плотный. «Тут не пропадешь!» — сказала ей Катя и подмигнула.

А Лена — к своему удивлению — и не собиралась пропадать. Ей совсем недавно казалось, что мир обрушился, но он был вполне устойчивым. Он держался на совсем незаметных с первого взгляда мелочах. Только в самой Лене произошли какие-то, ей еще не понятные изменения. Она смотрела на все со стороны, как-то отстраненно. Она всем улыбалась, со всеми соглашалась. Белое легко признавала черным, чтобы через несколько мгновений, ради согласия с собеседником, признать черное все-

таки черным, но потом, еще через несколько мгновений, вновь вернуться к первоначальному мнению, не своему, чужому, да ей свое и не было нужно.

Так же отстраненно Лена отметила взгляды, которыми обменялись Катя и пришедший в подвал в компании двух неприятных типов молодой человек, про которого Теперик сказала, что зовут его Иваном и он подающий надежды фотограф, из Англии. Но Лена, разлив чай, поставив тарелочки с печеньем, постаралась поскорее уйти к себе, к компьютеру и телефону, оставив Теперик, Катю и пришедших пить чай, сославшись на то, что ей самой нужно привести в порядок базу данных. Каких, зачем — Теперик даже не спросила. Она просидела перед дисплеем почти до самого вечера, никакой базой данных конечно же не занимаясь, а раскладывая пасьянс, потом — читая комментарии в Живом Журнале, все эти «улыбнуло», «согрело», «+1» и прочую белиберду. Она открыла свой журнал, посмотрела последние записи и вдруг почувствовала, что писал их какой-то малознакомый человек, во всяком случае — не совсем она. Это получужой еще жил в ней, но он доживал в ней последние часы, быть может — минуты. Она очень хотела от него избавиться окончательно. Только не знала — что нужно для этого сделать?

Уже вечером, когда гости давно ушли, а Лена заглянула узнать — нужна ли она еще? — Теперик не терпящим возражения тоном объявила, что и Лена и Катя идут вместе с нею на вечеринку к банкиру Буйницкому. Идут — так идут, Лене было все равно, вот только завтра утром надо было сдать экзамен, она хотела немного полистать конспект, хотела посмотреть кое-что в книгах, но она знала, что к экзамену готова и была спокойна, однако ее поразило Катино воодушевление. «Ты что так радуешься?» — спросила Лена. «Иван там тоже будет!» — ответила Катя. «Какой Иван?» «Который сегодня был здесь. Фотограф, неужели ты на него не обратила внимания?» «А-а-а... — протянула Лена, добавила: — Симпатичный...» — и поехала домой переодеваться.

Лена думала, что это будет действительно «вечеринка», но собралась вся фирма Буйницкого, сотрудники его головного офиса, была масса мужчин в вечерних костюмах, охранники стояли в дверях, официанты разносили шампанское и тарталетки, для проголодавшихся в небольшом зале были сервированы столы, живую играли лучшие группы, знаменитый скрипач со своим оркестром заполнял паузы. И Лена и Катя были в маленьких черных платьях, Теперик — в красном, длинном, почему-то — мятом, с замызганным подолом. Буйницкий, на правах хозяина, стоял у входа в большой зал.

— О! Любочка! Ты всегда очаровательна! — почти не разжимая губ приветствовал Теперик Буйницкий и скосил большие глаза сначала на Катю, потом — на Лену.

— Твои девочки? — спросил Леонид Матвеевич. — Шанель?

Лена хотела было ответить, что ее платье прислала мать и купила вернее всего по дешевке в каком-нибудь пражском универмаге на распродаже, но Теперик толкнула ее под локоть по направлению к одной из групп мужчин, что-то увлеченно обсуждавших, и прошептала:

— Веселись!

Лена взяла с подноса бокал, съела тарталетку, отпила несколько глотков и сразу охмелела. Мужчины поглядывали на нее с равнодушным интересом, говорили о том, что обгоревший в Лондоне Катушищев, судя по всему, долго не протянет, что пожар в его недавно купленном доме — следствие злого умысла. Один из них, высокий, в очках с толстыми стеклами, в мешковато сидевшем костюме, спросил у Лены, что она думает по этому поводу, но Лена не знала, кто такой Катушищев. И честно в этом призналась, оговорившись, правда, что умирающего ей жаль как и любого другого, кто вот-вот расстанется с жизнью, и поделаться тут ничего нельзя. Ее ответ всех развеселил, очкарик попросил Лену обещать ему танец, она обещала, обещала и другому, тоже высокому, тоже в очках, но — маленьких, цеплявшихся за кончик носа. Она была готова обещать что угодно. Легко ступая, она переместилась к другой группе, но и там говорили о Катушищеве. Разве что не столько о постигшем Катушищева несчастье, сколько о том, что Катушищев связан с опальным Сессаревским, а также о том, что бывшая жена опального, Наталья, как ни в чем не бывало прохаживается по залу от одной группы к другой. Лена подумала, что жена и настоящая за

поступки мужа ответственности не несет, потом о том, что, если бы ее муж, в каком-то обозримом-необозримом будущем, совершил нечто порицаемое, она бы обязательно чувствовала свою ответственность, и взяла еще один бокал шампанского.

Она двинулась по залу дальше, увидела, что Буйницкий похлопывает по плечу очень милого и в самом деле симпатичного молодого человека, возле которого стояли те двое неприятных, что были сегодня в подвале, те, кому она подавала чай и крекеры. Иван отвечал на вопросы Буйницкого, но взгляд его блуждал по залу, потом на ком-то остановился. Лена проследила за направлением его взгляда и обнаружила, что Иван смотрит на Катю. Она подошла к Кате и сказала ей на ухо:

— Он здесь!

— Кто?

— Твой Иван!

— Мой? Ну ты даешь! — Катя покраснела. — Где он? А!

— Ты в него влюбилась, что ли? — спросила Лена.

— Ой! — Катя от неожиданности даже отпрянула. — Да, влюбилась! Ты посмотри на него! Посмотри!

— Обыкновенный симпатяшка. Маменькин сынок.

— У него нет маменьки! И он не сынок! Он собирается ехать в Африку, помогать голодающим! В Дарфур. Там гуманитарная катастрофа.

— Откуда ты знаешь?!

— Он мне о Дарфуре рассказал сегодня, у нас в подвале.

— И как это ты успела?

— Тебе завидно?

— Да. То есть — нет. Да, завидно...

Она и в самом деле завидовала. Лена существовала в невнятном, размытом пространстве, из которого нелепой смертью был изъят единственный ей близкий человек, а тут какая-то Катя, недалекая, с прописанными на лице будущими семейными заботами, огорчениями, курица, самочка, ее Иван, почему-то едущий в Дарфур, как будто голодают и терпят нужду только там, а здесь, в России, все плывут по молочным рекам среди кисельных берегов. Лена подумала, что она бы ни за что не поехала в этот Дарфур, даже — за хорошие деньги, что она бы не стала помогать никому и по соседству. Она быстро оглядела зал и поняла, что здесь все такие, что все окружающие живут в том же пространстве, что и она, находят в нем свое, свою выгоду, а на прочих им наплевать.

— Да, завидно, — повторила Лена, но признания ее Катя уже не слышала. Она шла навстречу освободившемуся от внимания Буйницкого Ивану, все вокруг нее было совершенно незначимым, незначимым настолько, что она даже не заметила делавшую ей знаки Теперик. Она остановилась в нескольких шагах, почувствовала, как вспотели ладони, подумала, что на лице ее самая, самая глупая улыбка, но ничего не могла с собой поделать и, когда Иван посмотрел на нее, ее улыбка стала еще шире.

Теперик подошла к Лене и посоветовала не торчать столбом посередине зала, а пойти или что-нибудь перехватить или потанцевать с кем-нибудь из скучающих господ.

— Меня уже приглашали на танец, — сказала Лена.

— Кто?

— Он! И — он!

Теперик посмотрела на очкарика в очках с толстыми стеклами, посмотрела на очкарика с очками на кончике носа.

— Эти не катят, — сказала Теперик. — Это скучные, всего боящиеся клерки... — Теперик замолчала, провела языком по внутренней стороне верхней губы, округлила глаза, и лицо ее приобрело на мгновение выражение потерянное и жалкое.

— Вон видишь, от Леонида Матвеевича идет такой, лысый? — сказала Теперик. — Вот тебе буклет нашей выставки, мне, когда вы переодеваться поехали, привезли тираж, дай ему буклет и возьми у него визитку. Быстро!

Лысый двигался по залу зигзагами. Он приблизился к группе, где были оба очкарика, но не остановился, а прошел дальше, к другой группе, возле которой Лена уже была, но и там не задержался, а развернулся на каблучках и засеменил к дверям в

зал, где подавали еду. Лена почти догнала его возле столика, на котором стоял с открытой крышкой поднос с куриными отбивными, но лысый, уже взявший тарелку, передумал класть на нее отбивную, а метнулся к другому столику, где на подносе были тушеные овощи, положил на тарелку немного овощей, полил соусом, но, оставив тарелку на столике возле подноса, схватил наколотую на шпажку большую креветку, смачно всосал креветку в узкие и бледные губы, выплюнул креветочный хвостик себе в кулак, искал, куда бы хвостик выкинуть, бросил его на пол, наклонившись, почти расталкивая прочих гостей головой, пробился к столику с напитками, и Лена услышала, как он говорит бармену «Водки!»

Она подождала, пока лысый опрокинет в себя содержимое рюмки, но он поставил рюмку на столик так, что у рюмки отломилось основание, и заговаривать с ним она не стала, машинально взяла со столика бокал красного вина.

— Он умер, — сказал кто-то рядом.

Лена опрокинула бокал залпом и пошла прочь от столика с напитками. Она поняла, что умер этот неизвестный ей Катушищев. О смерти Катушищева все говорили, а смерть его любимого осталась никем незамеченной. Она остановилась, вернулась к столику и взяла еще один бокал красного вина. И вышла в большой зал.

Возле одной из колонн стояла странная группа. Катя, Иван, один из приходивших вместе с Иваном в подвал неприятных, но не блондин, а рыжеватый, с бородкой, а рядом с ним тот самый мужчина, который ночевал в ее доме, положив голову на грудь которому она проспала несколько часов. Мужчина — как же его зовут? как же?! — что-то быстро говорил, а неприятный широко, самоуверенно улыбался. Катя заметила Лену и помахала ей рукой.

Лена сделала вид, что не заметила Катиного жеста, допила вино, поставила бокал на поднос проносящегося мимо официанта и подошла к стоявшему неподалеку человеку с очками на кончике носа.

— Вы обещали со мной потанцевать! — сказала Лена.

10.

Нет сил терпеть эти климатические скачки. То холод собачий без снега, лишь с какой-то сыплющейся с неба крошкой, похожей на пообщипанный пенопласт, то снега навалит почти до крыши, и — влажность, то снег в один день превратится в кашу, посереет, потечет, а потом — вновь ударит мороз и все вокруг превратится в сплошной каток. Я-то, конечно, вовсе не должна выходить на улицу. Мне не надо корячиться на льду, не надо пробиваться сквозь снежные заносы. Но еще быющее в моей тощей груди сердце от этих перепадов прямо-таки заходится. И — ухаёт. Вверх, вниз. В глазах темнеет. И я чувствую, что в любой момент могу перейти в другой мир. Который никак не лучший.

Юлечка все делает искренне. Искренне ждет, когда наконец-то от меня избавится, искренне мне сопереживает, если я себя плохо чувствую. Вот только я раньше о своем здоровье говорила и говорила, а теперь — молчок. Артемий — прямая противоположность. Он на здоровье жалуется постоянно, но если у него люмбаго, то он обязательно заговорит о раке спинного мозга. Найдёт литературу, изучит, начнет сыпать терминами. Найдёт подтверждение своему диагнозу в Интернете, который освоил, видимо, только для этого. Лучший способ заставить его успокоиться — переключить на что-то другое. Например, он расписывает симптомы рака спинного мозга, а я ему — от этой болезни умер Тургенев. И Артемий попался. Тут же начинает ругать современных писателей, говорить о своей любви к великой русской литературе вообще и к Тургеневу в частности.

Он конечно же врет. Но своеобразно, по-артемьевски. Если он и читал этих великих русских писателей, то очень давно, в объеме своей шпионской школы или что он там заканчивал, потому что в школе средней он учился во время войны, ничего он не помнит, разве что немку-учительницу, немку настоящую, сосланную в Казахстан, куда Артемий вместе с родными уехал в эвакуацию, преподававшую, как нетрудно догадаться, немецкий язык и преподававшую его отлично: Артемий от нее получил свое бесподобное немецкое произношение, он по-немецки говорит как поет, он так

очаровательно рэкает, так обкатывает слова, это просто песня, а не язык. Немку потом вообще в лагерь посадили, ссылки показалось мало, так я Артемия спросила — он донос писал или он только подписывал? Как обиделся! Как обиделся! Целый день не звонил! Целый день! А потом позвонил и сказал, что он меня прощает. Ишь ты! Проститель выискался! Но про Тургенева Артемий обязательно говорит, что тот был его любимым писателем, что «Дворянское гнездо» и «Первую любовь» он ставит выше всего, что хочет обязательно перечитать, но времени нет. Меня так и подмывает спросить — куда уходит его время? Ну, понятное дело, на поиски по Интернету материалов про рак спинного мозга, Ванечка тут приходил ко мне с раскладным таким, белым компьютером, показывал свои фотографии, я просила Ванечку показать мне Лувр, Карпаччо, портрет рыцаря, мою любимую картину, но Артемия такие глупости в Интернете не привлекают.

Я Ванечку спросила — помнит ли он Артемия? Сказал, что помнит, что Артемий приезжал как-то к Андрюше, на день рождения или на юбилей свадьбы, еще Маша была жива, но мне кажется — Ваня что-то путает. Чтобы Артемий поехал к Андрюше? Зачем ему это? Впрочем, сама я помню, как Ваня называл Артемия — Артемий Полипыч. Когда был совсем маленький. Мы все тогда смеялись. И Андрюша, и Маша его покойная, и Петя, только что своей женой оставленный, и я, только что из больницы отпущенная под ответственность родственников.

Но, как бы то ни было, Артемий убежден, что прежде зима наступала в одно и то же время, снег выпадал в положенных количествах, хрустел под ногами, оттепели знали свое место, а когда Артемий впервые поцеловал свою ныне покойную жену — это случилось зимой, на катке, черт знает когда, — то у него возникло ощущение, будто поцеловал он яблочко: такая она была свежая, крепкая, сочная.

Ненавижу я все эти воспоминания! От них становится так мутрно!

К тому же сравнение покойной жены Артемия с яблочком мне представляется натянутым. Покойную жену Артемия я знала, и знала хорошо. Это была — прости, Господи! — очень вредная особа. Жадная, скупая. Круглолицая. С острым, торчащим носиком. Ну, если носик покойной жены Артемия принять за яблочный черенок, то тогда можно было бы и ее сравнить с яблочком. Только уже с начавшим сморщиваться, полежавшим на газете в темном месте, с бочком. Она всегда была с тухлинкой.

Но слушать Артемия забавно. Он же думает, что я с ним во всем согласна. А это не так. Просто у меня нет сил спорить. И желания тоже нет. Я лежу в постели. Из-за природных выкрутасов у меня были чудовищные скачки давления. А еще у меня разбит локоть. И вмятина на лбу.

Давление поднималось несколько дней. Обычное средство, маленькая, продолговатая таблетка, одна — каждое утро, не помогала. Наконец мне стало невмоготу. Андрюша сказал, что надо вызвать врача. Антон предложил обратиться к его отцу. Сказал, что тот приедет немедленно. Я пошутила по поводу прежней специализации Василия Романовича, мне Антон нравился, только все у него пойдет наперекосяк, все не слава Богу, и сбила давление сама. Адельфаном. Врач принимать адельфан запретил из-за моих депрессивных состояний, но верить в моем возрасте врачам уже просто глупо.

На меня накатила мягкая волна, склонило в сон, я легла, проспала несколько часов, сквозь сон слышала, как ко мне в комнату входили сначала Юлечка, потом Ваня, но меня оставили в покое, дали отлежаться, про меня забыли, разъехались по своим делам, а я, спускаясь по лестнице, хотелось чаю, в конце концов, почувствовала, что ноги слушаться перестали. Вот я и навернулась, пересчитала оставшиеся ступени своей дурной головой. Вмятина посередине лба. И разбитый локоть. Из локтя потекла такая светлая, жидкая кровь. А вмятина, когда я пришла в себя и Юлечка поднесла зеркало, очень меня развеселила. Сквозь смех я сказала, что теперь мне надо напрячь мозги так, чтобы вмятина разгладилась. При этом отметила, что раз мозгов у меня осталось совсем немного, то и напрягаться придется долго, изо всех сил.

Юлечка такие шутки не понимает. А ведь я говорила Андрюше, что женится он на дочке служившей у нас домработницы потому, что ему лень поискать что-то получше. Андрюша в ответ только покивал своей лысой головой. Что бы я ему ни говорила, он

только кивает. Ничего, Юлечка ему еще покажет. Я вовсе не считаю, что мезальянс всегда плох, но полезно иногда посмотреть на мать невесты и представить — во что превратится это юное и соблазнительное создание лет так через двадцать. А если уж учесть, что Юлечка и ее мамаша всегда были похожи как две капли воды! Быть может, я действительно умалишенная, но все дело в постели. Для женщины обычно это совсем просто, а мужчина начинает обклеивать горизонтальную изобретательность совершенно не нужными финтифлюшками. Он думает, что так будет всегда. А ничего всегда не бывает. Это-то я знаю твердо.

Но как Юлечка, бедняжка, запарилась, пока тащила меня наверх, в мою комнату. И повязку на локоть наложила вполне профессионально, вполне. Оказывается, у нее была оценка «отлично» по медицинской подготовке, вот только я забыла — где же Юлечка училась, совсем забыла, хотела спросить, но было как-то неловко, это могло показаться с моей стороны невежливым. Хотя — это был как раз тот случай, когда можно спрашивать о чем угодно и говорить что угодно: какой спрос с человека с такой вмятиной на лбу?

И на ее лице появилось-таки выражение испуга. Я ей сказала, чтобы она позвала врача, конечно — не Василию Романовичу Обрезчикову, еще подумает, что старая калоша хочет нарастить себе задницу. Врач сказал, что приедет, Юлечка положила трубку и скорбно уставилась на меня. Пришлось отправить ее делать чай с мятой. Я чай с мятой не люблю. Но лишь бы на меня так не пялились. Правда, чай она приготовила быстро, вновь уселась возле кровати и вновь на меня уставилась.

— Где все? — спросила я.

— Митенька спит, Андрюша у себя в бюро, Петр Иванович в городе... — начала перечислять Юлечка.

— А где Ваня?

— Ваня? Знаете, Галина Федоровна, мне очень понравился Ваня. Он такой хороший мальчик...

Ну вот, тетя нашлась! Я посмотрела на нее из-под полуопущенных век. Она старше Вани на каких-то пять лет. Мальчик!

— Но он такой доверчивый! — продолжала Юлечка. — Всем верит, всем доверяет. Вот возьмем этого Антона...

— Так где Ваня?

— А, Ваня...

Вот тупая овца!

— Да, где он?

— Он у своей девушки, — сказала она и поджала губки. И округлила глаза. Мол, я такая глупая, проговорила, вы уж извините!

— У девушки? Какой девушки?

— Он познакомился с одной девушкой, а она оказалась младшей сестрой знакомой Петра Ивановича, Анны Овчаровой. Девушку зовут Катя. Работает в галерее. Ваня договорился, что в галерее выставят его фотографии. Это ведь здорово, правда, Галина Федоровна?

Вот так-так! Мне мало вмятины, мало того, что давление у меня упало с двухсот до ста пяти, так еще Ваня закрутился с сестрой Петиной Анны! Это уже слишком!

— Ну и? — только и смогла я сказать.

— А Антон поссорился с Петром Ивановичем и уехал к своим. И поссорился из-за этой старшей сестры Ваниной девушки. Они были на каком-то приеме, у Буйницкого, там они и начали ссориться, а продолжили уже здесь, поздно вечером. Вы спали, но Митеньку они разбудили... Вам что, нехорошо, Галина Федоровна? Галина Федоровна!

Не хватало только чтобы она лупила меня по щекам или делала мне искусственное дыхание! От мысли, что Юлечка прильнет своим ртом к моему, я покрылась липким потом. Даже руки начали подрагивать.

Но тут зазвонил телефон. Врач! Забыл как к нам ехать. Я слушала Юлечкины инструкции и думала, что перед смертью было бы здорово сходить на выставку внука. Только меня наверняка забудут, оставят в доме, скажут — мне вредно, мне нужен постельный режим.

— После съезда с основной дороги надо повернуть налево, а не направо, и не сразу, а после моста! — сказала я.

— Да-да, Галина Федоровна, я знаю! — Юлечка прикрыла трубку рукой.

— Перед мостом — направо! — сказала она в трубку.

Непроходимая дура!

Глава 3

1.

Несколько дней уже Петр Иванович только ел, пил и спал, подолгу стоял под душем, смотрелся в зеркало, лежал на диване с телевизионным пультом в руках и щелкал по каналам, не задерживаясь ни на одном из них более двух-трех минут, переключался на просмотр DVD, смотрел то диснеевские мультфильмы, то черно-белые вестерны, то проглядывал новинки, купленные у знакомого владельца «пиратского» ларька оптом, выворачивая звук на полную слушал Верди, Moody Blues, Дилана, Перголези. На звонки отвечал коротко, отрывисто, говорил, что перезвонит позже, и не перезванивал. Впрочем, звонков почти не было. Петр Иванович мало кого интересовал.

Утром ему было трудно помочиться. Приходилось напрягаться, он чувствовал боль то ли в промежности, то ли внизу паха. Приходилось мочиться сидя. От этого Петр Иванович чувствовал себя еще более несчастным. У него ничего не получалось. Чтобы отвлечься, он попытался думать о чем-то нейтральном, но ни за что зацепиться не мог и вспомнил, как точно так же сидел на унитазах в доме этой девушки, Лены, тоже мучился, но думал тогда о том, что в широком простенке между дверьми туалета и ванной комнаты висело несколько фотографий и среди них его мельком брошенный взгляд выхватил одну, на которой рядом с Леной стоял мужчина. Мужчина со знакомыми чертами лица, Вадик, черт бы его побрал, проныра Вадик, ангольский стукачок. Отец и дочь. Дочь и отец. Как его угораздило встретиться именно с дочерью Вадика? «Мистика!» — подумал он.

Он встал под душ. Вылил на себя гель, намылился. Вытершись насухо, тщательно протер грудь и шею тампоном, смоченным в одном одеколоне, руки — другим, лицо — третьим, лоб промокнул ароматизированной влажной салфеткой. Потом с влажными волосами, в халате, поджимая пальцы ног, стоял на холодном полу в кухне и пил сок, следил, как поднимается в турке кофейная пена.

Жизнь — бессмысленная череда случайностей. Совпадений. Петру Ивановичу доставляли удовольствие самые банальные мысли. Возведенные в абсолюты.

Он не уследил за туркой, кофе убежал, плита залилась кофейной гущей. Петр Иванович со злостью зашвырнул турку в мойку, но сделал это с излишней силой, турка крутанулась в мойке, остатки кофе из нее выплеснулись на стену и ему на босые ноги. Петр Иванович заплясал по полу, побежал в ванную, сел на край, пустил холодную воду, подставил под воду ноги.

И — успокоился.

Он был готов даже простить Анну. Даже на Обрезчикова Петр Иванович совершенно не сердился. Ну, что взять с этого парня, так старавшегося понравиться, так стремящегося к тому, чтобы его похвалили, обратили внимание на его достоинства. А они у него есть, ну конечно же есть! Он умен, он начитан, он не подлец, а одно только это так много значит в наши времена.

Петр Иванович выключил воду, вытер ноги, прошел в спальню, нашел тапочки, скинул халат, оделся. Можно было и позавтракать, но сигнал домофона застал Петра Ивановича врасплох. Он вновь не уследил за туркой, кофе вырвался из нее, залил отмытую, протертую специальной салфеткой плиту.

— Да! — сняв трубку, крикнул Петр Иванович и сдернул турку с плиты. — Да! Твою мать!

— Петя! Как хорошо что ты дома! Впусти меня!

— Кто это? — не понял Петр Иванович.

— Наташа!

— Наташа?

— Петр! Это Сессаревская!

Петр Иванович нажал кнопку на пульте.

Наталя Сессаревская не вошла в квартиру Петра Ивановича. Она ворвалась, бросила на стоявшее в прихожей кресло легкую норковую шубку. Лицо Сессаревской было взволнованным, на высоких скулах играл румянец.

Петр Иванович был визитом Сессаревской крайне удивлен. Да, они виделись на вечере Буйницкого, после стольких лет не только сразу узнали друг друга — Наталя, по мнению Петра Ивановича, совершенно не изменилась, разве что у глаз, от уголков ее красивых глаз расходились тонкие морщинки, да и голос стал еще глуше, тон его — ниже, — они проговорили минут пятнадцать, не больше, он оставил Наталье свою визитную карточку, она дала ему свою, они решили, что стоит встретиться как-то еще, куда-нибудь сходить, но это уже было данью светским привычкам — им, собственно, не о чем было говорить, а вспоминать прошлое Петр Иванович не любил. А тут — Сессаревская из прихожей быстро прошла в гостиную, огляделась по сторонам, вернулась в прихожую, подошла к успевшему закрыть входную дверь Петру Ивановичу и сказала почти не разжимая губ:

— У тебя чистая квартира?

— Что? — сначала не понял Петр Иванович. — Ну, приходит женщина, два раза в неделю... А! Не знаю... Думаю — да...

— Давай на кухне. У тебя там есть радио? Идем!

Петр Иванович пошел вперед, открыл дверь кухни, пропустил Сессаревскую вперед, вошел следом, закрыл за собой дверь.

— Включи радио. Или музыку, — сказала Сессаревская. — И воду. Создай шум.

— Какая глупость! — Петр Иванович покачал головой. — Шумы отсеиваются современным оборудованием легко. Будем писать друг другу записки? Принести бумагу и карандаши?

— Положение очень серьезно! — сказала Сессаревская.

— Я ничего не понимаю. Скажи мне, скажи спокойно — в чем дело, скажи — как ты узнала мой адрес, скажи...

— Узнать адрес для нашей службы безопасности проще простого. Проблема в том...

Сессаревская замолчала. Петр Иванович выдвинул кухонный ящик, достал оттуда пачку сигарет, предложил Сессаревской. Она взяла сигарету. Прикурила от зажженной Петром Ивановичем спички, исподлобья посмотрела на него.

— Хорошая рубашка, — заметила она. — Так вот, ищут Обрезчикова Антона Васильевича, прилетевшего из Амстердама в Москву и поселившегося в доме твоего брата, Колонтаева Андрея Ивановича.

— Ищут? Кто? Зачем? И что его искать? Он должен быть или в городе, или...

Петр Иванович глубоко затаился. Неприятное, липкое чувство обволакивало его. В одном из параллельных ему миров происходило нечто, имеющее к нему непосредственное отношение, он это чувствовал, но не мог ничего предпринять ни в отношении этого параллельного мира, ни в отношении происходящего.

— Его в доме твоего брата нет. После вечера у Буйницкого он там не появлялся. К своим родителям он тоже не приезжал. Он где-то в городе, но где — не знает никто.

— Подожди, Наташа, — Петр Иванович стряхнул с сигареты пепел, сел на высокий табурет. — Кто его ищет?

— Скажем так — компетентные органы.

— Уже интересно. Зачем его ищут?

— С ним хотя бы поговорить из-за...

Сессаревская замолчала. Она курила и, слегка прищурившись, смотрела в окно. За окном начиналась метель. Серый дом напротив казался подернутым дымкой. Низко висели бледно-голые облака. Через двор дома Петра Ивановича шла женщина в сиреновом пальто, рядом с женщиной семенил маленький мальчик. Маль-

чик споткнулся, отстал на несколько шагов, побежал, догнал женщину, она обернулась и взяла его за руку.

— ...из-за смерти Катушищева. Катушищев умер в ожоговом отделении, английская полиция утверждает, что это был поджог. Ты что, не смотришь новости? Нарастает настоящий скандал. Дипломатический. Политический. Один наш деятель уже выступил с заявлением, что к поджогу причастен Лева...

— Твой бывший муж?

— Да, мой бывший муж. Отец моей дочери.

Петр Иванович поймал себя на том, что не знал о существовании дочери опального банкира Сессаревского, о том, что матерью ее была Наталья.

— По информации англичан, Обрезчиков встречался с Катушищевым несколько раз. Последний раз — перед тем, как уехать из Лондона в Амстердам. Обрезчиков был последним, кто видел Катушищева перед пожаром. Это записано на камере видеонаблюдения.

— Ты думаешь — он поджег? По чьему приказу? Понятно, что не по Левкиному... По своей собственной инициативе? Он сотрудник спецслужб? Но это невозможно!

— Откуда ты знаешь?

— Потому что мой отец был таким. И друг моего отца, Артемий Филиппович, такой. А еще потому, что я этих людей на своей жизни повидал десятки. Сотни! Не только наших. Я видел и американцев, и португальцев, и южноафриканцев. Разных.

— Где?

— Да в Африке! И до Африки, и после! Они — другие. А этот Обрезчиков...

— Его надо найти.

— Прости, конечно, но тебе-то это зачем?

— Этим можно будет снять обвинения с Левки. Потом — для Буйницкого.

— Ему-то какой смысл?

— Последний раз Обрезчикова видели у него на вечере. Это может породить не самые приятные слухи. А если учесть, что положение Буйницкого не самое благоприятное, то...

Петр Иванович погасил сигарету, вытащил из пачки новую, сунул в угол рта. Подбросил на ладони спичечный коробок. Поднес коробок к глазам. Прочитал надпись, сделанную золотыми буквами: «Ararat Park Hyatt Moscow». «Откуда у меня этот коробок? — подумал Петр Иванович. — Как он ко мне попал? А, мы ужинали там с Анной, полгода назад, да-да, полгода назад...»

— Знаешь, — сказал он внезапно севшим голосом, — знаешь, я думаю, что стоит позвонить одному человеку. Он может знать.

— Кому?

— Просто — одному человеку. Я не хочу сейчас называть его имя. Быть может, он знает. А если не знает, то тогда я тебе ничем помочь не смогу.

Он встал с табурета и протянул руку к лежащей на столе трубке.

— Нет! — Наталья схватила Петра Ивановича за руку. — Не с этого телефона! Принеси мою сумку, она в кресле, под шубой.

Петр Иванович вышел в прихожую, вернулся с сумкой.

— Вот, с любого, — Наталья вытащила из сумки два мобильных телефона. — После звонка сразу вытащишь карту, порежешь ножницами и спустишь в сортир.

— Зачем такие предосторожности?

— Так мне сказал наш специалист по безопасности.

— Наташа! Захотят — найдут и по спущенной в сортир карте, — он взял один из телефонов.

— Надо включить!

Петр Иванович включил телефон. Потом набрал номер.

— Это я, — сказал он, когда ему ответили. — Извини, что беспокою. Это ты мне? Да, номер не мой. Да. Извини, но я хотел...

2.

Анна пришла, как и обещала, рано, разделавшись с делами, отменив все запланированные встречи. Она спешила. Обрезчиков заметил это по ее учащенному дыханию. По покрасневшимся щекам. И с порога объявила, что не желает его больше видеть, что все произошедшее — глупейшая ошибка, что сама она — глупая дура, а он — глупый наглец. Сказала, чтобы он немедленно убирался из ее дома. Но по ее глазам он прочитал, что когда она еще открывала дверь, то собиралась сказать нечто совершенно иное. Он догадывался, что именно. Она бы сказала это, быть может, не сразу, быть может — во время ужина, быть может — сразу после. Быть может — тогда, когда они бы легли в постель. Или тогда, когда они оба лежали бы обессиленные, потные. Она могла бы сказать это тихо. Но — со значением. Могла бы громко, на выдохе, после судорожного вскрика. И если бы она сказала, что любит его, он бы не удержался и в ответ признался бы, что любит тоже.

Он любил женщину, которую долгое время знал через электронные письма, сообщения на форумах, с которой так быстро познакомился и сошелся, которая была ему во всем чуждой, у нее уже могли быть месячные, а он только появился на свет, а через несколько часов после подлинного знакомства он целовал ее грудь, торчащий, напряженный сосок попал ему в ноздрю, он засмеялся, она засмеялась в ответ. У нее был сочный, мощный смех. Гладкий, мягкий живот. Стриженный лобок. Она была сладкая на вкус, пряная на ощупь, ее руки обнимали требовательно, она вскрикивала и радовалась ему так, словно боялась его потерять.

Он шел по улице, от ее дома — к станции метро, и думал, что это — к лучшему. Он был ей благодарен. Если бы она его не выгнала, если бы сказала, что любит, а он бы признался в своей любви, то завтра ушел бы сам. Было обидно, что она его опередила, что последнее слово осталось за ней. Но это он мог простить. Это мелочь. Она освободила его и освободилась сама.

Правда, он приготовил ужин. По Интернету узнал адрес ближайшего хорошего гастронома. Оделся, спустился вниз, прошел мимо консьержки, что-то невразумительное буркнув. Сверяясь с распечатанной картой, пошел пешком. Долго ходил по торговому залу. Хотелось приготовить что-нибудь особенное. Вспомнил, что у Анны на кухне стоит пароварка. Положил в корзину двух охлажденных сибасов, лимоны, китайское сладкое вино. Попросил стоявшего за прилавком продавца подыскать ему небольшую рыбу для приготовления бульона. Тот взвесил судачка, завернул в плотный пластик, приклеил ценник. Потом позвал продавщицу, бродившую по полупустому торговому залу, прочитал на бейджике ее имя, обращаясь по имени, попросил найти для него рыбный соус. Оказалось, что в этом магазине есть целых три разновидности рыбного соуса. Он выбрал тайский. Потом добавил в корзину коричневый рис, две бутылки «Бланшо». Дорогое вино. В Лондоне он его никогда не покупал, никогда не пил. Не пил и до Лондона. Он всего лишь знал о существовании такого вина. Увидел стоящие на полке бутылки, не смог удержаться. Рука сама потянулась. На кассе он протянул кассирше карточку. Мелькнула мысль, что лучше расплатиться наличными, но остановило наползающее равнодушие. Он подумал о том, что если бы тот набор цифр и букв, за которым Катушищев послал его в Москву, он смог бы ему передать, а Катушищев его не обманул и отдал бы его долю, если бы, в конце концов, Катушищев не был бы сейчас мертв, из-за чего набор цифр и букв стал совершенно бесполезен, то тогда он вряд ли бы потратил такие деньги в этом гастрономе. Ну, во всяком случае, не стал бы покупать «Бланшо». Да, если бы у него были большие деньги, если бы эти большие деньги даже ожидали его где-нибудь, далеко от Москвы, то здесь бы он считал каждую копейку. Деньги его портили. Они превращали его в нечто жалкое, достойное сочувствия. Но только большие деньги, а доля, обещанная ему Катушищевым, их как раз подразумевала. Для него — очень большие. Он вышел из гастронома и поймал машину. Его везли долго, он даже начал беспокоиться, что опоздает, что не успеет приготовить рыбу до того, как Анна вернется. Потом усмехнулся. Нет ничего эротичнее, чем вместе готовить рыбу. На автоответчике было сообщение от Анны. Она волновалась — почему он не берет трубку? Спрашивала — не шалит ли он в ванной? Говорила, что вот-вот выходит. У него оставалось мало

времени. Он замочил рис, сварил бульон, замешал соус, который показался ему слишком жидким. Он порубил чеснок и чили, обработал сибасов, положил вместе с приправами в пароварку, поставил вариться рис. На кухонной полке, под самым потолком, он увидел залитую свечным воском бутылку. Чтобы снять ее, ему пришлось встать на табурет. Скольким интимным ужинам была свидетелем эта бутылка? Он усмехнулся, выдвинул кухонный ящик, достал коробку со свечами и воткнул свечу в бутылку. Оставалось включить пароварку, достать охлажденное вино, зажечь свечу.

Он спустился в метро и почувствовал, что голоден. Он проехал до «Пушкинской», вышел, поднялся наверх. Толпа была серо-черной. Лица — уставшими, бледными. Он остановился возле витрины, увидел свое отражение. Те же серо-черные тона, такое же бледное лицо.

В группке молодых наркоманов при выходе из метро он сразу заприметил сутулого пушера. Тот держался чуть в сторонке. Антон встал неподалеку, прямо под изображением перечеркнутой сигареты, и закурил. Руки дрожали, но это не было наигранным. Он чувствовал не только голод, ему было холодно, его бил озноб. Пушер не смотрел на него, но он чувствовал, что тот его видит, что заметил дрожь в руках, обратил внимание на то, как Антон затягивается.

Антон пошел по переходу, уверенный, что пушер его нагонит. Так и случилось. Тот несколько шагов шел рядом, потом быстро ушел вперед, повернул к ведущей из перехода лестнице. Он последовал за ним.

Выбросив сигарету, Антон огляделся и увидел, что пушер быстрым шагом пересекает сквер. «Черт! — подумал Антон. — И здесь облом!»

Он вытащил телефон, набрал номер Ивана. Иван сидел в галерее, ждал, когда освободится Катя, они собирались пойти в театр, старшая сестра Кати отдала свои билеты на премьеру, Иван предлагал к ним присоединиться, ведь купить один билет всегда можно, а после театра было бы хорошо пойти куда-нибудь, а? Ты меня слышишь? Алло!

Антон подумал, что Анна отдала билеты на премьеру своей младшей сестре для того, чтобы провести этот вечер с ним. Знает ли об этом Иван? Знает ли, что, пока он крутит с младшей сестрой, он, Антон, спит со старшей? Крутит, какое идиотское, аналоговое слово! Анна не могла найти Катю, у Анны с Катей отношения не сестринские, а почти материнские, Катя наверняка уже затащила Ивана в постель, прервав тем самым его очередной рассказ о фотографии, о Дарфуре, о единстве мира, об ответственности. Интересно, что делает Анна сейчас? Включила ли пароварку? Вылила ли приготовленный соус? Ест рис, прямо так — без соли, большой ложкой? А по ее потерявшим румянец щекам пробивают дорожки горячие слезы.

— Нет, — сказал он и увидел, что пушер возвращается, — я не могу. Я тебе еще позвоню. Часиков в одиннадцать, — нажал кнопку «отбой», положил трубку в карман куртки, а когда пушер поравнялся с ним, Антон ему чуть заметно кивнул.

Первым человеком, кого он встретил в холле отцовской клиники, была его мать. Любовь Дмитриевна сидела в кресле, короткая шубка, короткая юбка, плотно сведенные колени были чуть наклонены вправо, а ее тонкое, изящное тело — чуть влево. Любовь Дмитриевна читала книгу в мягкой обложке. Она посмотрела на сына поверх очков с дымчатыми стеклами, ее губы начали было растягиваться в улыбку, но она сдержалась.

Антон подошел, наклонился и поцеловал матери руку.

— Соизволил! — сказала Любовь Дмитриевна, глядя в макушку сыну.

— Что читаешь, мама? — спросил Антон.

— Патти Дифуса.

— Что это такое? — он распрямился.

Мать выглядела очень молодо, прическа была волосок к волоску, большие серьги с бриллиантами чуть оттягивали маленькие мочки ушей.

— Не что, а кто. Это такая женщина. Секс-символ.

— Во как! Интересно?

— Мне посоветовал Стасик. Пока нравится. Забавно.

«Забавно» было любимым словом Любви Дмитриевны. Забавный мальчик,

забавный фильм, забавный пирог, забавная ситуация, забавные туфли. Другим словом для обозначения качества вещи было «трагедия» или «трагедийный». Трагедийный чай, эта женщина просто трагедия, мы пережили настоящую трагедию. Иногда она говорила «забавная трагедия» и даже — «трагедийная забава». Антон был для матери трагедией, Стасик, младший брат, всегда был забавен.

— Ты ждешь отца? — спросил Антон. — Он должен спуститься?

— Я жду водителя. Мы должны были ехать на премьеру, но у папы внеплановая операция. Только что началась, — Любовь Дмитриевна посмотрела на часы, и Антон отметил, что ремешок часов и бриллианты в ушах составляют единый гарнитур, — поэтому мне придется ехать домой. Не люблю ходить в театр одна...

— Я знаю, — сказал Антон.

— Может, ты заберешь билеты? Пригласишь какую-нибудь девушку? Правда, спектакль вот-вот начнется. Но это же забавно — прийти на разрекламированную премьеру ко второму акту.

Любовь Дмитриевна положила книгу себе на колени, взяла сумочку, достала из сумочки сложенные билеты. Протянула Антону. Антон был уверен, что это билеты на тот же спектакль, на который идут Иван и Катя, подумал, что стоит позвать в театр Анну, позвать и сказать: «Аня! Давай не будем играть трагедию! Аня! Нам трагедия не по чину! Аня!»

Он взял билеты, положил в карман куртки.

— Ну, тогда мне надо торопиться... — сказал Антон.

— Нет-нет, сейчас подъедет Леон, мы тебя довезем, а потом он отвезет меня домой. А после спектакля — мы тебя ждем! Ты слышишь? Отец может окончательно обидеться. Ты обещаешь?

— Обещаю!

— Хорошо... А вот и Леон.

Антон обернулся. В холл вошел невысокий блондин.

— Его правда зовут Леон?

— Забавно, да? — Любовь Дмитриевна скупой улыбнулась, спрятала книжку в сумочку. — Прежний водитель был просто трагедия.

Она легко встала, но Антон заметил, что легкость далась ей с трудом. Она взяла сына под руку.

— Ты, кажется, еще подросток, — сказала Любовь Дмитриевна. — Не пойму — в кого ты такой длинный?

— Я тоже не пойму, мама.

Они прошли мимо конторки.

— До свидания, Любовь Дмитриевна! — сказала девушка в белом халате. — До свидания, Антон Романович!

В машине они некоторое время ехали молча.

— А ты не позвонил девушке! — нарушила молчание Любовь Дмитриевна. — Или у тебя нет здесь девушки?

— Я послал ей эсэмэску.

— А в Лондоне у тебя есть девушка?

— Есть.

— Какая?

— Что ты хочешь узнать?

— Сама не знаю, Антоша. Просто спрашиваю своего сына про его девушку. Имею право?

— Имеешь. Девушка хорошая. Высокая, стройная, чернокожая.

— Белую ты найти не смог? Не захотел? Мне всегда так нравились англичанки! Ты нашел себе черную, чтобы меня уколоть?

— Конечно! Каждый мой вздох это укор тебе.

Любовь Дмитриевна засмеялась.

— Я по тебе соскучилась, — сказала она. — Но она в самом деле черная?

— В самом деле, мама. Я живу в Брикстоне, там почти все такие, мы познакомились в одном клубе, она в том клубе менеджер.

— Брикстон?

— Это район Лондона.

— Менеджер! Звучит. У моего сына подруга негритянка из Лондона, но зато менеджер в клубе.

— Ты стала расисткой?

— Я всегда ею была. Но главное — чтобы тебе было хорошо. А тебе хорошо?

— Хорошо.

— Ладно, — Любовь Дмитриевна посмотрела в окно. — Почти приехали! Леон! Останови! Антон! После спектакля мы с папой тебя ждем. Надеюсь, твоя здешняя девушка...

— Она длинноногая блондинка, мама!

— Ну и хорошо, но я бы хотела, чтобы у моего сына была шатенка. Пока, милый!

Он помахал вслед отъезжающей машине рукой, прошел через кордон спрашивающих лишние билеты, закурил, выбрал девушку в бесформенном сером пальто.

— Вам нужны билеты? — спросил он.

— Да, — девушка обернулась к нему.

Некрасивое, большое лицо, очки, редкие зубы.

Он протянул билеты девушке, в ответ на ее благодарности повернулся к ней спиной, вновь вышел на проезжую часть, открыл дверцу подъехавшего такси, помог выйти сухой и маленькой старушке, сел на ее место и назвал адрес. Потом добавил название клуба.

— Место сбора крутой гомоты. Стукачей. Разных уродов. Педофилов. Некрофилов. И прочих достойных граждан.

Таксист обернулся и посмотрел на него с интересом.

— Поехали, — сказал Антон.

Он попросил остановить не доезжая до дверей клуба. Расплатился, вышел, завернул в подворотню, нажал кнопку звонка у глухой черной металлической двери. Дверь почти тут же открылась, казавшийся из-за светившей за его спиной яркой лампы огромным, лопоухим человек спросил:

— Что?

— Я к Стасу.

— Кто?

— Брат.

Человек отступил в сторону. Он был действительно огромен.

— Не узнал, — сказал человек. — Ты давно здесь не был. Дела?

— Дела...

Стасик сидел перед компьютером, в маленькой, полутемной, оббитой красной тканью комнате. Он сидел в той же позе, в которой Антон оставил его полтора года назад. Он играл в ту же компьютерную игру. Курил такую же розовую сигарету. Только волосы, пышные, янтарные волосы стали намного длиннее. Они струились по плечам, рассыпались по худой спине.

— Привет, Антон, — сказал Стасик. — Виделся с мамой? Она звонила. Знаешь, ее эгоизм вышел на новый уровень. Если прежде от нее нельзя было получить стакан молока, потому что она сама не пила молоко, то теперь она готова всех утопить в молоке лишь бы ей не мешали наслаждаться жизнью. Такое впечатление, что...

— Привет, — Антон сел в кресло сбоку от стола Стасика. — Да, ты прав.

Стасик откинул со лба мягкую прядь. Антон отметил, что теперь Стасик пользуется тональным кремом, что губы его накрашены, глаза подведены. Стасик прикурил новую розовую сигарету от докуренной почти до фильтра предыдущей, загасил окурок в пепельнице, огромной, блекло-красной, шипастой раковине. Длинные ногти Стасика были покрыты розовым лаком.

— Ты бы мог позвонить хотя бы мне. Неприятно узнавать о твоём появлении от третьих лиц.

— От мамы?

— Наша мама не третье лицо. Ко мне приходил один человек. Он сказал, что ты прилетел, что ты жил несколько дней у Колонтаевых, а потом пропал. Он спрашивал — не знаю ли я где ты?

— Что ты ответил?

— Правду. Что я никаких от тебя вестей не имею, что на тебя обижен. Я и сейчас обижен. Ты меня даже не поцеловал!

Антон поднялся из кресла, наклонился к Стасику и поцеловал брата в щеку. На его губах остался привкус пудры, крема, духов. Только — не кожи. Антон вернулся в кресло. Украдкой, быстро вытер губы тыльной стороной руки.

— Что это был за человек? — спросил он.

— Неприятный. От него пахло шерстью. И он сидел так широко раздвинув ноги. Мне кажется это неприличным. Я хотел от него поскорее избавиться, но он все задавал вопросы...

— Откуда он?

— Не догадываешься? Антоша, милый мой! Зачем ты во все это ввязался?

— Ты про Катушищева? А я ни во что не ввязывался. Я не имею к его смерти никакого отношения. Я был с ним знаком, не более того. Он иногда давал мне мелкие поручения. Он попросил меня раздобыть для него кое-какую информацию, я для этого был вынужден поехать сюда, чего мне делать совсем не хотелось, но он заплатил мне небольшую сумму, обещал вознаграждение, но теперь я ничего уже, конечно, не получу. Разве только неприятности. Причем если я вернусь в Англию, то...

— Не возвращайся! — Стасик впервые повернулся лицом к Антону, но в глаза он не смотрел. — Оставайся! Мне так тебя здесь недостает! Оставайся! Останешься?

— Останусь...

— Обещаешь?

— Обещаю...

Они помолчали. Далеко, ритмично, глухо молотила ритм-секция. Пахло чуть подгоревшим растительным маслом, индийскими благовониями. Обрезчиков подумал, что все-таки надо бы поесть. Ему захотелось яичницы с колбасой. Чаю. Мягкого белого хлеба с маслом.

— Сказать, чтобы тебе что-нибудь принесли? — спросил Стасик. — У нас хорошая кухня. Хочешь сифуд? Устрицы? Или — мясо?

— Я не голоден, — Антон сунул руку в карман, вытащил маленький пакетик. — Давай дорожку раскатаем. По старой памяти.

Стасик быстро наклонился вперед, выхватил пакетик из рук Антона.

— Ты с ума сошел! Им тебя только с этим взять, остальное дело техники! Откуда?

— От верблюда!

Стасик засмеялся. Его верхняя губа поднялась к самому основанию тонкого носа, обнажились ярко-красные десны, длинные, очень белые зубы. Он смеялся отрывисто, будто кашлял. Резко оборвал смех, раскрыл пакетик, понюхал содержимое, смочил слюной палец, сунул в пакетик, потом палец облизал.

— Палево! — сказал Стасик. — Сколько ты отдал?

— Чепуха, — Антон махнул рукой, достал сигареты, закурил.

— И сигареты у тебя какие вонючие! — Стасик поморщился. — Что он просил тебя узнать?

— Кто?

— Катушищев.

— Да, собственно, не узнать, а достать для него папку с чертежами.

— Какими?

— Да лет десять-пятнадцать тому назад в одной ближневосточной стране наши строили один объект, недостроили, потом в этой стране началась гражданская война, потом туда вошли международные миротворческие силы. Вот Катушищеву и понадобились чертежи. Он тогда курировал этот объект, по линии то ли безопасности, то ли по линии разведки. Я не знаю. Он мне говорил, что был очень хороший, даже уникальный с архитектурной точки зрения проект, и он хотел...

— Ты ему поверил?

— Нет, конечно. И он это понял. И решил сказать мне правду. Знаешь — гэбистов иногда тянет к правде. И правда была в том, что в каких-то цифрах на этих чертежах зашифрован код для банковской ячейки. А в ячейке — все радости мира. Они мне не нужны. Мне все равно, за что братья, лишь бы выскочить. Выскочить из

круга. Знаешь, Стас, неприятно понимать, что знаешь, как и что надо, а все равно быть в полете.

Стасик улыбнулся.

— Да, у меня все наоборот. Я не знаю, что и как надо, но у меня все прекрасно.

— Мы никогда с тобой не были похожими...

— Это точно. Ну, ты достал папку с чертежами?

— Нет. Но знаю, где она лежит.

— Где?

— В доме Андрея Ивановича Колонтаева, в кабинете, в шкафу, как войдешь в кабинет — второй шкаф справа. Но теперь она уже Катушищеву не нужна, эта папка. К тому же я был не один, кто знал про папку с чертежами. В дом Колонтаева кто-то пытался залезть раньше меня. Правда, эти кто-то папку не нашли, но мне, чтобы вырваться из круга, все равно надо вновь что-то придумывать. Хорошо еще у меня есть обратный билет, да и деньги кое-какие остались, из тех, что мне выплатил Катушищев в качестве аванса.

— Колонтаев, Колонтаев... — проговорил задумчиво Стасик. — Знакомая фамилия, — он звонко щелкнул пальцами. — Архитектор?

— Да...

— Он строил особняк хозяину клуба да другу моего друга — тоже.

Они помолчали.

— Ты сегодня поедешь к папе с мамой?

— А ты?

— Если ты поедешь, то я поеду тоже. Папа на меня сердит. Ты послужишь громоотводом.

— Сердит? Все еще сердит?

— Ой, не надо об этом! — Стасик растопырил пальцы, осмотрел ногти, остался доволен.

— Так все-таки сказать, чтобы тебе принесли поесть? — спросил он.

— Я не голоден, — повторил Антон.

3.

За Антоном захлопнулась дверь, Анна с трудом сделала пару шагов и опустилась на стул. Она сидела в коридоре, между кухней и гостиной, ссутулившись, широко расставив ноги, опустив локти на бедра. Пахло пряностями, уксусом, чем-то горьковатым, откуда-то доносились странные пощелкивания, далеко у соседей играла музыка, окна и в гостиной, и в кухне были черными, везде горел яркий свет. Она вспомнила, как ей было хорошо ночью, и от мысли о том, что уже никогда, никогда больше ей так хорошо не будет, у нее запершило в горле. Ей захотелось сползти со стула на пол, лечь, поджать колени к животу, обхватить руками ноги и заснуть. Потом она вспомнила, что, открывая дверь, больше всего хотела броситься Антону на шею, подпрыгнуть, обхватить его ногами.

Наконец, найдя в себе силы, она поднялась со стула, начала раздеваться, скидывая одежду и белье на стул, шлепая босыми ногами, пошла в туалет, потом — в ванную, открыла было воду, чтобы ванну наполнить, решила ограничиться душем, взглянула на свое, слегка затуманенное отражение. Какое бледное лицо!

Она съела тарелку вареного, уже начавшего остывать, обильно политого соевым соусом риса. В левой, судорожно сжатой руке Анна держала кусок черного хлеба. Ела ложкой и со звяканьем бросала ее рядом с тарелкой, чтобы вытащить из упаковки полоску бекона, запивала рис, бекон и хлеб белым, купленным Антоном вином. Она ненавидела бекон, держала его на тот случай, если Петр останется ночевать и его надо будет утром накормить яичницей. Когда он последний раз у нее оставался? Давно, очень давно. Она смотрела на лежащих в пароварке рыб и боролась с желанием смахнуть пароварку со стола. Вино было для нее слишком холодным, но она выпила одну бутылку, откупорила и вторую, захватила с собой вино и бокал, села в гостиную на диван перед телевизором. Пока вино не было выпито, она переключалась с канала на канал, поглядывая на белесое пятно на обивке дивана,

след, оставленный Антоном, неожиданно для себя самой наклонилась и лизнула пятно.

Потом безуспешно пыталась заснуть.

Когда это ей удавалось, она смотрела один и тот же сон, словно телесериал, продолжающийся после каждого короткого пробуждения. В этом сне она вела переговоры с автором, приславшим ей несколько коротких повестей. Повести были написаны просто, незатейливо, она их читала с удовольствием, но ее не оставляло чувство, что их она уже прежде читала. Автор писал ей письма, не через Интернет, а на бумаге, причем — от руки, и в этих письмах просил ее сделать так, чтобы повести попали к благосклонному цензору. Цензору? Она не понимала — о чем идет речь, а потом вдруг поняла, что короткие повести — это пушкинские повести Белкина, ответила автору, что, мол, не хорошо выдавать чужое за свое, но автор возмутился, написал, что он и есть Пушкин, что это он написал и никогда ни у кого ничего не заимствовал.

Тут Анна проснулась окончательно. Белесая ночь сидела на подоконнике. От бекона болел желудок. Она попила холодного чаю, зажгла свет, подошла к книжной полке, достала томик Пушкина и, пока не просигналил будильник, читала.

Звонок Петра Ивановича застал Анну в машине.

— Это я, — сказали в трубке.

Знакомый голос! Она взглянула на дисплей. А номер незнакомый! Неужели Петя?! Бедный Петя, боится, что она не будет с ним разговаривать, если он позвонит со своего телефона? Купил новую карточку? Взял у кого-то телефон? Инфантил! Она поморщилась. И эта вежливость! Корректность.

— Ты меня не беспокоишь, — она положила трубку на левое плечо, прижала ее щекой, чуть газанула, чертовы дворники сбросили с ветрового стекла очередную порцию мокрого грязного снега — и Анна увидела, что ее несет прямо в приподнятую задницу темно-вишневого «Мерседеса».

— Ненавижу! — сказала она сквозь зубы. — Нет, это я не тебе...

Петр Иванович разыскивал Антона для его же, Антона, блага. Вот как! Альтруист! А она думала, чтобы вызвать на дуэль. Это было бы в стиле Петра Ивановича, немного манерно только. Нет, она не знает, где может быть Антон и почему, собственно, она должна знать? А Петр Иванович только предполагал, что она в курсе. Нет, она не в курсе. И просит оставить ее в покое, потому что сейчас она в кого-нибудь въедет. Да, она едет на работу, у нее, между прочим, есть работа, есть люди, которые от нее зависят, и она не собирается... Вот-вот, до свиданья!

Она дала трубке соскользнуть вниз, подхватила ее, закрыла, бросила на сиденье. На ощупь присоединила наушник к телефону, вставила наушник в ухо, положила телефон на колени, раскрыла. И вспомнила, что ей надо уходить с Садового на Малую Дмитровку. Она включила поворотник и начала перестраиваться. Сзади засигналили. Она подняла правую руку, намереваясь помахать нетерпеливому водителю, но задела провод, и наушник выскочил из уха. Она вставила наушник, резко повернула вправо. Плевать на всех!

Теперь она сидела в пробке. Гудела печка, дворники сбрасывали со стекла снежную жидкую кашу. Анна взяла правой рукой трубку, раскрыла, нажала кнопку быстрого набора.

— Катя? Ты как? Ты куда-то пропала, — сказала она, когда ответила ее младшая сестра.

— Нет, я не пропадала, я в галерее, работаю.

— Ты там одна?

— Да, одна. Люба с кем-то завтракает, Лена приболела.

— А Иван? Вы не поссорились, надеюсь?

— Нет. Почему ты спрашиваешь?

— Он тоже Колонтаев. Странная семейка. Если у вас будет что-то серьезное, то придется с ними общаться. А мне уже не хочется. Я уже переобщалась.

— Серьезное — это я выйду за него замуж? Ну нет, во всяком случае, не сейчас. Пройдет время, ты успокоишься насчет Колонтаевых, помиришься со своим Петром Ивановичем...

— Это, Катя, не твое дело! Я как-нибудь сама разберусь.

— Ладно, ладно, разбирайся, — Анне показалось, что Катя насмешливо хмыкнула. — У меня своих дел достаточно.

— Это каких же, позволь узнать?

— Иван предлагает поехать в Дарфур вместе с ним. Он сказал, что может это устроить. Он поговорит с кем надо в Лондоне, а здесь у его бабушки есть знакомый, старый гэбэшник, человек со связями...

— Впервые об этом слышу! Дарфур! Где это? Что это?

— Это провинция в Судане. Там гуманитарная катастрофа, туда едет Иван, как фотограф и как сотрудник гуманитарной миссии.

— Но ты же ничего не умеешь! У тебя незаконченное образование, ты даже перевязать палец не сможешь! Ты вообще представляешь, о чем ты говоришь!

— Да представляю я все, Аня! И палец я смогу перевязать, и не только палец...

— Вот именно! Ты что, с ума сошла?!

— А, вот и Люба... — сказала Катя после небольшой паузы.

— Катя! — Анна понимала, что сказала лишнее, что времена, когда она могла вертеть своей младшей сестрой постепенно проходят. — Катя!

— Да, я слушаю.

— Катя! Давай встретимся, поговорим. Сегодня. Я тебе позвоню ближе к вечеру.

— Хорошо, только мы с Иваном собирались...

— Ну, постарайся найти время для своей старшей и, надеюсь, пока еще любимой сестры. Я могу некоторое время побыть с вами, в каком-нибудь кафе. У меня вечером вновь встреча с Вольфгангом, вот мы...

— Хорошо, созвонимся, — тихо, без воодушевления ответила Катя.

— Да, и еще... У меня для тебя есть очень хорошие сапожки. Мне они оказались маловаты. У тебя же такие ножки, Катя. Ты сделала маникюр? Помнишь я тебе давала телефон?

— Нет...

— Тебе обязательно надо делать маникюр! У тебя все-таки крупноватые руки и...

— Аня, пока! Люба хочет со мной поговорить.

— Я тебе позвоню!

— Звони, звони!

Она закрыла трубку, и тут пробка начала рассасываться. Она воткнула скорость, отпустила сцепление. Сапожки и в самом деле были отличные. Какая-то неизвестная фирма, сделано в Мексике, легкие, не на зиму, конечно, но на Катиной ноге они будут смотреться. Дарфур! Вместо того чтобы поехать в Лондон, чтобы жить в центре мира, ехать в какую-то дыру, где умирают дети, где наверняка стреляют, где можно подцепить заразу. Что происходит с ее младшей сестрой? У нее в голове не тараканы даже, а черт знает что!

Она взглянула в зеркало заднего вида, включила поворотник и все-таки налетела на идущую впереди машину. На все тот же темно-вишневый «Мерседес» с приподнятым задом. «Мерседес» замигал аварийкой, Анна заглушила двигатель, дернула ручник, отстегнула ремень, вытащила из уха наушник, выскочила из машины.

— Вы специально затормозили, — начала она говорить и осеклась: перед ней стоял худой, в черной куртке и черной шапочке, типичный уголовник. Он помахал перед лицом Анны рукой. Она увидела на его пальцах темно-синие вытатуированные перстни.

— Мадама, у вас со зрением как? Вот, вот-вот... — татуированная рука указала на задний бампер «Мерседеса», на бампере была небольшая вмятина. — Там у меня датчики, парктроник, другие разные. Мадама, полторы и разбежались. Иначе... Ну не нужны тебе неприятности, да? — уголовник приблизился к Анне, она отступила на полшага и почувствовала, что наступила кому-то на ногу.

«Все! — подумала Анна. — Его приятели обошли машину, встали за мной. Мне — конец! Сейчас дадут по голове, запихнут в машину, увезут... И никто не придет на помощь, центр города, рабочий день, никто!»

Тот, кому она наступила на ногу, мягко отодвинул Анну и выступил вперед, навстречу уголовнику. Анна оглянулась — сзади подошли двое, второй, среднего

роста мужчины, ободряюще ей улыбался. Она быстро улыбнулась в ответ, открыла дверцу своей машины, собираясь взять телефон, но второй мягко взял ее за плечо.

— Не надо куда звонить! — сказал он.

Первый же что-то тихо говорил уголовнику.

— Что происходит? — спросила Анна второго. — Вы кто? Что все это значит?

— Не волнуйтесь, Анна Сергеевна. Ничего страшного не произошло. Сейчас все решится, все будет в порядке.

— Откуда вы знаете, как меня зовут? — спросила Анна.

Второй спокойно, с чувством превосходства, улыбнулся.

4.

Василий Романович мыл руки. Руки его были большими, сильными, пальцы — несколько утолщенными на кончиках. Василий Романович легко приседал сто пятьдесят раз, отжимался пятьдесят, подтягивался тридцать. Никаких проблем с сердцем, печенью, почками. Иногда болела голова. От переутомления. Но стоило пройтись по свежему воздуху, стоило просто выйти на крыльцо дома и вдохнуть полной грудью, как боль проходила. И он надеялся умереть нескоро, быстро, безболезненно. Он намыливал руки жидким швейцарским мылом. Подарок пациента. Мыло придавало рукам легкость, руки пахли горько, нотки пачулей, свежего морского воздуха. А основа — сперма элитных хряков. Василий Романович собирался спуститься к позднему ужину. В это время он уже обычно ничего не ел, но решил, что позволит положить себе на тарелку немного рыбы, салат, налить немного белого вина. Ему не хотелось разбивать компанию. Свою семью семьей он назвать не мог. Компания — наиболее подходящее слово. Люди, использующие друг друга и не боящиеся в этом признаться.

Василий Романович смыл пену струей горячей воды, перекинул рычаг, сполоснул руки холодной. Понюхал. Да, пачули. Надо забрать пару бутылочек в клинику, чтобы там пахнуть спермой хряка. Все женщины — его! Впрочем, они и так его. Стоит ему только захотеть. Василий Романович подумал о своей старшей медицинской сестре и усмехнулся. Он вытащил ее из болота районной больницы. Дал возможность — и не только в России! — повысить квалификацию. Несколько раз утешал, когда у нее были нелады с мужем, потом — с сыном. Она зарабатывает у него в клинике большие деньги. Купила квартиру. Купила квартиру сыну. Им, Василием Романовичем, все пользуются. Он страшно одинок. Его жена — выжившая из ума эгоистка. Его старший сын — беспардонный эгоист. Его младший сын — эгоист утонченный, погруженный в себя. К тому же — педераст. Василий Романович сплюнул в раковину, смыл плевков, вытер руки. Ну-с, можно и поужинать!

Он вошел в столовую. Еле заметным кивком приветствовал Станислава. Заметил, что Любовь Дмитриевна сложила губы в морщинистую точку. Повернулся к Антону. Тот как раз тянулся к бутылке с водой. У старшего сына, видите ли, жажда! Ну что ж, хоть поднялся, видно, что с неохотой, но и на том спасибо.

— Здравствуй, сын! — Василий Романович раскрыл объятия.

Антон отодвинул стул, обнял отца.

— Здравствуй, папа!

— Рад тебя видеть! — сказал Василий Романович. — Лучше поздно, чем никогда. Ты даже и не догадаешься, кто сообщил мне о твоём прибытии в пределы Отечества. Не догадаешься!

Он оставил старшего сына, обошел стол, поцеловал Любовь Дмитриевну в голову, сел на свое место напротив жены, слева — Стасик, справа — Антон. Идиллия!

— Кто?

— Одна звезда шоу-бизнеса. Нашего, конечно. Она летела с тобой в одном самолете. У нее в Амстердаме то ли брат, то ли муж... Одним словом — любит голландский сыр.

— Да уж, — Антон пожал плечами. — Я бы, конечно, не догадался. Твоя пациентка?

— Будущая. Будем работать с ее ягодицами. Она своими ягодицами недоволь-

на. Она все пела соло, теперь из провинции ей привезли молодого, голосистого, от которого девчонки сходят с ума, она будет с ним петь дуэтом, у молодого ягодыцы налитые, каменные, вот она и хочет себе такие же.

— Во всем должна быть естественность, — сказал Стасик.

— Ты считаешь? Возможно. Но ничего противоестественного в том, чтобы сделать стареющей поп-диве новую задницу, я не вижу. А ты, Антон?

В ожидании ответа старшего сына Василий Романович положил себе на тарелку большой кусок рыбы.

— Я с тобой согласен, папа, — сказал Антон. — Сделай то, что она просит. Клиент всегда прав.

Василий Романович пристально посмотрел на него. Антон выдержал взгляд отца и улыбнулся.

— Налей, Стасик! — скомандовал Василий Романович и отвел взгляд.

Вино лилось в его бокал легкой, пузырящейся струей. У Стасика, несмотря на тоненькие ручки, хватка была твердая, наливал всегда точно, аккуратно. Стасик налил и Любви Дмитриевне, передал бутылку брату.

— Ты не хочешь поухаживать за Антоном? — спросил Василий Романович, подцепляя вилкой кусочек рыбы.

— Извините! — Стасик в улыбке показал свои белоснежные зубки, забрал у Антона бутылку, наполнил его бокал.

— За встречу! За семью! — Василий Романович поднял бокал. Посмотрел на Антона, посмотрел на Стасика, на жену. — На здоровье!

И отпил несколько маленьких глотков. Любовь Дмитриевна только поднесла бокал ко рту и поставила на стол.

— Кого ты видел, Антон? — спросил Василий Романович, ставя бокал на стол, вновь беря вилку. — Что люди?

Антон выпил бокал до дна.

— Знаешь, папа, один умный человек, очень много лет назад, сидел в таверне и ел разнообразные блюда из мяса.

— Он не заботился о своем здоровье? — кладя в рот листочек салата, перебила Любовь Дмитриевна. — Мясо же вредно!

— Это было давно, мама, когда еще не получили последние данные из лаборатории. Так вот... Он ел, ел, а потом позвал владельца таверны и спросил его — мясо каких животных ему подавали? И владелец ответил, что все мясо было свиной, только по-разному приготовленной.

— Свиная! — Любовь Дмитриевна передернула плечами. — Живой холестерин!

— И что? — Василий Романович посмотрел на Антона. — Это притча?

— Еще нет. Это становится притчей после того, как этот человек вышел из таверны на улицу, увидел толпы людей и понял, что вот эти люди, они якобы разные, но по сути — та же свинина.

Стасик засмеялся. Любовь Дмитриевна поморщилась.

— Грубовато, — сказала она.

— Да нет, — не согласился Василий Романович. — Кажется, в точку и даже — мягко. Что вы не пьете?

— Мы пьем, — сказал Стасик, наполнил бокал Антона, повернулся к отцу.

— Мне достаточно. Маме.

— Мне не хочется, — сказала Любовь Дмитриевна. — Ты знаешь, Вася, у Антона в Лондоне есть девушка.

— Ты по-прежнему занимаешься чепухой? — словно не слыша жену, Василий Романович посмотрел на сына и криво усмехнулся. — Когда-то...

— Ты же не возьмешь меня в ассистенты! — Антон смотрел на свой бокал. — А чепуха требует много времени.

— Это ты нас готовишь к тому, что приехал на часок?

— Ну, если ты так говоришь, — Антон взялся за ножку бокала. — За тебя, папа!

— Спасибо!

Уже глубокой ночью Стасик и Антон ехали в Москву. Маленькие ладони Стасика упирались в рулевое колесо, но его унизанные кольцами пальцы были расставлены.

Он поминутно переводил взгляд с бегущей навстречу дороги на свои пальцы и любовался блеском камней.

— Странно, что ты не остался, — сказал Стасик. — Куда ты теперь?

— Я же говорил — звонил Иван, с его бабушкой плохо.

— Какое тебе дело до бабушки какого-то Ивана? Все-таки папа и мама...

— Им-то до меня дела нет никакого, — хмыкнул Антон. — А бабушка Ивана просила передать, что хочет меня видеть. Это прелюбопытная старуха. Знает наизусть Достоевского.

— Это большое достоинство.

— А почему не остался ты?

— Я приеду утром. После закрытия клуба.

— Ну, значит, подхватишь меня. Позавтракаем. А потом поедем.

— Отца уже не будет. Мать уедет на свои процедуры.

— И хорошо. Никто не помешает мне выспаться.

— Ты совсем ничего не ел, — сказал Стасик.

— Я не голоден, — ответил Антон.

Они доехали до клуба, Стасик въехал в проулок и отстегнул ремень.

— Зайдешь со мной? — спросил он.

Антон отрицательно покачал головой.

— А, я забыл! Тебя ждут! Передавай привет.

— Обязательно! Кстати, куда ты подевал пакетик с тем палевом?

— В унитаз спустил.

— Сто фунтов.

Стасик сунул руку в карман своей замшевой куртки.

— На вот, — он протянул Антону деньги. — Здесь триста баксов. Только если хочешь что-то взять, не делай этого возле клуба. Тут одни утки, мне потом придется тебя вытаскивать.

Антон посмотрел на свернутые в трубочку банкноты, усмехнулся.

— Мне следовало бы дать тебе по морде, — сказал он, — но с синяком ты будешь плохо смотреться.

— Извини, — Стасик спрятал деньги. — Извини. Когда ты позвонишь?

— Утром.

— Буду ждать...

Стасик протянул брату руку. Антон пожал ее, Стасик жалобно ойкнул.

Они вышли из машины, Антон пошел по направлению к улице.

— Тошка! — крикнул ему вслед Стасик.

Антон, не оборачиваясь, высоко поднял правую руку, резко ее опустил, свернул за угол. Черные, блестящие в лучах ярких фонарей машины стояли на стоянке. Охранник клуба чернел под козырьком подъезда. Антон замедлил шаг, и тут же к нему подскочил невысокий усатый человек.

— Куда? Отвезу!

Обрезчиков кивнул, вслед за усатым направился к маленькой, с затемненными стеклами машине.

— Куда? — повторил усатый, когда оба они захлопнули дверцы.

— Прямо!

По дороге он несколько раз порывался набрать номер Анны. И каждый раз отменял вызов. Наконец он перехватил трубку в левую руку, опустил ее в левый карман куртки и нащупал другой пакетик, тоже купленный на бульваре, только побольше того, который Стасик спустил в унитаз. Пакетик был с ним, пакетик был полон. Надо было только купить шприц, пару ампул физраствора, стерильную ватку, а уж столовую, глубокую ложку он найдет.

Они летели по широкому проспекту. На тротуарах не было ни одного человека. Машины шли плотным потоком. Обрезчиков скосил глаза вправо и встретился взглядом с пассажиром ехавшей рядом с ними машины. Это был мальчик, перевозимый от бабушки к бабушке мальчик, расплющивший нос о стекло, с остановившимся взглядом. Обрезчикову захотелось забить себе нос порошком из пакетика прямо тут, в

этой раздолбанной «девятке». Хотелось, так же как мальчик, расплющить нос о стекло. И таким же взглядом провожать проносящиеся мимо машины.

Он попросил остановиться за несколько домов от дома Анны. Расплатился. Огляделся. Кажется — никого, вымершая улица, только припаркованные автомобили. Мигающий желтый свет светофора. Он пошел в противоположном от дома Анны направлении. Сделал круг. Вернулся. Подошел к двери ее подъезда. Нажал кнопки на домофоне.

— Это ты? — почти тут же ответила на вызов Анна, так, словно сидела в прихожей, ожидая его прихода.

— Я, — ответил Обрезчиков.

Дверь зажужжала, он взялся за ручку и потянул на себя. Потом закрыл. Вновь нажал кнопки на домофоне.

— Не открылась? — спросила Анна.

— Помнишь кафе, где мы встретились в первый раз?

— Да...

— Оно круглосуточное. Через полчаса. Приезжай на машине.

До кафе было как раз полчаса пешком. Ему хотелось продышаться. Он скользил на покрытых льдом тротуарах. Катушищев убеждал его, что ничего сложного делать не придется. И признавался, что хочет, получив деньги со счета, исчезнуть вместе с семьей. Раствориться. Поменять имя, внешность. Убеждал, что больше никаких дел не ведет, ни с кем не встречается, не созванивается, что в руках Обрезчикова и его, Катушищева, будущее, и будущее самого Обрезчикова.

Обрезчиков повернул за угол. И пошел дальше.

Но Катушищев врал. Ему нельзя было верить, нельзя было покупать на его обещания, а Обрезчиков купился. Легкие деньги, возможность расплатиться с долгами, перестать жить за чужой счет.

Проверяя его надежность, Катушищев дал Обрезчикову поручение слетать в Италию, в Неаполь. Передать из рук в руки письмо и деньги бывшему своему подчиненному. В аэропорту Обрезчиков назвал адрес таксисту, тот удивленно вскинул брови.

— Я высажу вас возле этого квартала. Внутрь не заеду. Там опасно!

Обрезчиков тогда шел по узким, грязным улицам, над его головой висело на веревках белье, пахло сыростью, подгоревшим маслом, отбросами. Встреченные по пути смотрели на него удивленно. Он сам, никого не спрашивая, нашел нужный дом. Постучался в облезлую дверь. Долго никто не открывал, потом появилась женщина в черном, засаленном платье, с белой несвежей кожей, плоскостопная, с массивными руками. Она никак не хотела понять, кого разыскивает Обрезчиков. Наконец отступила в сторону, дала Обрезчикову войти, пошла впереди него по широкой, с выщербленными ступенями лестнице, на площадке третьего этажа остановилась у облезлой двери, показала на дверь пальцем, осталась стоять сложив руки на груди.

Обрезчиков нажал кнопку звонка. Ему открыл худой человек, коротко стриженный, с залысинами, в когда-то белой майке, джинсах и босой.

— Давай, — по-русски сказал этот человек и протянул руку.

Обрезчиков отдал письмо и перехваченные резинкой банкноты.

Человек тут же закрыл дверь.

Обрезчиков обернулся, посмотрел на все так же, со сложенными на груди руками, стоявшую женщину.

Ему не надо было возвращаться в Лондон. Не надо было потом соглашаться на поручение Катушищева.

Он поскользнулся в очередной раз.

«Чепуха! — подумал Обрезчиков. — Чепуха! Все будет отлично! Отлично все будет!»

5.

Когда с моим организмом что-то делают, мне всегда становится интересно. Я люблю медицинские манипуляции. С детства. Люди в белых халатах. При их появле-

нии я никогда не ревела, не то, что некоторые. Мне даже нравилось сидеть в кресле зубного врача. Я никогда не боялась бормашины. Любопытство побеждало боль. Ощущение, когда тебе запихивают за щеку ватные тампоны, ни с чем не сравнимо. Эти пальцы, этот запах эфира. Может быть, поэтому мои зубы всегда оставались отличными. Зубик к зубику. Идеальная улыбка сумасшедшей, несчастной женщины. А потом время пришло, и я увидела, что такое современная медицина. Какой скачок от ременного привода до ультразвукового бура! Мне нравится по всяким приспособлениям, иглам, приборам наблюдать прогресс цивилизации. Скоро я буду — если только доживу! — совать палец в прорезь еще какого-нибудь прибора, и на экране будет воспроизводиться картина моей старческой крови. И от понимания того, что все прогрессивное человечество работает на поддержание моего здоровья, для того, чтобы поставить мне правильный диагноз, жизненные мои силы возрастают, настроение улучшается. Я чувствую себя бодрее. Как сейчас, когда врач еще не успел вытащить иглу из моей опавшей вены, а я уже готова встать. Даже попыталась приподняться, но врач неумолим. Он упирается мне в грудь, прижимает к постели, шутит, говорит все приличествующие банальности и глупости. Мол, я всех еще переживу. На моем лице расплзается скептическая улыбка. Это врачу не нравится, он выбирает еще одну ампулу, собираясь сделать укол успокоительного. Откуда он взял, что я стремлюсь к смерти? Мне здесь все нравится. Ничто и никто меня не раздражает.

Ну, разве что Юлечка. Она металась между мной и Митенькой так, словно мой спокойно спавший после кормления маленький внучок тоже вдруг заболел. Носилась по всему дому. Спрашивала врача — не опасно ли мое состояние? Мое состояние, Юлечка, опасно, оно называется — старость, причем старость глубокая. Ей еще предстоит понять, что это такое. Ничего, она справится.

Врач вколол мне нечто, отправившее в самое настоящее плавание. Я поплыла куда-то, на лодке, по тихой, полноводной реке. Меня понесло, без руля и весел. По берегу бежал мой неверный муж Ваня. Что-то кричал и махал мне руками. Хотел о чем-то предупредить. Но я его не слушала. Он ведь давно умер. Не в моих правилах разговаривать с умершими. И слушать я их не хочу. Пусть они и ходят по твердой земле, пусть я, еще живая, болтаюсь по воде, но у меня своя жизнь, а у них ни жизни нет, ни ясного, узнаваемого облика.

Потом я очнулась и увидела перед собой другого Ваню, уже — наяву, внука.

— Как ты себя чувствуешь, бабушка? — спросил Ваня.

— Спасибо, плохо, — ответила я и попросила его помочь мне дойти до туалета: в докторском коктейле было еще и мочегонное. Этого, впрочем, следовало ожидать.

Во рту у меня было так сухо, что язык приклеивался к небу. Поэтому Ваня меня сначала и не понял: я издавала какие-то несурзные звуки, он смотрел на меня с совершенно потеряннм видом. Хорошо, я догадалась кивнуть на стоявший на тумбочке у кровати стакан с водой.

Ваня поднес стакан к моим губам. Мои вставные зубы стучали о край стакана. Ванина рука дрогнула, и часть воды пролилась мне на грудь. Отвратительное ощущение!

Я повторила свою просьбу.

— Сейчас, я позову Юлю! — сказал Ваня, бросился вон из комнаты, но вернулся не с Юлечкой, а с какой-то девушкой — я уже спустила на пол ноги, уже сама начала нащупывать тапочки, — смуглой, темно-русые волосы уложены ровно, большие, темные, глубокие глаза, милая улыбка, с первого взгляда — застенчивая, но глядела забавно-сурово, немного церемонно.

— Здравствуйте, Галина Федоровна, — сказала она торжественно.

— Здравствуй... — я пыталась отклеить прилипшую к груди мокрую рубашку. — Ты кто?

— Я — Катя! — ответила девушка. — Обопритесь на меня.

Вот она какая, оказывается, сестра у Петькиной Анны! Никогда не скажешь, что сестры. Анна — большая кошка, тянущаяся за лаской, готовая оцарапать, эта — лисонька, шмыг меж кустиками. Все лучше, чем такая, как крольчиха Юлечка, все лучше.

— Катя? Катя! А где Юля?

— Она кормит Митю.

— Бабушка! — встрял Ваня. — Давай мы тебя с двух сторон... Папа сейчас придет. Почему ты отказалась от больницы?

— Я отказалась? А мне предлагали? Да? Это тебе Юля сказала? Ну, по глупости отказалась. Да потом у врача не было транспорта, надо было вызывать «скорую». Еще успеем...

Я встала и что-то внутри меня хрустнуло. Оба они даже отпрянули от испуга.

— Это мой хребет, — сказала я. — Он у меня музыкальный. Вы что, специально приехали?

— Да, конечно, — подхватывая меня, сказал Ваня. — Папа позвонил, сказал, что тебе плохо...

— Но сам приехать не может, у него переговоры с клиентами...

— Нет, — Ваня от обиды за отца чуть меня не отпустил. — Нет! Что ты! Он едет...

— Ты ему уже звонил? Говорил, что я сплю? Что доктор уже уехал?

Какой же Ваня простодушный! Лисонька его сгрызет. Или придушит и утащит в норку.

— Звонил. Говорил.

Совместными усилиями мы двигались к двери в мою ванную комнату.

— И он?

— Просил держать его в курсе.

— Держи. Держи папу в курсе.

Мы подошли к двери, Ваня открыл ее и зажег свет.

— Ну, дальше я сама, — сказала я и перенесла правую ногу через порожек.

Это мне удалось. Я потащила за собой левую ногу и встала двумя ногами на кафельный пол.

— Свет!

Ваня зажег в ванной свет.

— Дверь!

Он закрыл дверь.

Ишь ты! Катя!

Неприятно знакомиться с девушкой своего внука по пути в туалет, неприятно, что на мне болтается мокрая ночная рубашка, что я встrepанная и от меня попахивает разложением еще сильнее, чем обычно. Настолько неприятно, что я становлюсь почти грубой, этаким дурной старухой. Ничего, пусть немного посуетятся. Вот когда не смогу самостоятельно сесть на унитаз, то выпью яду. Ну, это понятно, только слова, у меня решимости не хватит, да и яду нет. О яде надо было позаботиться раньше. Теперь мне его уже не достать. И я не индийский йог, способный просто перестать дышать тогда, когда жизнь становится ему в тягость.

В короткий промежуток времени, когда я прогнала Юлечку вниз ждать врача — мне в конце концов надоели ее озабоченные взгляды, — позвонил Артемий. И сказал, будто только что разговаривал с Ваней. То ли от давления, то ли от предчувствия будущего сна я не нашла ничего лучшего, чем вскрикнуть:

— Так он же умер!

— Ты совсем с ума сошла! — гаркнул по-командному Артемий. — Я с внуком твоим разговаривал. С внуком!

— Да ты что! — изумилась я. — Он тебе звонил? Зачем?

Я и не знала, что у Вани есть телефон Артемия. Впрочем, найти его не проблема. Спросил у Андрюши или у Петра. Другое было странно — Ваня в последние годы всячески выказывал презрение к артемиям. Юношеский максимализм. Белое-черное. Считал себя принадлежащим к другому миру. Эх, внучок, внучок! Мир один, многослойный — это да, но надежда на некий свой мир — глупость. Я вот надеялась, надежды прошли, вместе с ними — жизнь.

— А затем, что спрашивал, можно ли сделать так, чтобы его подружку зачислить в бригаду медиков, которые едут в Африку.

— Подружку? В Африку? Я ничего не понимаю, Артемий!

— И я не понимаю. У него появилась подружка, он сам едет в Дарфур, вернется

в Лондон и оттуда едет. И он хочет, чтобы она поехала с ним, а как это сделать — не знает.

— И что ты ему ответил?

— Что если бы они были муж и жена, то тогда те, кто его посылает в Дарфур из Англии, пойдут ему навстречу. А от нас, кажется, никто туда не едет. Вот от Украины...

— Что — от Украины?

— Ну, если бы она была гражданкой Украины, то от Украины туда едут миротворцы. Кажется... Одним словом, я ничем ему помочь не могу, но обещал...

— Обещал — что?

— Обещал узнать.

— Ты это серьезно?

— Что — серьезно?

— Обещал.

— Ну, конечно. Связи все-таки остались. Как-никак. А ты что, Галя, так тяжело языком ворочаешь?

— У меня давление за двести. Врач вот должен приехать. С лестницы упала.

— Правда?

Да, не любит Артемий про чужое слушать. Ему это вредно. Слышно было, как он чмокает губами. Потом покашливает.

— Ты береги себя, Галя. Не нервничай. А Ванька хороший парень, уважительный.

Тут я услышала, что хлопнула входная дверь и доктор громко прокашлялся. Он, насколько я помню, когда-то хотел быть оперным певцом, берег голос. И повесила трубку.

Вот теперь телефон звонит вновь. Я сижу на унитазе и слушаю, как он звонит. Потом Ваня берет трубку.

— Да? — слышу я его голос. — Да, Артемий Филиппович! Нет, с бабушкой все хорошо, она в ванной. Передам. Нет, лучше. Да. Хорошо.

Я спускаю воду. Поворачиваю голову и вижу свое отражение в большом зеркале. Сама просила Андрюшу повесить мне большое зеркало. Не знаю — зачем?

В зеркале я вижу худую старуху с тощими кривыми ногами. Я и не знала, что у меня кривые ноги. Прежде на них было мясо, оно скрывало кривизну кости. Теперь мясо куда-то подевалось. И колени огромные. Зачем мне такое большое зеркало? Мне не нужно такое зеркало. Достаточно маленького, над раковиной.

Я высмаркиваюсь. В моих соплях кровяные прожилки. Это хорошо или плохо? Я смываю сопли, смотрю на свое отражение в маленьком зеркале. Жуткое зрелище!

Выхожу. Это получается неплохо, но лишь только я делаю несколько шагов по комнате, силы меня оставляют, я начинаю заваливаться на бок, но чьи-то руки приходят на помощь.

— Мама! Мама! Ты меня слышишь?

Меня поднимают на руки и несут к кровати. С ног сваливаются тапочки. Шлеп! Шлеп! Кто меня несет? Петя? Андрюша? Судя по тому, что мой тощий зад провисает меж рук несущего, это Андрюша. Петя-то посильнее.

Меня кладут на кровать. Не очень, замечу, ловко. Закидывают на кровать ноги, потом подсовывают под меня руки, продвигают к подушке.

— Андрюша! — говорю я, стараясь быть как можно более спокойной. — Ты когда приехал? У тебя же работа!

— Мама, уже поздний вечер! Ты почти час была в ванной.

— Час? Что я там делала?

— Мы к тебе заглядывали, ты уж прости. Ты была... э-э-э... занята. Сидела на унитазе, потом сидела на краю ванной.

— Вы со мной разговаривали? Вы меня о чем-нибудь спрашивали?

— Да, мама, разговаривали. Спрашивали.

— Что вы спрашивали? Что я отвечала?

— Ой, мама, ты такое отвечала... Сейчас снова приедет доктор. Он настаивает на госпитализации. Тебе нужна капельница и сиделка. Я сказал, что ты не хочешь в больницу.

— Не хочу. Не поеду.

— Мама...

— Нет!

Откуда у Андрюши эта привычка вздыхать. С такой тоской, с таким придыханием. Откуда этот взгляд? Он смотрит на меня как на досадную помеху. Если Петя — как на разрушителя своей жизни, то Андрюша считает меня совсем выжившей из ума идиоткой. С которой надо сохранять видимость благопристойных отношений.

— Я так ему и сказал, — вздыхает Андрюша. — Он едет сюда со специальным оборудованием и сиделкой.

— Это дорого?

— Не дороже денег, — отвечает Андрюша любимой присказкой Ивана, моего покойного мужа, не внука, интересно — есть у Ваньки любимые присказки? Кажется, нет, он такой еще щенок.

— И я должна буду лежать в постели? Целыми днями?

— Да, в постели.

— А читать?

— Тебе будут читать вслух.

— Сиделка?

— Или она, или найдем специального человека.

— Я могу почитать, — слышу я голос от двери, это Катя, туманное пятно. —

Днем я в галерее, а вечером...

Я жестом прошу Андрюшу дать мне очки. Он сначала не понимает, потом шарит по тумбочке, наконец протягивает их мне, я нацепляю очки на нос и Катя обретает четкость.

— Днем я могу, — говорит Ваня и вместе с Катей подходит к моей кровати.

— А утром — твой друг Антон Обрезчиков, — смеюсь я.

— Знаешь, мама, — Андрюша садится на стул и закидывает ногу на ногу, — этот Антон. Странный очень человек...

— Знаю. Пусть и почитает, раз странный.

— Нет, я бы не хотел, чтобы он вообще появлялся в нашем доме. Представляешь, я застал его в своей мастерской, он шарил там по полкам, а потом вдруг, как безумный, начал предлагать мне деньги за папку с одним проектом. Говорил, что он ему очень нужен, что один британский архитектор хочет заключить со мной договор о совместном проектировании, но ему нужен хотя бы один мой проект. Я ему сказал, что могу переслать этому британцу целый ворох моих проектов. Например, мы строим дом для известного балетмейстера, мы готовим... ну, да ладно! Так этот Обрезчиков вдруг покраснел, начал кричать, что проекты, о которых я говорю, полная дрянь, а тот проект, который я делал для Ближнего Востока, это именно то, что надо. А там самая обыкновенная архитектура, промышленное здание, всего лишь учет местных условий, ну витраж, так витраж не я делал... Мама, ты слушаешь?

— Слушаю. Только не так быстро и дайте мне попить!

— Ваня! — Андрюша повернулся к сыну. — Налей!

Теперь Андрюша говорил медленно.

— А что он учудил с Петей? Бесперывно его задевал, насмехался над ним, иронизировал. Петя просто ангел, терпел. Но и у ангельского терпения может быть предел. И предел этот наступил. Обрезчиков нагло начал ухлестывать за Петиной Анной, та, то ли чтобы Петю позлить, то ли по какой-то другой причине...

— Еще медленнее! — попросила я.

Андрюша начал отвешивать слова словно это были некие взрывоопасные предметы.

— ...решила ему уступить. Этому Обрезчикову. Он же от нас уехал, на вечер к Буйницкому, откуда якобы собирался поехать к своим родителям, а вместо этого оказался в постели Анны.

— Простите, где он оказался? — спросила Катя.

— В постели Анны. Анны Овчаровой, давней подруги моего родного брата. Это что-то невообразимое!

— Вы уверены? — вновь подала голос Катя.

— Ну, мне об этом сказал брат. А вам-то что до этого? — Андрюша повернулся к Кате.

— Папа, — тихо, со значением, сказал Ваня. — Это Катя. Моя... Моя... Мой друг.

Она — родная сестра Анны.

— Ух ты! — выдохнул Андрюша.

Все-таки есть что-то в том, что Андрюша женился именно на Юлии. Они все-таки

друг другу подходят. Мальчика заделали хорошего. И если кому-то покажется, что Андрюша глуп, так это действительно так. Он безобидно глуп. Уже неплохо. Неплохо.

А потом я тихо-тихо заснула. Вновь оказалась в лодке, без весел и руля, вновь меня понесло течение, солнце пекло мне макушку, вода журчала, впереди — гремела, там, наверное, был водопад, я недавно видела фильм, в котором тоже человека несло к водопаду, наверное, этот фильм как-то во мне отложился, но меня тем не менее несло к водопаду и спастись мне было совершенно невозможно.

6.

— Что ты натворил? — спросила Анна. — Во что ты ввязался?

— Я? Ничего, — Обрезчиков, глядя Анне в глаза, улыбнулся. — Ну что я мог натворить? Посмотри на меня. Я чист как младенец. Просто хотелось чего-то нового.

— Нового? Чего именно?

— Например, денег...

— Деньги — это новое? — Анна усмехнулась, покачала головой. — Тебе не хватало?

— Мне скоро тридцать, — Обрезчиков откинулся на спинку металлического стула. В ночной кофейне кроме них была еще одна молчаливая пара, да девушка, на чьем лице играли блики от раскрытого ноутбука. — Я — никто и ничто. Мне казалось, что я чего-то добьюсь. А я ничего не добился. Я много знаю, много умею, но ни к чему не способен. Я — пустое место.

— Ты не пустое место.

— Пустое. Надо уметь что-то делать руками. Рисовать. Лепить горшки. Мои умения лишь в рамках компьютерных, придуманных другими, программ. Я и думать могу в чужих рамках. Я говорю про новое средневековье, а об этом уже сказано до меня. Я говорю про власть нетократии, но и об этом уже сказано-пересказано. Мой отец хотя бы делает отвисшие щеки гладкими. Отец Ивана, простого, незамысловатого Ивана Колонтаева проектирует и строит дома для тех, кому мой отец сделал новые щеки. Да и сам Иван, этакое растение, делает великолепные снимки. Он едет куда-то в Сахару, где будет помогать выжить не знающим, что такое унитаз, черным братьям. Но даже эти не знающие про существование унитаза черные умеют молоть зерно и делать из муки лепешки, а я могу всего лишь пойти в магазин и купить там диетический хлеб. Я ненавижу диетический хлеб. Мне нравится грубый помол. Острая пища. Поэтому мне хотелось превратиться во что-то значимое. Посредством денег, так посредством денег, раз уж мне не даются другие возможности. Но и это у меня не вышло!

— Ты в первую очередь — дурачок. Ты хоть понимаешь, что тебя все ищут? Что тебя рано или поздно найдут? Что тебе не дадут спокойно уехать? Что в лучшем случае...

— Лучшие случаи — не для меня, — Обрезчиков взял ложечку, подцепил кусок торта, его рука чуть дрожала, ему пришлось наклониться к тарелке. — Я не ищу простых путей, — продолжил он с полным ртом, — но меня не в чем обвинить. Единственное — я согласился помочь Катушищеву. Но я же не знал — кто он такой? В Лондоне у половины соотечественников морда в таком пуху! Если бы его не подожгли, я бы просто вернулся, передал бы ему номер счета, он бы отдал мне то, что мне причиталось, и мы бы разбежались. А что теперь мне делать с этим номером?

— Так ты все-таки его заполучил?

— У меня есть набор цифр. Но я не знаю, как его надо читать. Подряд. В обратном порядке... И уж тем более не знаю — в каком банке лежат эти деньги? А если бы и знал, если бы разобрался с цифрами, то мне неизвестно, что еще нужно, чтобы их получить. Ни кодовых слов, ни паролей. Может, нужен паспорт. Может — половина стодолларовой банкноты. Приходишь, протягиваешь клерку...

— Я бы на твоём месте не особенно шутила. Меня просили сразу дать знать, если ты объявишься.

— А ты?

— Дала свое согласие. Мне же сказали — ты опасен.

— Ну, конечно. И вооружен.

— Тебя ищут не только здесь. В Лондоне — тоже.

Обрезчиков доел торт. Допил чай.

— Хочешь еще? — спросила Анна.

— Да, мне надо побольше сладкого...

Анна подняла руку, официантка взяла со стойки меню и подошла к их столику.

— Еще порцию торта, — сказала Анна.

— Только не шоколадного, а вишневого, — попросил Обрезчиков. — И еще чай. Нет, кофе, не крепкий, американо.

— Хорошо, — официантка, скрывая зевок, кивнула. — Что-нибудь еще?

— Пока все...

— И что ты будешь делать? — спросила Анна, когда официантка отошла.

— Ничего. Если я буду что-то делать, они подумают, что я замазан. А у них против меня ничего нет. Ну, общался я с Катушищевым. Я видел его последним? Это еще ничего не значит! Ну, встречался с Сессаревским. И что? Мало ли кто с ними общался! Оба они за день общались с десятками людей, среди которых масса тех, кто ездит туда-сюда.

— А если тебя спросят про номер счета?

— Да отдам я им эти цифры! Мне-то они на что? Пусть сами бодаются.

— Ты говорил, будто кто-то пытался проникнуть в дом Колонтаевых.

— Да это я говорил со слов бабушки Ивана Колонтаева, выжившей из ума старухи. Начиталась своего Достоевского, у нее крыша еще больше поехала. А у кого не поедет от этих букв?

Официантка принесла большую кружку кофе, тарелку с тортом.

— Счет принесите, — сказал Обрезчиков официантке.

— Что ты будешь делать? — вновь, глядя вслед официантке, спросила Анна. — Куда пойдешь?

— Пока не знаю. Поеду к Колонтаевым. Поговорю с Галиной Федоровной о русской литературе.

— Это в твоём духе — говорить о том, о чем ты не имеешь ни малейшего представления.

— Ты хочешь меня задеть? — спросил Обрезчиков с набитым ртом. — Зря! Мне лучше помочь. Подсказать что-то.

— Ты сам все знаешь лучше других.

— А вдруг? Вдруг какой-то твой совет окажется в точку?

— Мне завтра, то есть — сегодня, подписывать договор с моим немецким партнером. Потом идти с ним в ресторан. Он обожает московские рестораны, обожает за их заоблачные цены. Ему таким образом удастся поднять самооценку. У меня был тяжелый день. Предыдущие ночи спать не давал мне ты...

— Ты говоришь как старуха, — Обрезчиков доел торт, облизнул ложечку, отпил кофе. — Остается пожаловаться на плохо работающий желудок.

— Не хами! А я ведь чувствовала, что нам с тобой отмерено от силы три-четыре дня. Так и получилась.

— Извини, — Обрезчиков допил кофе, вытер губы салфеткой.

— Не за что.

Официантка принесла папочку со счетом, Анна взяла ее, но Обрезчиков резко выхватил папочку из рук Анны, вложил внутрь банкноту, поднялся.

— У тебя всегда есть возможность вернуться к Петру Ивановичу. Он, правда, не выдержит двух ночей подряд, но качается, красив, умен...

— Ох, дать бы тебе по физиономии!

— Что мешает?

— Недотянись!

Обрезчиков, опершись обеими руками о столешницу, наклонился. Анна всмотрелась в его бледное лицо, в его большие, лихорадочно блестящие глаза. Его дыхание было сладким, несвежим, к плохо вытертой верхней губе прилипла крошка от торта. Он наклонился ниже. Анна поцеловала Обрезчикова в щеку, укололась о его щетину, отпрянула, отодвинула стул.

— Поддай мне пальто! — сказала она.

Ничто еще не предвещало утра. Наоборот — темнота сгустилась, шедший мелкий, колющий снег казался темным, иногда, в свете одних фонарей, зеленоватым, в свете других — почти красным, на фоне темных, напряженных домов — коричневым. Снег хрустел под их ногами, пока Анна и Обрезчиков шли к машине. Когда Анна

нажала кнопку на пульте сигнализации и машина открылась, когда она и Обрезчиков забрались внутрь и Анна включила двигатель, когда заработало отопление, то похожие на кусочки пенопласта снежинки поплыли по ветровому стеклу.

— За тобой не следят? — спросил Обрезчиков.

— Думаю — нет. Они мне поверили. Или, наоборот, не поверили. Не важно.

— А если они узнают, что ты со мной встречалась?

— Ко мне в издательство придет пожарный инспектор. Потом — налоговый. Потом — из кожвендиспансера. Меня заставят продать фирму, и я пойду на панель, — она вывернула со стоянки и поехала по совершенно пустой улице. — Но продержусь недолго. И зарабатывать буду немного. Годы! Как ты сказал? Старуха?

— Я так не говорил, — сказал Обрезчиков.

— Но думал... Признайся — хоть раз такая мысль залетала в твою башку. Хоть раз! А?

— Нет!

Анна рассмеялась. От чувства неловкости: она уже давно, очень давно никому не верила так, как верила Обрезчикову. Она чувствовала, что с ней происходит нечто непривычное. Забытые ощущения. Ей хотелось избавиться от них. Они были слишком прекрасны.

Анна вырулила из паутины переулков, Анна и Обрезчиков выскочили на широкую улицу, проехали до площади, повернули на бульвар, по бульвару доехали до проспекта, свернули на проспект.

— Куда ты едешь? — спросил Обрезчиков.

Анна не ответила. Она у самого моста через реку свернула на набережную, проехала еще немного, сбавила скорость, почти остановилась, въехала на тротуар, затормозила у самого парапета, отстегнула ремень, вышла из машины, встала у парапета. Обрезчиков последовал за ней.

— Смотри, какая черная река! — сказала Анна. — Совсем нет льда.

— Глобальное потепление...

— Но почему она такая черная? Почему?

Она повернулась к Обрезчикову, и тот заметил блестящие дорожки на ее щеках. Обрезчиков задержал дыхание, на мгновение зажмурился, а когда открыл глаза, то дорожки, убранные двумя быстрыми движениями, исчезли.

— Прости меня, — сказал он.

— Лучше молчи!

И уже утром Анну поразило, что она никак не могла избавиться от вкуса Антона. Они давно расстались, она даже успела поспать минут сорок—час, принять душ, почистить зубы, но он продолжал быть с нею. Он был с нею и после двух чашек кофе, по дороге в издательство, был и после завтрака с немецким партнером Вольфгангом. Она ощущала его вкус и тогда, когда ей позвонил некий человек со стертым голосом, поинтересовавшийся — нет ли у нее новостей от их общего знакомого, Антона Обрезчикова, — и тогда, когда она в расстроенных после этого разговора чувствах выпила вместо обычного бокала красного вина рюмку водки и съела не легкий салат, а полноценный обед, солянку, стейк, картофель, грушу в глазури, чай. Она вернулась в свой кабинет, набрала телефон сестры, но отменила звонок, сбросила туфли, придвинула к своему креслу стул, положила на него ноги, откинулась на спинку, а вкус все еще был с ней и тогда, когда она проснулась.

Она пыталась понять — что с ней происходит? Что все это значит? Бессмысленное, минутное увлечение, то, что делалось в пику другому человеку, то, в чем самому Обрезчикову была уготована роль болванчика, превращалось в нечто предельно значимое, значимое еще в большей степени от того, что встретиться с Обрезчиковым вновь было совершенно невозможно. Она сняла ноги со стула, нащупала под столом туфли, встала, оправила платье. Она была готова броситься на выручку Обрезчикову, была готова заслонить его, но не знала — куда надо бросаться, где она могла его заслонить. Анна налила стакан воды, выпила мелкими, судорожными глотками, поставила стакан, открыла дверь кабинета и спросила у своей помощницы сигарету. Та удивленно вскинула брови и вынула из сумочки пачку. Курить в издательстве было строго запрещено. Исключения делались лишь для особо важных гостей и клиентов. Для того же Вольфганга, провонявшего все вокруг своей обкусанной, разлохмаченной сигарой.

— И какую-нибудь пепельницу, — попросила Анна, наклоняясь к зажженной помощницей зажигалке.

А Обрезчиков, высаженный Анной из машины у самой Кремлевской стены, тогда, когда темнота зимнего утра еще была густой, но уже чувствовалось, что вот-вот она начнет сереть, ссутулившись шел по чисто выметенному асфальту, курил, забыв про висящую поверх наспех застегнутых джинсов рубашку, запахивал, а не застегивал на молнию куртку. Холод заползал под куртку и рубашку, щекотал и царапал живот и грудь. Он пытался каким-то образом сохранить телесную память о последних минутах с Анной, понимая, что она недолговечна, что если не перейдет, не преобразуется в нечто иное, то растает, растворится в неторопливо наступавшем утре.

Он дисциплинированно дождался появления на светофоре зеленого шагающего человечка, перешел через пока еще пустой проезд у мрачно чернеющего моста, прошел под мостом, повернул на Ленивку, поднялся по ней вверх, также, на зеленый свет, перешел Волхонку, свернул в переулок, пошел по нему. Он не чувствовал этого города, никак не мог заставить себя действовать с ним в унисон, не мог поймать его ритм. Ему хотелось поговорить с кем-нибудь по-английски. Хотелось увидеть идущего навстречу седобородого, смуглолицего приземистого мужчину в хламиде и коротких белых хлопчатобумажных штанах, которого он всегда встречал по утрам в Брикстоне. Перейдя через бульвар, Обрезчиков оказался в сети арбатских переулков, остановился перед только что открывшимся магазином, зашел, купил бутылку пива и гамбургер из холодильника, разогретый продавщицей для него в микроволновой печи, вышел из магазина, сел на лавочку в сквере. Гамбургер был очень горячий снаружи и почти не оттаявший внутри, пиво — кислым, но для Обрезчикова не было сейчас ничего вкуснее. Попав бумажной оберткой гамбургера в стоявшую возле лавочки урну, Обрезчиков допил пиво, запахнул уже привычным движением куртку, закрыл глаза.

Ему приснился короткий, динамичный сон, в котором он, преследуя женщину в белом то ли плаще, то ли пальто, бежал по узкому тротуару. В каком городе это происходило, что это была за женщина, Обрезчиков не успел понять: чья-то рука, потрепав его по плечу, прервала сон.

— Антон! — услышал пытающийся понять, где все-таки он находится, Обрезчиков. — Антон! Муж, что ли, вернулся не вовремя? А я еду к себе в офис, притормозил перед поворотом, вижу — ты или не ты? Подумал — ты, наверное, уже в Лондоне, а это ты! Ха-ха!

— Вы кто? — с трудом ворочая языком, пытаюсь сквозь полусонный туман разглядеть говорящего, спросил Обрезчиков.

— Ну, ты даешь! Ха-ха!

И Обрезчиков, смахнув с ресниц выступившие слезы, узнал стоявшего возле лавочки Урывкина. Урывкин был румян, улыбчив, ясноглаз.

— Весело погулял? — Кивнул Урывкин на стоявшую на лавочке пустую бутылку. — Что пьешь такую дрянь? Давай заедем ко мне на минутку, потом позавтракаем как следует, а?

Обрезчиков кивнул.

Они дошли до мигавшей аварийными огнями машины Урывкина, уселись на заднее сиденье.

— В офис! — скомандовал Урывкин водителю и повернулся к Обрезчикову.

— Я вчера говорил с одним умным человеком, — Урывкин говорил так, словно продолжал прерванную беседу. — И знаешь, что он сказал? Нет? Он сказал, что все мы обрели свободу выбирать между сортами пива, но о самой свободе как не имели представления, так и не имеем до сих пор. Каково?

— Да... — кивнул Обрезчиков.

— Что — «да»? Это же глупость! Меня воспитали как свободного человека. Ты — свободный человек. Мы, и ты и я, имеем отличное понимание свободы. Но ведь не пониманиями, не представлениями жив человек.

— А чем? — Обрезчиков медленно перевел взгляд с затылка урывкинского водителя на самого Урывкина.

— Тем, к чему он прикладывает свое понимание. Можно понимать сколь угодно много, но без этого приложения свобода мертва. Ты согласен?

— Конечно, — кивнул Обрезчиков. — Я тоже так считаю.

Машина остановилась. Обрезчиков и Урывкин вышли, прошли через стеклянные двери, пересекли холл и остановились у лифта.

— У тебя рубашка... — сказал Урывкин.

— Что? — не понял Обрезчиков.

— Рубашка вылезла из джинсов.

— А! Спасибо...

7.

Марина позвонила отцу днем, с работы. Петр Иванович показался ей встревоженным, но оказалось, что состояние его связано вовсе не со здоровьем Галины Федоровны, а с чем-то иным, о чем Петр Иванович говорить не захотел. Марину удивило, что отец вообще ничего не знает о гипертоническом кризе матери, о том, что по уточненному диагнозу у Галины Федоровны была целая серия микроинсультов, приведших к частичному параличу. Стараниями Андрея Ивановича Галину Федоровну поместили в хорошую клинику, ее осматривал профессор, на завтра назначен консилиум, для участия в котором должен прибыть некий крупный специалист из Германии, друг и соавтор профессора.

Когда Марина рассказала обо всем, когда сказала, что бабушку, по ее мнению, мнению человека от медицины далекого, все-таки, несмотря на взбалмошный характер и протесты против госпитализации, поставят на ноги, Петр Иванович лишь спросил адрес клиники, поинтересовался номером палаты. И как-то облегченно вздохнул, когда узнал, что посещения строжайше запрещены.

Марина поняла, что известие о болезни матери как бы перекрыло что-то иное, более тревожащее Петра Ивановича, и даже — его успокоило, настроило на умиротворенный лад. Он с такой интонацией произнес «Ну что ж!...», что Марина даже передумала обращаться к отцу с просьбой и даже собиралась повесить трубку, но в последний момент все-таки решилась сказать, что ей срочно нужны деньги.

— Взаимы, — сказала Марина. — На полмесяца. Нам тут выплатят зарплату, и я верну.

— Да, конечно, — сказал Петр Иванович, поморщившись от этого «взаимы». — Но почему мне никто не позвонил? — он решил задать этот вопрос, чтобы сбить обиду от выстраиваемой Мариной дистанции. — Ни Андрей, ни Иван... Все-таки это странно!

— Может быть, у тебя был отключен телефон? — Марина уже давно привыкла к тому, что отец всегда во всем винит других, не сказавших, не позвонивших, забывших, а не самого себя.

— Я его не отключаю, — резко ответил Петр Иванович. — Когда тебе нужны деньги?

— А когда ты можешь?

— Хоть сейчас!

— Сейчас я на работе и уйти не могу. Давай я наберу тебе перед концом рабочего дня, мы встретимся где-нибудь в центре...

— Хорошо. Я буду ждать звонка.

Закончив разговор, Марина тронула «мышку», темный экран монитора засветился, но вернуться к работе она сразу не смогла, она сидела перед монитором до тех пор, пока тот не погас вновь, как он погас в начале ее разговора с отцом, она смотрела на открытую страницу интернетовского сайта до тех пор, пока вновь не увидела на погасшем мониторе свое резко очерченное отражение.

Она могла позвонить кому-то другому. Могла позвонить матери, но мать замучила бы расспросами — зачем тебе деньги? у тебя же хорошая зарплата! что ты собираешься покупать? Преимущество Петра Ивановича было в том, что он никогда не задавал вопросов. Он чувствовал себя перед Мариной виноватым и считал, что деньгами он может хоть как-то вину загладить. Раньше Марину это корбило, она старалась как можно реже обращаться к отцу, но на этот раз именно его готовность, то, что он не спрашивал, куда и на что пойдут одолженные им деньги, было решающим.

Марина выделила переведенный в версию для чтения текст, нажала правую кнопку мыши, скопировала текст, открыла новый файл, вставила скопированный

текст, сохранила файл, включила функцию печати. Поднялась, собираясь забрать распечатку с принтера по дороге из курилки, но принтер распечатывал чьи-то бесконечные таблицы, и Марина сразу толкнула дверь на лестничную площадку.

Там царила Светка Ландезина, по своему обыкновению — поставив ногу на ступеньку лестницы и так вывернув опорную, чтобы получше выделялась ее большая и тугая задница. Светкин извечный вздыхатель Свербеев рассказывал очередную историю о своих автомобильных делах, Максим Карачев, главный компьютерщик фирмы, располагался чуть поодаль, возле заполненной почти доверху окурками урны.

— Ты, Марин, прямо трудоголик! — прервав Свербеева сказала Светка. — Сегодня еще даже не курила?

— Я для Аргамакова делаю дайджест, — ответила Марина и посмотрела на Максима. Тот вытащил из кармана табак, папиросную бумагу и начал скручивать для Марины самокрутку.

— Для самого? Ишь ты! Еще скажи, что он тебе сам дал поручение.

— Скажу, — Марина взяла у Максима самокрутку, прикурила от его приятно щелкнувшей зажигалки. — Константин Николаевич поручил эту работу мне. Сам. И ты об этом знаешь. Тебя что-то смущает?

— Ой, Марин, — Светка пожала плечами, стряхнула пепел со своей длинной и тонкой сигареты, — меня давно ничто не смущает. Просто до твоего появления Аргамаков никому здесь сам не звонил. И никогда, проходя по коридору, ни с кем не здоровался. Ты появилась — Аргамаков заходит, говорит всем — «Здравствуйте!», а тебе — персонально — «Здравствуйте, Марина!»

— Ну, я не понимаю — из-за чего ты беспокоишься? Из-за того, что босс стал проявлять вежливость? Из-за того, что босс стал здороваться персонально со мной, а не с тобой? Покури, Света, походи поработай и выброси все из головы, хорошо?

— Я сама решу, что мне делать! — Светка выбросила сигарету, она пролетела через всю лестничную клетку, ударилась о край урны, упала на пол.

— Ты, Марина, не особо рой тут землю! — сказала Светка, берясь за ручку двери. — Как бы не закопаться!

За Светкой закрылась дверь. Марина посмотрела на Свербеева, на Максима. Свербеев прятал глаза, Максим пожал плечами.

— Ты уходишь в отпуск? — спросил он.

— Да, — кивнула Марина.

— На неделю?

— Да, на неделю.

— Едешь куда-то?

— В Прагу. Давно хотела. А сейчас скидки.

— В Праге хоро-ошо! — сказал Свербеев, подошел к урне, погасил свою сигарету и исчез за дверью.

— Ты на нее не сердись, — сказал Максим. — Она думает, что все наши девчонки хотят переспать с Аргамаковым. А сама только об этом и мечтает!

— Правда?

— Конечно! Ты видела, как она приглашала его на танец на последней нашей вечеринке? Он от нее даже бегать начал.

— Я не танцую, — сказала Марина.

Максим отбросил со лба прядь волос, шмыгнул носом.

— Скрутить тебе еще самокрутку? — спросил он. — Про запас...

— Скрути! А ты куда-то уходишь?

— Нет, что ты! Я ведь обычно ухожу последним.

Марина кивнула. Максим был ей симпатичен. Он совсем не походил на многовиденных ею компьютерщиков, был вежлив, обладал чувством юмора, как-то помог завести машину, причем тем самым посрамил Свербеева, уже давно колдовавшего под открытым капотом. Но главным в Максиме был его взгляд, спокойный, добрый взгляд.

— А ты же, кажется, была в Праге, — сказал Максим. — Помню, ты говорила...

— Ты ошибаешься, Максим, я там не была, — сказала Марина и подумала, что если вот сейчас растолковать Максиму подлинную причину ее мнимого отпуска, он бы наверняка предложил свою помощь, пообещал бы навестить в больнице, обещание бы свое сдержал и никому бы ни слова не рассказал. Ни одной живой душе.

— Я была в Вене, — Марина смотрела прямо в его глаза, и ей пугающе хотелось во всем признаться. — В Будапеште, в Париже. И все, пожалуй...

— Я, наверное, что-то спутал. Скрутить тебе еще?

— Ты же только что скрутил.

— А! Я и забыл! Марина, слушай, если ты сегодня свободна, вечером, я соби-
рался в кино. Могли бы где-нибудь посидеть...

— Это серьезное предложение, Максим. В наше время позвать в кино коллегу по
работе!

— А я и делаю его серьезно.

— Я пока еще не знаю. Мне надо после работы встретиться кое с кем. Ненадол-
го. Если я тебе позвоню...

— Звони! Я все равно буду допоздна. Звони!

Марина развернулась на каблуках и вернулась на свое рабочее место. Потом
она вспомнила про распечатку, пошла к принтеру, но своих листов не обнаружила.
Ей захотелось заплакать. Впервые за долгие-долгие годы. Она вновь отправила файл
на печать, дождалась его у принтера, взяла листки, подняла голову и оглядела поме-
щение поверх разделительных, невысоких перегородок. Повсюду торчали головы
коллег. Кто-то, судя по шагам, приближался к принтеру. Марина обернулась, накле-
ила на губы улыбку.

С отцом она встретилась на стоянке, на бульваре. Марина ехала медленно, в
правом ряду, сзади сигналили, но она все высматривала место для парковки, увиде-
ла подходящий просвет, притормозила, включила поворотник и втиснулась позади
блестевшей, недавно вымытой машины. И лишь когда потащила из кармана теле-
фон, увидела, что встала как раз за автомобилем отца, увидела, что Петр Иванович
сидит за рулем и, включив подсветку возле зеркала заднего вида, что-то читает.
Марина выскочила из своей машины, захлопнула дверцу, прошла несколько шагов по
тротуару, схватилась за ручку правой передней дверцы отцовской машины. Дверца
была заперта. Она постучала костяшками пальцев в стекло. Отец посмотрел на нее
поверх сидящих на кончике носа маленьких, узких очков для чтения. Открыл дверцу.
Снял и спрятал очки. Марина опустилась на сиденье, захлопнула дверцу.

— Привет, папа! — сказала она с улыбкой.

Петр Иванович сразу отметил, что Марина бледна, что она сильно похудела за
то недолгое время, что они не виделись. Она была очень красива, красива опасной,
угрожающей красотой, ее тонкий нос казался почти восковым, под глазами были
круги, губы были ярко окрашены, ровный, гладкий подбородок казался острым, чуть
выдающимся.

— Привет, — ответил Петр Иванович, и Марина, словно спохватившись, потяну-
лась и поцеловала его возле уха горячими, мягкими губами.

Петр Иванович поймал руку дочери, быстро пожал ее и отпустил.

— Я привез деньги, — сказал он, доставая из кармана пиджака конверт. — Как
ты просила, в долларах. Я не спрашиваю, зачем тебе они, но...

— Они мне очень нужны, папа, — Марина шмыгнула носом. — И мне не к кому
обратиться. И мне бы хотелось...

— Нет-нет, я никому не скажу, что ты ко мне обращалась. Мы один раз об этом
договорились, и договор остается в силе. Но я хотел узнать — как твои дела?

— Работаю, — Марина выдавила из себя жалкую улыбку. — Мне моя работа не
нравится, но, может быть, найду что-то получше. Наш шеф...

— Да-да, я знаю, я слышал. Аргамаков. Он многообещающий политик. И бизнес
у него хороший. Но мне кажется... Хочешь я поговорю с Сессаревской? Или, если
получится, с Буйницким? Наталья может меня с ним соединить.

— Аргамаков говорит, что над Буйницким сгущаются тучи.

— Ну, над кем они сейчас не сгущаются. Твой Аргамаков тоже под тем же небом
ходит. Ладно, извини, я все понимаю, понадобится помощь — что смогу, сделаю.

— Спасибо, папа, — Марина спрятала конверт в сумку. — Ну, я пошла?

— Да.

Марина почувствовала, что выйти из машины отца вот так, сразу, не совсем
правильно. Ей вдруг, впервые за долгие годы, захотелось поговорить с отцом, погово-

речь о чем-нибудь, например — о каком-нибудь кинофильме, о прочитанной книге, расспросить отца о том, каким комплексом упражнений он пользуется для поддержания формы. Но ее хватило лишь на один вопрос:

— А ты куда сейчас?

Марина смотрела на отца, а тот старательно отводил взгляд.

— Я хотел тут заехать... У меня встреча. А ты?

— Я, может быть, пойду в кино. Спасибо тебе! — она быстро придвинулась к Петру Ивановичу, быстро поцеловала его, вновь — возле уха, Петр Иванович слегка дернул головой, скулой задел Марину по носу, она ойкнула, Петр Иванович начал извиняться, но Марина сказала, что ей совершенно не больно, вышла из машины.

Петр Иванович, в зеркало заднего вида, смотрел, как она идет к своей машине, как открывает дверцу, как садится. Хромота была практически незаметна. Он помахал Марине рукой. Она этого не заметила, отъехала от тротуара, сосредоточено вошла в поток.

Петр Иванович следил за красными габаритными огнями машины дочери до того момента, пока они не заслонились другой машиной. Каких-то несколько секунд. Он поймал себя на банальной мысли, что вот так, в несколько секунд, проходит жизнь, а ты и не понял — что это было? Поймал и подумал, что в последнее время слишком многие его мысли и слова были банальны, литературны, пусты, в них отсутствовал он сам, его ощущения и чувства, он питался заемным, но Петр Иванович тут же начал себя успокаивать тем, что раз он все это понимает, видит перед собой, то, значит, он уже не так уж и банален, ровно как больной какой-либо психической болезнью не считается больным, если осознает свою болезнь.

Но еще он подумал, что слишком слаб, безволен. Что всегда плыл по течению, а теперь, когда скорость увеличивается и увеличивается, ему просто страшно не то чтобы поплыть против, а даже погрести к берегу.

Он уже сейчас знал, что скоро Анна будет просить его о прощении, что он простит Анну, а надо было разорвать с нею, разорвать самому, разорвать окончательно с женщиной, позволяющей себе так с ним обходиться, устраивающей романчики с наглыми молокососами, а потом звонящей и просящей утешения. Мне так плохо! Ах ты, ах ты! Ей плохо! Ноги раздвигать было хорошо, а теперь, значит, плохо? Пойми меня! Ну, как не понять! Захотелось молоденького.

Он выслушает Анну, даст ей высказаться. Не прервет разговор. Она сама ему позвонит. Все, что ему приходило сейчас в голову, он оставит при себе. Только — да, да, да. И ему было перед самим собой стыдно за то, что он подумал про раздвинутые ноги Анны. И стыдно за этот стыд. А всего лишь надо будет сказать — сука ты, Анька, самая настоящая сука! Не скажет.

Петр Иванович выключил подсветку, посмотрел в боковое зеркало: бульвар наполнялся машинами. Посмотрел на выходящих покурить под козырек театра зрителей, усмехнулся их комичному виду, тому, как они сутулились и припрыгивали от холода, среди них отметил двух девушек, одна была очень похожа издали на Лену, Петр Иванович нацепил на нос очки для дали, нет, она не была похожа, совсем не похожа, пожалел, что его остановила фотография Вадика, подумал, что Обрезчикова ничто подобное не остановило бы.

Петр Иванович набрал на телефоне номер Ивана. Иван был с Катей. Он удивился звонку и еще более просьбе Петра Ивановича. Сказал, что в снимаемую Катей квартиру они приедут самое раннее часа через полтора — Катю ее шефиня хочет видеть на очередной тусовке, — но если дядя Петя позвонит по телефону — Иван продиктовал номер, — то сможет поговорить с нужным ему человеком. Да, это и есть телефон съемной квартиры. Да, нужный дяде Петру человек как раз находится там, но об этом знали прежде только Иван и Катя, а теперь вот и дядя Петя, и надо хранить тайну. И хорошо, что дядя Петя не называет этого человека ни по имени, ни по фамилии. Просто — нужный человек.

Петр Иванович пообещал хранить тайну, пообещал не называть нужного человека по имени. И подумал, что Иван совершенно особенный, чистый и доверчивый человек. Петр Иванович сказал племяннику, что хочет помочь этому нужному человеку, Иван — поверил. Да, пусть едет в Дарфур. Здесь такие не выживают.

8.

Урывкин был навязчив и неприятен Обрезчикову еще более, чем Обрезчиков был неприятен самому себе. Урывкин не закрывал рта, говорил об успехах отцовской фирмы, о перспективах бизнеса, об игре в поло на снегу, о своей возлюбленной балерине, получившей приглашение от Венской оперы, о своем знакомстве с Буйницким, с Аргамаковым, о хозяевах тех высоких кабинетов, в которые он был вхож, и Обрезчиков видел, что Урывкин ничего не сочиняет, он говорит только правду, но от этой правды веяло скукой и ложью.

Обрезчиков дал отвести себя в кабинет Урывкина, дал напоить себя кофе, секретарша, глядевшая на него несколько удивленно, принесла ему по распоряжению Урывкина большой горячий сэндвич. Обрезчиков ел сэндвич, сорил крошками, пил кофе. Урывкин просматривал электронную почту, быстро писал ответы на некоторые письма, обращался к Обрезчикову за советом — какой оборот лучше ему употребить? какое обращение уместнее? как лучше распрощаться с корреспондентом? — и ни на одну секунду не закрадывалось сомнение в его искренности: Урывкину в самом деле было важно мнение Обрезчикова, он действительно думал, что Обрезчиков лучше его знает и наиболее употребительные выражения в деловой переписке в частности и русский язык в общем. И эта его искренность была неприятна.

Урывкин был чист и правилен настолько, что его чистота и правильность выглядели пародией, Обрезчикову хотелось поскорее уйти из теплого и уютного кабинета Урывкина, но он сидел, пил уже третью чашку кофе. Ему хотелось увидеть Ивана Колонтаева, поговорить с ним, он пока даже не знал — о чем, но он не хотел звонить Ивану со своего мобильного телефона. Наконец Обрезчиков не выдержал, встал из глубокого кресла.

— Ты торопишься? — вскинулся Урывкин. — Подожди, еще пара минут. Посмотри котировки. Или — хрен с ними, потом...

— Мне позвонить надо, — резко сказал Обрезчиков.

— Да? Вот телефон, — Урывкин указал на стоявший на полированной поверхности стола телефонный аппарат. — Или вот, возьми мой мобильный.

Обрезчиков почти выхватил из руки Урывкина мобильный телефон, вернулся в кресло. Номер Ивана долго не отвечал. Обрезчиков вздохнул, нажал кнопку сброса звонка. Он поднялся, встал над столом Урывкина, со стуком положил телефон на стол.

— Налей мне чего-нибудь крепкого, — сказал Обрезчиков. — Лучше всего — водки. У тебя есть водка?

— Ну, конечно, есть! — Урывкин оторвал взгляд от монитора, потянулся к кнопке вызова секретарши, секретарша вошла в кабинет, выслушала распоряжение, вернулась со стоявшей на блюдечке покрытой инеем стопкой.

— А закусить, Оля, закусить?! — возмутился Урывкин, но Обрезчиков забрал из рук секретарши стопку, медленно, глотками, выпил содержимое, вернул стопку на блюдечко, наклонился и поцеловал секретаршу в щеку.

— Вот лучшая закуска, Лева. Поехали!

— Да-да, — Урывкин вскочил. — Едем!

Они вышли на улицу, Обрезчиков посмотрел на часы и с удивлением обнаружил, что прошло почти три часа. Он застегнул куртку.

— Знаешь, Лева, я пойду, — сказал Обрезчиков. — У меня тут еще кой-какие дела, а завтра я улетаю. Завтракай один.

— Да как же это так?! Нет, Антон, нет-нет! Я тебя не отпущу!

Обрезчиков развернулся и пошел прочь.

— Антон! — звал его Урывкин. — Антон! — но Обрезчиков шел не оборачиваясь, не замедляя быстрого шага.

Он свернул за угол. Падал мелкий снег. Узкий тротуар был покрыт ледяной коркой. Выпитая водка жгла пищевод. Вкус от поцелуя был приторным. Обрезчиков сунул руку в карман, нащупал скомканные купюры. Надо было поесть. Нельзя принимать серьезные решения на голодный желудок. Шедшие навстречу двое мужчин в куртках с капюшонами посторонились, давая ему пройти. Сквозь зубы он их поблагодарил, они посмотрели на него с удивлением. Он уже собрался перейти через улицу, как рядом с ним затормозила машина, опустилось стекло.

— Это тебя, Антон! — сказал Урывкин. — Твой приятель, — и протянул Обрезчикову мобильный телефон.

— Ваня! — Обрезчиков был рад слышать голос Ивана. — Как дела? Я вот завтра улетаю. А у вас кое-какие мои вещички остались. Ноутбук. И бельешко...

Иван сразу почувствовал, что Обрезчиков говорит неправду. Нет, он мог изменить дату вылета в Лондон, но сама фраза «Я вот завтра улетаю...» звучала фальшиво. Иван успел изучить его интонации. Но не подал вида, лишь сказал, что это здорово, что сам собирается вылететь в Лондон раньше срока, что им нужно обязательно увидеться, что заехать за вещами можно будет вечером. И не удивился, когда услышал слова Обрезчикова, что тому все равно когда заезжать за ноутбуком и бельешком, что Обрезчиков совершенно свободен, что дел у него никаких нет, вот только он никак не может толком поесть, только кофе, бутерброды да водка.

Этот странный человек, Обрезчиков, которого непонятно почему так полюбила бабушка, Галина Федоровна, казался Ивану еще более непонятным, чем в день первой встречи. Что он делал в Лондоне? Зачем ехал в Амстердам? Зачем полетел вместе с Иваном в Москву? Проведать родителей? Но почему жил в доме Андрея Ивановича и под родительский кров вовсе не стремился? Зачем намеренно злил дядю? Зачем, наконец, устроил эту — Иван, сидевший за столиком только что начавшего работать небольшого ресторана, даже щелкнул пальцами подбирая нужное слово, — интрижку, да, именно — интрижку, с Катиной старшей сестрой, зная, что Анна давняя подруга Петра Ивановича? Что его вело, что толкало? Иван пытался найти ответы на все эти вопросы, но в первую очередь чувствовал, что таким образом поймет не Обрезчикова даже, а то, что толкает и ведет его, Ивана.

Обрезчиков появился в компании Урывкина, которым совсем недавно помыкал и над которым почти издевался, но теперь всячески выказывал тому свое уважение. Иван наблюдал за Обрезчиковым и уже не мог понять — когда тот был искренен, когда не играл?

Известие, что Иван собирается жениться на Кате, сестре Анны Овчаровой, было встречено Обрезчиковым шуточками и небрежным пожеланием семейного счастья. Когда же Обрезчиков узнал, что скорее всего Катя не сможет сопровождать Ивана в Дарфур, что, едва поженившись, они будут вынуждены сразу надолго расстаться, то начал советовать в таком случае со свадьбой повременить.

Тут принесли тарелки с супом, Обрезчиков жадно зачерпнул ложкой, обжегся.

— А, впрочем, поступай как знаешь! — сказал Обрезчиков, откладывая ложку и вытирая губы салфеткой. — Вот только когда она тебя прищиплит к юбке, ты пожалеешь. Хотя тебе этого ведь и хочется?

Урывкин захихикал и к мясу заказал всем дорогого вина.

— За новую встречу! — Урывкин поднял свой бокал.

— Ага, — кивнул Обрезчиков. — За расставание!

Он выпил залпом, поставил бокал и, прищурившись, посмотрел на Урывкина.

— Лева! Мне надо поговорить с Иваном. Выпей что-нибудь у бара.

Урывкин, разрезавший кусок мяса, замер, посмотрел сначала на Обрезчикова, потом на Ивана, дожевывая, проглотил, поднялся и отошел от стола. Обрезчиков, выдвинув нижнюю челюсть, через плечо смотрел ему вслед.

— Редкостное насекомое, — сказал Обрезчиков. — Он мне тут расписывал свою и подобных ему идеологию. Этаким коктейль. Он видишь ли верит в общество потребления, а еще в патриотический этатизм, православие и — ты будешь смеяться — в нанотехнологии.

— Я не буду смеяться, — вставил Иван. — Я даже не знаю, что такое этатизм. Ты поэтому ему хамишь? Из-за его идеологии?

— Этатизм это... — Обрезчиков внимательно посмотрел на Ивана. — Нет, я ему не хамлю. Я разговариваю с ним так, как он этого заслуживает, и он это понимает. Он знает свое место. В отличие от многих. От меня, например. Что он сейчас делает?

— То, что ты ему сказал. Заказывает что-то бармену. Сидит на стуле.

— И черт с ним. Ванька, мне надо выспаться. Вообще-то мне надо что-то придумать, надо как-то вылезти из ямы, но сначала — поспать. Поесть я уже поел. Ты потом все поймешь, все узнаешь, но...

— Что случилось, Антон?

— Потом, я же сказал — потом. Только к своим я поехать не могу, к тебе тоже, снять номер в гостинице тем более. Твоя Катя ведь снимает квартиру? У тебя есть

ключи? Дай мне их, я просплю там день, к вечеру уйду. Часов пяти мне будет достаточно.

— Но что все-таки случилось? Что-то с Анной?

Обрезчиков подцепил вилкой тушеный гриб. Осмотрел его, обнюхал, вернул на тарелку.

— Дашь ключи?

Когда Обрезчиков открыл входную дверь в квартиру, то первым делом увидел висевший над открытой дверью в комнату портрет некоего офицера в парадной форме. Обрезчиков стянул куртку, захлопнул дверь, подошел ближе. Летчик. Герой Советского Союза. Лицо человека сильно пьющего. Было видно, что форма была портретируемому велика, морщинистая шея его торчала из воротника форменной рубашки.

Обрезчиков разулся, прошел в комнату, увидел разобранную постель, чуть прикрытую ярко-желтым шелковым покрывалом с кистями. Он сдернул покрывало, расправил одеяло, потом поднял, увидел следы любви Ивана и Кати, усмехнулся, накрыл простыню одеялом, поверх одеяла набросил покрывало. На большой подушке еще хранился отпечаток чьей-то, Кати ли, Ивана ли, головы, длинные темные волосы завивались в завитки. Он перевернул подушку, снял пиджак и бросил его на стоявший рядом с кроватью стул. Посмотрел на красный, старомодный, еще с диском, телефон, вышел в туалет, потом умылся, потом стоял с мокрым лицом и руками и выбрал из двух полотенец то, которым лучше вытереться, и выбрал пахнущее легкими духами, то, на котором были заметны следы губной помады.

При выходе из ванной он вновь почувствовал на себе взгляд летчика в парадной форме, постоял, вглядываясь в это сухое, жесткое лицо, вышел на кухню и напился воды из носика чайника, ощущая привкус накипи и думая, что сейчас, в эпоху царства электрических пластиковых чайников, выпить такой воды все равно что попасть в те времена, когда молодыми были его отец и мать.

Он достал из ящика стола столовую ложку, из кармана куртки — шприц, ватные тампоны, флакончик с физиологическим раствором, проходя под портретом летчика подмигнул тому как уже близкому знакомому, сел на кровать и приготовил все для инъекции. Он даже наложил жгут, но потом снял его, опустил рукав рубашки, сверяясь с телефонной книгой в своем телефоне, набрал на дисковом аппарате номер.

— Я перезвоню! — сказал узнавший его молчание Стасик.

Обрезчиков лег на кровать, чуть приподнялся, ослабил ремень джинсов, закинул руки за голову. Высокие потолки узкой комнаты действовали на него умиротворяюще, лепные карнизы свидетельствовали о былом, номенклатурном величии, Обрезчиков подумал о летчике, наверняка доживавшем свой век в этой квартире, быть может — умершем совсем недавно, оставленном внуками и детьми, которые, лишь получив дедовскую и отцовскую квартиру в наследство, повесили его портрет как запоздалую благодарность, а потом, заперев баракло в двух комнатах, сдали третью и теперь пропивают получаемые от комнатосъемщиков деньги в каком-нибудь, в каком-нибудь... — Обрезчиков начал вспоминать спальные районы Москвы, но, кроме Черемушек, почему-то вспомнить ничего не мог, заснул, причем во сне он стоял на краю большого, только что вспаханного поля, рядом с тем самым летчиком, и летчик показывал куда-то вдаль, но, на что он показывал, Обрезчиков понять не мог, в глаза слепило солнце, а пояснения летчика заглушал какой-то чудовищный шум.

Он открыл глаза и понял, что это звонит телефон. Первым его побуждением было схватить трубку, сказать в трубку «алло!», он даже перекатился на бок, почти сваливаясь с кровати потянулся к телефону, но рука его замерла. Телефон продолжал звонить, потом звонки прекратились, а Обрезчиков с изумлением смотрел на ставшее совершенно черным законье, понимая, что второй раз за день мимо него пролетело сразу несколько часов.

Он, спустив ноги на пол, сел, потер виски, посмотрел на лежащий на прикроватной тумбочке шприц, ложку, комок ваты, кусок резиновой трубки. «Сделаю перед выходом!» — решил про себя Обрезчиков, посмотрел на дисплей своего телефона: да, уже был вечер, надо было принимать хоть какое-то решение, надо было куда-то идти. Телефон зазвонил вновь, Обрезчиков снял трубку, телефон потянулся вслед за ней, сталкивая с тумбочки шприц, ложку, комок ваты, Обрезчиков поймал шприц, дав всему остальному упасть на пол, и сказал:

— Да!

— Это я, — Стасик говорил тихо, словно боялся потревожить кого-то спящего. — Что у тебя?

— Плохо. Ищут. Найдут. И тогда ты потеряешь старшего брата.

— Ко мне приходили еще раз. Были у отца в клинике, разговаривали с матерью.

— Этого следовало ожидать.

— Что я могу сделать?

— Если среди твоих друзей есть...

— Есть.

— Поговори с ними. Я просил своего приятеля, ты помнишь, он сын...

— Да.

— Он при мне звонил. Но стоило ему назвать мое имя, как с ним отказались разговаривать. Я крайний и никому не нужный. Все вздохнут с облегчением.

— Не я.

Обрезчиков вдруг ощутил, как по крыльям носа сбежали маленькие слезинки.

— Я попробую что-то придумать, — сказал он. — Это ты звонил только что?

— Нет. Я думаю, тебе надо уходить оттуда, где ты сейчас.

— Я знаю. Пока!

— Пока!

Обрезчиков закатал рукав, поднял с пола кусок резиновой трубки, но наложить жгут не успел: телефон зазвонил вновь.

— Да! — ответил Обрезчиков.

— Антон? Это Петр Иванович. Я уже вам звонил, вы не подошли к телефону. Не волнуйтесь, никто, кроме меня, не знает, где вы сейчас. Мне необходимо с вами встретиться, Антон.

— Зачем?

— Скажу при встрече.

— Вы стреляться со мной приедете? Если так, то привозите два пистолета, у меня оружия нет.

— Я скоро буду, Антон, никуда не уходите в ближайшие двадцать минут. Договорились?

Обрезчиков бросил трубку на рычаг, затянул жгут, поймал вену, ввел иглу, нажал на поршень. Словно ртуть разлилась по его жилам, дыхание сразу стало коротким, голова прояснилась. Сердце застучало так, что, казалось, его шум может разрушить стены комнаты, провалить перекрытие. Это был эффект кончика иглы, но не уже знакомый Обрезчикову, это было — он понял — предвестие чего-то страшного. «Барыга, сука, барыга, за что?!» — успел подумать Обрезчиков, вскакивая с кровати, он рванулся в прихожую, ноги его уже слушались плохо, но голова была по-прежнему ясной, мысли летели с необычной быстротой, он сунул ноги в ботинки, заминая задники сделал шаг к входной двери, повернул ручку замка, открыл дверь на лестницу, но тут же вернулся в комнату, упал возле тумбочки с телефоном, суки, вот ведь суки, надо было выкинуть, так проколоться, надо было взять у Стасика, да, а если Стасик, если Стасик тоже, он сбросил трубку с аппарата, набрал «ноль», набрал «три», лег на спину, воздуху уже не хватало, слабеющей рукой попытался поймать трубку, из которой с нарастающей энергией несло щелканье, трескотня, щебет, которые сменились тишиной.

Тишина и поразила Петра Ивановича, когда он, толкнув приоткрытую дверь, вошел в квартиру. Лежащий кверху подошвой темно-красный полуботинок на высоком каблуке словно вздыбил коврик в прихожей. Петр Иванович нагнулся, рукой в перчатке перевернул ботинок, расправил задник, распрямился.

— Антон? Антон! Вы здесь? — спросил Петр Иванович, ногами расправляя коврик.

Петр Иванович сделал еще шаг по прихожей по направлению к открытой двери в комнату и увидел узкую ступню, черный носок, полоску белой кожи между носком и штаниной. Петр Иванович отступил назад, прикрыл входную дверь.

— Антон! — повторил он.

Шагнул в комнату.

Обрезчиков лежал на спине, странно выгнувшись, раскинутые в стороны руки, сжатые кулаки, плотно стиснутые, оскаленные зубы, из уголков рта выбегали две пенные струйки.

Петр Иванович сразу понял, что Обрезчиков не дышит. Что сам он спасти его не

может, а никакая «скорая» тут уже не поможет. Он давно не видел мертвых. Последний раз — в Африке. Нет, последним мертвым человеком была жена брата, Маша. Да-да, Маша, но от мертвого тела Обрезчикова исходило нечто, испугавшее Петра Ивановича. Этот человек, Петру Ивановичу при жизни неприятный, торгшийся в его жизнь, укравший — словно Анна была вещью — из его жизни любимую женщину, человек, которого Петр Иванович и в самом деле собирался вызвать на поединок, не важно — на пистолетах, на кухонных ножах, обрезках водопроводных труб, — был мертв. Петр Иванович наклонился над Обрезчиковым. Последние мгновения жизни Обрезчикова, судя по цвету лица, по вылезшим из орбит глазам, были ужасны, Обрезчикову было больно, страшно.

Петр Иванович поймал раскачивающуюся на шнуре телефонную трубку, послушал звучащие из трубки короткие гудки. Нажал на рычаг, услышав гудок, набрал «ноль-три», там было занято. Он вытащил бумажник, достал документы на машину, листок с номером телефона службы спасения, далеко отставив руку с листком, сверяясь с ним, набрал номер.

— Служба спасения, — бодро ответили ему.

— Я нашел тело мертвого человека, — сказал Петр Иванович.

— Простите, что вы сказали? — спросили на другом конце провода.

Петр Иванович прокашлялся и повторил.

9.

Проводив Ивана, Петр Иванович, задержался в здании аэропорта. Ему не хотелось выходить под словно перевернутое, почти черное у самой земли, постепенно светлеющее кверху небо. Казалось — разреженное пространство внизу, а чем выше, там, куда вот-вот поднимется несущий Ивана самолет, плотный, насыщенный кислородом воздух. А еще выходить пришлось бы вместе с Анной, тоже примчавшейся в «Домодедово», идти с ней рядом до стоянки. Поэтому он и попрощался с сестрами, лишь только они втроем вернулись на эскалаторе на первый этаж. Он долго придумывал предлог, мялся, но Анна пришла на помощь, протянула руку. Петр Иванович слегка сжал прохладные пальцы и посмотрел Анне в глаза. Она в ответ улыбнулась.

Петру Ивановичу было достаточно того, что все время, пока они тыркались в пробках по дороге в аэропорт, испытывал неловкость от присутствия в машине сестры Анны, Кати. Иван сидел с ней на заднем сиденье, молчал, держал Катю за руку. Катя все время что-то говорила шепотом, иногда — чуть громче, и тогда Петр Иванович слышал, как она жалуется, что ей будет без Ивана плохо, что Иван мог бы взять ее с собой в Лондон, что оттуда ей было бы проще поехать в Дарфур, к Ивану.

Иван отвечал, что его просьбу рассматривают, но они еще не женаты, что у Кати нет нужной в Дарфуре профессии, что если бы она была медсестрой, то все бы решилось быстрее. Повторял уже говоренное много раз, но Катя не успокаивалась, а продолжала жаловаться, и их монотонный разговор постепенно начал Петра Ивановича раздражать. А тут еще — Анна, стоявшая возле стойки регистрации, высокая, красивая, ухоженная, бледная, на высоких каблуках, подставившая Петру Ивановичу для поцелуя губы, он же ограничился щекой, начавшая со слов соболезнования, потом переключившаяся на Катю, сделавшая Кате выговор и за унылое выражение лица и за блеклый шарфик, похвалившая Ивана за его подвижничество — она так произнесла это слово, что Петр Иванович поморщился, — и наконец вставшая рядом с Петром Ивановичем с таким видом, будто кто-то, Иван или Катя, их ребенок. Анна почему-то светилась гордостью. Чем она гордилась? Петр Иванович этого не понимал.

Петр Иванович, конечно, поблагодарил Анну за соболезнования, но произносила она точь-в-точь те же слова, которые он слышал по телефону, на похоронах Галины Федоровны, на поминках. Петр Иванович хорошо, слишком хорошо помнил слова матери об Анне и с трудом вновь подавил в себе желание кое-какие из них процитировать. Единственное, за что Петр Иванович и был благодарен Анне, так это за то, что Анна, забравшая сестру с собой, избавила от необходимости отвозить хлюпающую носом Катю в город.

Он посмотрел, как сестры движутся в толпе, отметил взгляды, какими многие мужчины провожали Анну, почувствовал, что он хочет эту женщину, все еще — хочет,

что готов ее простить. Но Анна больше не просила о прощении, а Петру Ивановичу было необходимо соблюсти ритуал: она просит прощения — он долго не соглашается простить, потом — прощает, они вместе, или он, или — она, выбирают то, что надо будет сделать для заглаживания вины. А если бы она еще раз попросила о прощении сегодня? Перед тем как пойти вместе с Катей на стоянку? Он бы продолжал следовать ритуалу? Или уступил бы своему желанию? Что в нем бы перевесило? И если бы он и простил Анну сегодня, не проступила бы обида вновь? Уже вечером? На следующий день? Через месяц? Год?

Петр Иванович смотрел, как Анна красиво ставит ноги, и ему хотелось вылизать ее икры, укусить за пятку. Рядом с ней безлика, ровная Катя была всего лишь тенью. Покорность судьбе и обстоятельствам читалась во всем ее облике. Петр Иванович подумал про Ивана, скользящего, плывущего, но — настойчивого, упертого. «В кого он такой получился?» — подумал Петр Иванович, достал телефон и позвонил брату.

Андрей Иванович соблюдал постельный режим. Его предынфарктное состояние продолжало пугать врачей, он лежал у себя в спальне, Юлечка — Петр Иванович поймал себя на том, что мысленно называл жену брата так, как ее называла Галина Федоровна, — по мере сил ухаживала за мужем, но по большей части сидела в кресле и жаловалась на самочувствие, ее новая беременность оказалась для всех, для Юлечки — тоже, сюрпризом.

— Улетел? — слабым голосом спросил Андрей Иванович.

— Еще нет. Мы его проводили с Катей, он прошел таможенную, паспортный контроль. Теперь, наверное, шастает по дьюти-фри.

— Анна вас нашла? Она мне звонила, узнавала номер рейса, хотела попрощаться. Нашла?

— Нашла. Она забрала Катю.

— Петя! — в голосе Андрея Ивановича появились так знакомые Петру Ивановичу жалобные нотки. — Помирился бы ты с ней. Она прекрасная, добрая женщина, так тебя любит, так страдает от вашей размолвки. Ну что ты себе такое придумал? Тебе, прости, пора уже определиться, в твои-то годы...

Петр Иванович поморщился.

— Хорошо, Андрей, я подумаю. Определяюсь. Ты лучше не волнуйся обо мне, у меня все будет хорошо, — сказал Петр Иванович. — Как Юля себя чувствует?

— Ее мутит. Она пьет воду с лимонным соком, боюсь, как бы не разыгрался гастрит.

— Да-да, это возможно. Пусть поест каши. Овсяной.

— Я ей говорил, но Юля не любит овсяную кашу. Ты приедешь?

Петр Иванович вздохнул. Ему не хотелось ехать в дом брата, а настойчивость, с которой Андрей Иванович просил Петра Ивановича жить вместе, удивляла. Слова брата о том, что в доме есть и его, Петра Ивановича, доля, казались ему странными. Какая такая доля? Его деньги, которые он когда-то давал брату в займы, а тот долг не вернул? Деньги были небольшими, Петр Иванович дал матери слово, что никогда о них напоминать не будет. Нет, никакой доли его там не было.

— Наверное, — сказал Петр Иванович. — У меня есть кое-какие дела. Одна встреча. Предлагали работу...

— Да что ты? Отлично! В редакции? В газете?

— Да, в редакции газеты. Давай пока об этом говорить не будем. Ты будешь первым, кому я все расскажу.

— Петя, нас так стало мало! Мы же осиротели, Петя! — голос Андрея Ивановича звучал все более жалобно.

— Успокойся, Андрей, посмотри какие-нибудь мультики, я обязательно приеду.

— Иван обещал позвонить, не звонит...

— Он обязательно тебе позвонит. Он уже тебе звонит. У тебя же занят телефон. Мы с тобой прощаемся и...

— Да-да, Петя, я понял, пока!

Сквозь огромные окна здания аэровокзала, прорезая скопившуюся темень, прорвался яркий солнечный луч, но сил у него было еще мало, луч осветил облесенный сугроб и погас. Петр Иванович подошел к прилавку кафе, заказал кофе и кусок пирога. Ему хотелось с черникой, но с черникой не было, и он выбрал лимонный, оказавшийся слишком сладким. Открывая плошечку со сливками, он неловко сдернул фольгу, испачкал пальцы. Вытирая их жесткой салфеткой, подумал, что домоде-

довская девушка за стойкой была и не столь симпатична, как в «Шереметьево», и не столь любезна. Да и кофе был горек. Петр Иванович, оставив на стойке недопитую чашку и недоеденный пирог, пошел к выходу.

И вдруг Петр Иванович почувствовал, что все, и вокруг него, и внутри, выстроилось, успокоилось. Все приобрело свое, четкое и ясное предназначение. И смерть этого несчастного Обрезчикова, и даже смерть матери. Он чувствовал себя частью какого-то целого. Не враждебного, как прежде. Он знал, что вот сейчас сядет в машину, приедет в свою квартиру, пообедает, немного отдохнет, потом поедет к брату, где выслушает жалобы Юлечки, поиграет с Митенькой, посидит возле кровати Андрея. И если раньше такая перспектива его бы раздражала, то теперь ему было всего лишь любопытно — сколько времени это еще продлится? чем закончится? как? И он подумал, что, если бы Обрезчикова не убила та инъекция, если бы Обрезчиков дожил до его лет, он так же, как Петр Иванович, был бы никому не нужен, так же был бы одинок, лелеял бы свое одиночество, упивался бы им, уже не злясь на всех вокруг как на причину одиночества и тоски. Он покачал головой, вспомнил лежавшую в гробу мать, впавшие щеки, сложенные руки, надломанный ноготь, зацепившуюся за него белую нитку. Петр Иванович почувствовал, что сейчас заплачет, быстрым движением достал из кармана темные очки, ускорил шаг, вышел на улицу, лавируя между вышедшими покурить, уворачиваясь от стремящихся к входу людей с чемоданами и сумками, дошел до края тротуара, повернул направо, пошел к автостоянке. Если бы он смог, то попросил бы — Петр Иванович не знал — за что именно? — но чувствовал свою вину — у Обрезчикова прощения. Он приподнял очки, посмотрел на низко висящее, темное небо, его губы начали шевелиться, и он услышал, как кто-то его окликает.

— Колонтаев! Петя!

Петр Иванович остановился, обернулся на голос. Его окликал Вадик, подтянутый, загорелый Вадик. Возле ног Вадика стояли два чемодана на колесиках, чуть позади него стояла его дочь. Вадик шагнул к нему.

— Вот так встреча! — Вадик улыбнулся, и лицо его покрылось сеткой мужественных морщин. — Я тебя сразу не узнал. Выглядишь шикарно! Летишь куда-то? Прилетел? А мы вот прилетели, а машину за нами не прислали. Каждый раз накладки, каждый раз. Это моя дочь, Лена. Лена, познакомься, это мой старинный товарищ...

— Петр Иванович, — пожимая руку Вадика, Петр Иванович кивнул Лене и дал очкам опуститься на переносицу. — Вы из Ирландии?

— Ирландия? Какая Ирландия! Что ты! Лена приехала меня встретить, а тут...

Между Вадиком и Петром Ивановичем, бесцеремонно, плечом оттесняя Петра Ивановича, втиснулась Вадикова спутница.

— У них сейчас машины нет, я потребовала, чтобы такси было за их счет, но они... — затараторила она, складывая мобильный телефон.

— Петя, ты не... — начал Вадик.

— Не-ет, — Петр Иванович. — Не могу! Босс из Самары прилетает. Концерты. Был рад видеть! Звони!

Он пошел к стоянке. Через полтора десятка шагов поборол желание оглянуться. Усмехнулся. Глубоко вздохнул. Снял очки. Руки дрожали.

Анна Матасова

Навстречу яблоням и птицам

Рождественское

Я сижу на кухне —
И ногой качаю,
Чтобы мир не рухнул
Свет не выключаю.

Греется привычно
Чайник на плите,
И звезда на ниточке
В стеклянном животе.

Может, небу наших
Звезд и не хватает?
Пьяный, в снежной каше
Человечек тает.

Все ему до лампочки,
А стеклышко протри —
Ангел в белых тапочках
Светится внутри.

* * *

Алексею Королеву

Окаменели лужи во дворе,
На звезды загляделся даже Ленин —
Полцарствия в молоках и в икре,
А ты уткнулся Ладоге в колени.

Какие бесконечные мостки!
В одной рубашке поджимаешь ноги...
И шамкает волна: «Надень носки,
Укройся в человеческой берлоге».

Горбатятся медвежьи острова
Подсвеченные первыми снегами,
И стайкой любопытная плотва
Чирикает по горлу плавниками.

Кончается небесное кино,
А ты — дурак, ты повторяешь: «Боже...»
И смерти нет — и страшно все равно,
Когда любовь с ободранною кожей.

Потом бежишь, срываясь, босиком,
В змеиный сад, который весь — засада...
Там яблоко на ветке. С червячком.
Сорви его.
Не бойся.
Так и надо.

Питкяранта — Длинный Берег

Алексю Королеву

Темное время сада.
Выйди — разбереди:
Яблочная помада
По ледяной груди

Неба — чертой, штриховкой...
А на краю огня
Месяц — косой подковкой
Смывшегося коня.

Первый комар, подлиза,
Дзенькает у скулы,

Озеро — словно линза
Прапервобытной мглы.

Не наклоняйся ниже! —
Выманит в никуда
В дырах созвездий крыша,
Дырами глаз — вода.

Лучше найди другую
Ссылочку, «вечность ру»,
Бусину кровяную
Жертвуя комару.

* * *

Смерть в кристалликах соли, в ошкурках овечьего дыма.
Что на камне твоём? Фотография старого Крыма.

Тазик ржавой воды. Госпитальные запахи хлорки.
Полосатые звери в растерзанной розовой корке.

И змеится лоза, прорастая сквозь сонное тело,
Полусладкое, сладкое — шепчешь — мускат, изабелла...

А потом, в темноте, спотыкаешься — снова о камень.
— Боже, кто я и где...
Наклоняешься, шаришь руками.

Там три даты: родился и умер. А дальше, у края,
Полустерто: воскрес...
Дальше цифры шипят, догорая.

* * *

у жизни нет прямых углов и жизнь мне не нужна
Алексей Королёв

У жизни нет прямых углов —
Пальцы ее кривы,
А в кулаке сидит птицелов
И его крылатые львы.

Они хватают выхлоп охот —
Жирный бензин-озон,
А город пускает корни в обход
Кладбищ и лесозон.

Корни города тяжелы —
Ржавчина, кровь, вода,
Змеятся трубы, шланги и рвы,
Рельсы и провода.

И птицелов достает сачок,
И говорит: — Ау!

Целое детство я, дурачок,
У смерти стоял в углу.

Я небо искал посреди страниц
И буквы катал во рту,
А небо просто клюет на птиц,
А птицы растут в саду.

Там невесомо течет с листвы
Солнечное вино,
Меж одуванчиковой братвы
Расцветает божье лицо.

Подуй на Бога — смотри, летит! —
В бетонно-панельный шлак,
И будет пухом, и всё простит,
И разожмёт кулак.

Кони

Наилю Ишмухаметову

Мальчишкой — летишь на белом
По сказочным беспределам.

Героем — на вороном,
Цок-цок под ее окном.

А после — вместе с чубарым
Тягаешь возы на пару.

Потом трусишь на савраске.
И — в стойло.
До новой сказки.
...Но божий сад встает вдали
В гуденье пчел и звездных брызгах...
Ты шагом трогаешь с земли
На кляче в яблочных огрызках.
Пускай костлява и бледна,
И ветер свищет по глазницам,
А все же вывезет она
Навстречу яблоням и птицам.

* * *

Она на лету остановит черта,
В горящее сердце войдет она...
Я — просто порванная аорта,
Ты — просто порванная струна.

Пересечение огня и праха
Есть полуголубь-полузмея.
Ты — просто порванная рубаха,
Я — кожа порванная твоя.

В зерно вернется проросший колос,
Из капли выплеснется прибой.
Ты — просто сорванный мною голос,
Я — песня, сорванная тобой.

Но дальше, дальше ведет дорога,
Она не делится пополам
На храм, который разрушил Бога,
На Бога, который разрушил храм.

Елена Долгопят

Вид из окна

Рассказы

Март

Мать вздохнула.

— Пойду.

— Уже?

— У нас сериал.

— Я с вами посмотрю?

— Да ладно тебе, в перерыв угодишь.

Но он не послушал. Потащился за матерью на второй этаж.

Женщины уже сидели перед экраном. За окном стояли березы в тумане. Кто-то зашелестел серебряной фольгой.

— Тише! — воскликнула одна.

Мать говорила Кольке про нее, что она умирает и знает, что умирает, но не хочет, пока сериал не кончится. И врачи удивляются, что она все еще живет. Вернее, удивляются, что из-за сериала, что такая ересь может поддерживать в человеке жизнь. И если бы побольше серий залудили, еще лет на пять, глядишь, и она — лет на пять, назло медицинским прогнозам. Но сериал должен был закончиться через месяц.

Ей положено было лучшее место — в кресле. Она сидела в пальто, так как всегда мерзла, и нос у нее был красный от внутреннего холода. Коля не сериал смотрел, а на нее.

Под окном, у которого он стоял, жарили батареи. Запахло едой. Кашей какой-то на молоке.

Сериал закончился, и все потянулись к палатам, за тарелками, у каждого была своя, казенные не выдавали. И ложки приносили свои, и кружки, и постельное белье. Больница была бедная. Зато березы давали во все окна вечно-утренний свет. Они стояли еще в снегу, он таял медленно, туманом. Колька бы еще здесь побыл, но мать сказала, что сейчас у них обед, а потом тихий час и посторонним нельзя. Операцию матери уже сделали, и теперь она отсыпалась в березовом морозе.

Колька вышел из корпуса. Туман поднимался в серое, низкое небо. По дорожке шла черная птица. Колька решил подождать, пока она взлетит, но она не взлетала, а шла, и Колька тащился за ней. Она не пугалась, шла спокойно, кивая черной головой.

Шли по аллее друг за другом, птица и Колька. С берез капало. У морга стояло несколько человек. Серый дым от сигарет не поднимался, а растворялся в мартовском воздухе. Кольке подумалось, что и его растворяет этот воздух, и он поглядел на свою руку, пошевелил пальцами, не подтаяла? Птица вдруг взлетела с шумом. И уже с высоты, с белой ветки, поглядела на Кольку.

— Что? — сказал он ей.

Она не ответила.

Елена Долгопят родилась 28 декабря 1963 года в городе Муром (Владимирская область). В 1986 году закончила Московский институт инженеров транспорта, в 1993-м — сценарный факультет ВГИКа, с 1995 года — научный сотрудник Музея кино (Москва). Публиковаться начала с 1993 года, дебютировав в журнале «MEGA». Автор повестей, рассказов, сценариев. В 2001 году вышла книга Е.Долгопят «Тонкие стекла», в 2005-м — сборник «Гардеобщик». Постоянный автор «ДН». Последняя публикация — № 3, 2008.

Угодил действительно в перерыв. Стоял на разбитой, безлюдной платформе и пил пиво. На противоположной платформе, на Москву, народ толпился. Колька разглядывал людей из своего одиночества, тянул пиво. Спешить ему было некуда. Какой-то парень вдруг махнул Кольке рукой. Витька.

Шлагбаум начал опускаться на переезде. Колька бросил банку и рванул.

Он влетел в хвостовой вагон, и двери сомкнулись.

«Поезд следует до Москвы...» — сказал машинист.

Проплыла березовая роща, за которой невидимо стояла больница, и поезд прибавил скорость. Колька шел по вагонам.

Витька не особо удивился, когда он плюхнулся рядом. Закрыв учебник по математике.

— Ну, что, — спросил, — как жизнь?

— Так... А у тебя? Учишься?

— Нет. Хочу. Может, поступлю.

Помолчали. Поезд шел себе.

— Я Нюрку видел. На рынке. В Пушкино.

— Чего она там делала?

— Не знаю. С парнем каким-то шла. Высокий. Улыбался. Знаешь кто?

— Мне все равно.

— Я тоже не знаю.

И Колька замолчал. Он всегда так: поговорит немного и замолчит. Сидит, молчит, улыбается, смотрит на человека, и человеку неловко. Но кто Кольку знал, не смущался. Переставали обращать на него внимание, возвращались к своим делам, мыслям. Как мать Колькина пошла смотреть сериал, и все. Это с непривычки Кольку могли стесняться. Но Витька с Колькой одиннадцать лет отсидели в одном классе. Так что Витька спокойно открыл свой учебник. И выписал на листочек условие.

Народу в вагоне было мало, электричка шла быстро, без остановок. Колька поглядел немного в окно, в листочек с условием. То ли от ровного хода электрички, то ли еще от чего он сам не заметил, как задумался над задачей, и все остальное перестало существовать. И само собой решение стало ясно. Будто кто-то за руку к нему привел. Колька удивился себе.

— Дай карандаш!

Витька посмотрел на него изумленно. Колька вытянул карандаш из его пальцев и нацарапал на листочке решение. Витька смотрел тупо.

Наконец до него дошло. Он покраснел, скомкал листок.

— Тебя просили? Я сам должен. Я не в школе. Я поступить хочу, понял? Урод.

— Ну, извини. Я нечаянно.

Он и правда решил задачу совсем нечаянно, решил — как упал во сне. Он и учился хуже Витьки, и цели у него не было — учиться. У Кольки вообще цели в жизни не было, он ни к чему не стремился.

Витька отошел, принялся за другую задачу, забыл о Кольке. И Колька позабыл обо всей этой математике. Вошел мужик с баяном, и Колька стал его слушать. Он любил всех вагонных музыкантов и, если были деньги, подавал. Но иногда, заслушавшись, забывал о деньгах.

Спустились на эскалаторе в подземелье. На платформе уже Витька спросил:

— Тебе куда?

— А тебе? — спросил Колька.

Витька махнул рукой направо. Колька кивнул и поспешил за ним. Поезд уже подходил. В вагоне сквозь грохот Витька прокричал:

— Я вообще-то в магазин еду. Работать. Первый день.

Колька кивнул. Он смотрелся человеком, довольным собой, жизнью, грохотом, сквозняком, летучим обрывком газеты на замызганном полу...

Из метро он от Витьки не отставал. Вошел за ним в магазин.

Стекланные витрины с мобильными телефонами. Переговорные столики. Молодые люди в белых рубашках и черных брюках неслышно подходят к посетителям.

— Вам помочь?

Мобильники в витринах были будто не человеком сделанные, вроде бы это не

магазин был, а музей инопланетной цивилизации, и мальчики в белых рубашках — ее вежливые представители, они дышали прохладой кондиционеров и объясняли забредшим в их пространство землянам устройство этих красивых штук на стеклянных полках. Витька скрылся за дверью служебного входа, а Колька ждал, когда он выйдет. Хотел посмотреть на него в белой рубашке. Встал к стенке и ждал. Мальчики на него строго поглядывали. Витька появился. Белая рубашка его преобразила. Этот белый цвет был не то что мягкий, березовый, этот белый был жесткий, холодный, в его ореоле Витька стал другим. И, понятно, Колька уже казался ему не знаком, из другого мира, пространства, что там еще можно придумать. Колька улыбался, а Витька смотрел мимо, сквозь стекло витрины. Вошел мужик и огляделся растеряннo. Витька возле него оказался.

— Вам помочь?

Еще немного Колька понаблюдал за Витькой. Дольше уже неудобно было.

Он вышел на совершенно незнакомую улицу. В Москве снег уже исчез. Воздух стоял совершенно неподвижно, и облака не двигались над Москвой. Сплошные, серые, низкие. Воздух был влажный, и Колька в нем чувствовал себя вроде рыбы, можно было бы оттолкнуться ногами от асфальта и поплыть.

Две девчонки пошли через дорогу к «Макдоналдсу», и Колька — за ними.

Взял он гамбургер, картошку-фри и колу со льдом. Сел за столик возле девчонки, ему хотелось послушать их болтовню. Он слушал и улыбался. Они говорили про пейнтбол, стрельбу пулями, которые не убивают. Но след остается, краска. Девочка говорила, что ужасно хотела подстрелить одного парня. Ей это удалось. Наповал. Она так сказала: «Наповал». Но он не увидел, кто в него попал. Она затаилась, а он боялся двинуться, нарушить правила. Она за ним наблюдала, и он знал, что за ним наблюдают, только не знал кто.

Девчонки хихикали, Колька улыбался. Он уже все слопал и пил колу, позвякивая льдом. Вдруг девчонка-стрелок обернулась и посмотрела на него. Колька улыбался.

— Что? — спросила девчонка. Глаза у нее были холодные.

— Вы работаете или учитесь? — спросил Колька.

— А тебе что?

Она молчала презрительно. Но подружка ответила:

— Учимся.

И взгляд у нее был мягче.

— А где учитесь?

— Где надо, — ответила жестко стрелок. Ее подружка улыбнулась.

— Здесь институт, рядом.

— У вас что, уже уроки кончились?

— У нас перерыв.

Девчонки отвернулись от Кольки, зашептались, захихикали. Подружка стрелка оглянулась и засмеялась. У Кольки лед звякнул в бумажном стакане.

— А ты? — спросила строго стрелок. — Где учишься?

— Я не учусь, я работаю.

— Кем? Приставалой в «Макдоналдсе»?

— Не. Я сейчас в отпуске. А так я на стройке работаю, отделочные работы.

— Да ладно.

— Правда. Вот на Третьем кольце есть дом, огромный, мы делали.

— Ты гастарбайтер?

— Нет. У нас их нет, у нас все серьезные люди.

Девчонки расхохотались. Пошептались, поглядели на Кольку шалыми глазами.

Он спросил:

— У вас во сколько уроки кончаются?

— В пять.

— Давайте встретимся?

— Зачем? — отвечала Кольке стрелок. Отвечала строго, но глаза смеялись.

— Так. Погуляем.

— Где?

— Не знаю. Где скажете.

Стрелок задумалась, не сводя с Кольки насмешливых глаз.

— Алтуфьевское метро знаешь?

— Нет.

— Не важно. В центре зала, в шесть тридцать. Только не опаздывай, ждать не будем.

Они ушли, уже не обращая на Кольку внимания, он перестал для них существовать. Девушка-служанка унесла их подносы с цветным бумажным мусором. Колька догрыз последнюю льдинку и вышел из «Макдоналдса». Времени до шести тридцати оставалось полно.

Колька подошел к пожилой даме, она не спеша прогуливалась, дышала мартовским воздухом. Колька вежливо поинтересовался, где здесь рядом институт.

Охранник взглянул на Кольку равнодушно, документы не спросил, видно, ему было лень чего-то спрашивать, шевелиться.

Лекции уже начались. Колька прошел безлюдным коридором. Одна из дверей была приоткрыта, и Колька заглянул в щель. Маленький лысый дядька бубнил, сидя за столом у черной доски. Встал, направился к доске, взял мел. Он стал писать, приподнимаясь на цыпочки. И Колька вошел в аудиторию. Присел за ближайший стол. Дядька обернулся и посмотрел прямо на Кольку маленькими и неожиданно яркими глазами. Колька замер, но дядька не сказал ничего, положил мел в желоб у доски и отряхнул руки. На доске было написано: «Механизм воспроизведения».

Колька огляделся. Девчонок из «Макдоналдса» здесь не было.

Никто на Кольку внимания не обращал, даже парень, который сидел совсем рядом. Впрочем, он набирал эсэмэску и вообще ни на что больше не обращал внимания. «Похоже, я — человек-невидимка» — так примерно подумал Колька. Говорил дядька скучно, и Колька поначалу не слушал, глядел на ребят, в окно, на то, как шевелятся губы лектора. Незаметно его ровный, монотонный голос опутал Кольку, проник в мозг, в сознание. Оказалось, что Колька слушает.

Речь шла о памяти. О том, что человек, как скряга, хранит все, что видел когда-либо, слышал, хоть как-то чувствовал, о чем думал, мечтал, все, до самого последнего впечатления. Даже то, на что и внимания вроде бы не обращал. Все лица, виденные мельком, скажем, на эскалаторе.

Вопрос, как вызвать эти воспоминания. На самом деле вопрос в другом: зачем они нам? Или: при каких обстоятельствах должны являться? При крайних? Но зачем нам на краю, в предсмертный миг, эти лица на эскалаторе? Мы их не знали. Они ни о чем нам не скажут.

От этих вопросов мурашки пошли по коже. Но лектор вопросы поставил, а ответить забыл и скучно вернулся к механизму воспоминаний того, что действительно надо иногда вспомнить. Теорему, скажем, на экзамене. Ручки дружно шуршали по бумаге, Колька скучал.

Девчонок он в институте так и не нашел и в половине шестого выбрался на улицу.

Простоял на Алтуфьевской с шести до начала восьмого. Столько лиц увидел — будет, что вспомнить на краю. Он уж понял, что девчонки его пробросили, но все не уходил, маячил. Поезда грохотали, сквозняки раскачивали люстры. Мужик шел по залу с огромной сумкой. У него было мокрое, скользкое от пота лицо. Время от времени он останавливал какого-нибудь человека и что-то спрашивал или жаловался на что-то, но никто его не жалел, и все бежали дальше с суровыми лицами. В центре зала мужик увидел Кольку.

— Слушай, парень, скажи мне ради Бога, где здесь... улица.

Колька оглянулся. Из метро было два выхода, и на указателях... улицы не значилось.

Мужик вздохнул и побрел дальше со своей сумкой. Было похоже, что это она тащит его за собой всей своей тяжестью. Женщина с сумрачным взглядом подошла к центру зала и остановилась. Женщина посмотрела на часы, на Кольку — скользким взглядом. Спрятала руки в карманы старого кожаного пальто. Голову опустила.

— А вот вы не знаете, — спросил Колька простодушно, — улица... как к ней пройти?

Она подняла голову, посмотрела на Кольку так, словно удивил ее Колькин вопрос.

— Почему же не знаю?

Колька догнал мужика уже у самого эскалатора. Схватил его за рукав.

— Я вас провожу. Это не сюда надо. Наоборот.

— Ну, спасибо, — время от времени повторял мужик, пока они поднимались по эскалатору, выходили из метро, шли по улице. — Ну, спасибо.

Колька хотел помочь тащить сумку, но мужик отказался категорически. Иногда он останавливался отдохнуть, ставил ношу на землю. И Колька слышал, как колотится у мужика сердце.

— Далеко еще?

— Да вроде нет.

В один из таких перекуров зажглись фонари на улице. И за фонарями стало сразу темно, таинственно.

Спросили у прохожего дом.

— Да вот он, прямо перед вами.

— Ну, хорошо, — сказал мужик Кольке, — спасибо тебе. — И пожал ему руку.

— Ты здесь где-то живешь?

— Да нет.

Мужик посмотрел на Кольку недоуменно и даже подозрительно. Но повторил еще раз вежливо:

— Спасибо.

Поднял свою сумку и направился к дому, а Колька стоял и смотрел ему вслед. Мужик скрылся за железной дверью подъезда, а Колька остался один на незнакомой улице. Он побрел по ней так, куда выведет. Посыпал мокрый снег.

Колька вышел к небольшой площади, на которой разворачивались автобусы. На остановке под стеклянным навесом сидела девушка. Колька присел рядом. Она не обратила на него внимания. Глядела на тающий в воздухе снег.

Показался автобус. Он развернулся, подошел к остановке и отворил двери. Девушка будто не видела. Автобус терпеливо подождал, закрыл двери в ярко освещенный, теплый салон и уехал, увозя свое тепло и свет. Колька встал и поглядел на щиток с расписанием. Здесь останавливался только один номер. Колька вернулся на лавку. Девушка все так же спокойно смотрела на снег. Ухо у нее было маленькое и круглое.

— А чего вы автобус пропустили? — решился и спросил Колька.

Девушка не отвечала.

— Холодно так сидеть. Лавка холодная.

Она повернулась к нему. Глаза серые под низкой челкой.

— Тебе что? Чего сам тут сидишь? Делать нечего?

Отвернулась, и так они продолжали сидеть дальше. Жизнь застыла на одной точке, никто не умирал и не рождался, время остановилось. Пропустили еще автобус. Колька стал говорить просто, чтобы что-то сдвинуть в этом молчании. Рассказ был нелепый, но иначе бы и не удалось ничего сдвинуть. Колька это не понимал, но чувствовал.

— У нас был сосед, он заходил к нам, не знаю, может, раз в неделю, звонил в дверь, мать открывала, он говорил: «здрасьте, не одолжите мне соли?» Мать говорила: «да, конечно» и насыпала ему соли... По-моему, он с чашкой приходил, да, с чашкой. Она ему насыпала одну треть, наверно. Он говорил: «спасибо» и уходил. Больше ничего не просил, ни сахара, ни хлеба, только соль. И не говорил ничего, кроме спасибо, ни о погоде, ничего. Один раз мать купила сразу пять пачек, таких картонных, с синими буквами. Он пришел, и она ему отдала все пять. Больше он не приходил. Я его встречал иногда, мы здоровались — и все.

Девушка молчала, наверно, и не слышала. Забыла, что он здесь. Снег перестал, и, может, поэтому она повернула к Кольке бледное лицо. На бледном лице рассыпью темнели веснушки.

— Тебе совсем делать нечего? — спросила девушка, глядя Кольке в глаза.

— Да, в общем... Я в отпуске.

Девушка продолжала рассматривать Кольку. Он улыбался от растерянности. Девушка вынула из кармана кошелек. Колька завороченно смотрел, как она раскрывает лаковый, точно мокрый, кошелек, как вынимает из него деньги. Пять сотен. Она протянула их Кольке.

— Возьми.

— Зачем? — Колька даже руки завел за спину.

— Тут кафе, ты меня угостишь.

— У меня есть деньги.

— Рада за тебя. Но мне твои не нужны.

— А мне твои зачем?

— В кафе расплачиваться. Вроде ты меня пригласил. Вроде как игра.

Для кого игра? В кафе и народу почти не было, а кто был и не смотрел, не интересовало никого, кто там будет за кого расплачиваться. Хотя сначала Кольке подумалось, что девушка показать хочет Кольку парню, с которым поссорилась, как в кино обычно.

Пока ждали заказ, молчали. То есть девушка ничего напоказ не делала, не улыбалась Кольке, даже и не смотрела на него. Стены в кафе были расписаны, тоже столики и люди за ними, но из другого времени, из какой-то совсем старины. Официант там нес кофейник на подносе и пирожное.

— А есть такие сейчас? — спросил Колька официанта ненарисованного. Он ответил, что нет.

Девушка принялась за еду, и Колька тоже. С голоду и холоду все казалось вкусно, и про неясную роль свою Колька совсем почти забыл.

— Тебя как зовут? — спросила девушка. Она порозовела, а веснушек будто еще больше проступило.

— Колька.

— Подходящее имя для тебя.

— А для тебя?

— Мне Ольга подходит.

— А на самом деле?

— На самом деле подходит. Еда ничего?

— Нормально.

— Где ты живешь?

— В области.

— А здесь что?

— Так.

— Дома знают, что ты здесь?

— Нет.

— Волнуются?

— Нет. Мать в больнице, а больше некому.

Девушка задумалась.

— Знаешь, просто так, от нечего делать, человек не мотается.

— Не знаю.

— Ты стихи пишешь?

— С чего это? Нет, конечно.

— С девушкой поссорился?

— Нет. Я ни с кем не ссорюсь. И девушки у меня сейчас нет. Она меня бросила. Я не в обиде.

— Выходит, если ты завтра помрешь, кроме матери, о тебе и не пожалеет никто?

— Ну... — Колька смутился. — Я не знаю. А ты не пожалеешь?

— Да я уже сейчас о тебе почти не помню.

Колька ничего не нашелся ответить.

— Ладно. Официанта зови и расплачивайся.

И Колька подозвал официанта и расплатился.

— Хорошо, — сказала девушка. — Можешь идти.

Но Колька никуда не уходил и все смотрел на нее.

— Что? — спросила девушка уже сердито.

— Зачем ты... все это?

— Хотела представить, что ты мой парень.

— Давай дальше представлять.

— Дальше неинтересно.

— Тогда я тебе верну деньги.

— С какой стати?

— Раз тебе представление не понравилось.

Она усмехнулась.

— Ну, нет. В театре же не возвращают, если не понравилось. И в кино. И в цирке.

— Ага. И в общественном транспорте.

На стене, прямо напротив Кольки, загорался газетой какой-то господин в лаковых штиблетах. На газете были четко видны все буквы, и пар над чашкой убедительно поднимался тонкой струйкой. Год значился на газете тысяча девятьсот седьмой. Такая старина!

Снег кончился. Подморозило, и ноги скользили по обледенелому асфальту. Колька шел дорожкой вдоль долгого дома. Было тихо, только свои шаги Колька и слышал, и вдруг что-то ударило в асфальт, как пуля. Колька замер. Он увидел небольшой металлический предмет. Осторожно приблизился, наклонился. Это была зажигалка.

— Что? — раздался сверху голос, — целая?

Колька поднял голову. Облокотившись на перила смотрел на него с балкона мужчина. Несмотря на холод, в рубашке с распахнутым воротом. Взгляд у него был спокойный. Колька взял зажигалку.

— Действует? — спросил мужчина.

Колька щелкнул рычажком, и пламя вспыхнуло.

— Будь другом, — сказал голос сверху, — принеси ее.

В прихожей был полумрак, хотя горела лампа, но под толстым синим стеклом. И лицо хозяина в этом свете казалось очень уж бледным. И свое лицо Колька увидел в зеркале и тоже удивился его бледности. Колька протянул хозяину зажигалку.

— Сколько я тебе должен? — спросил хозяин, щелкая рычажком. Он смотрел на пламя зачарованно, как на необъяснимое чудо.

— Да нисколько.

Колька оглядывал с любопытством синий полумрак большой прихожей.

— Ты водку пьешь? — спросил хозяин.

— Пью.

— Хорошо, проходи.

Как в шпионском фильме: пароль, отзыв, проходи.

В комнате стен не было видно за книгами.

— Все прочитали? — спросил Колька.

— Нет еще.

— Думаете, прочитаете?

— Не уверен. Жизнь коротка, как говорится, искусство вечно. Садись в кресло. Что к водке будешь? Котлеты ешь холодные?

— Ем. С хлебом.

Только сейчас Колька разглядел, что мужчина очень пьян. Он не шатался и говорил ровно. Но слишком уж ровно. Как будто шел по канату, натянутому высоко. Он отправился за водкой, аккуратно держа равновесие, а Колька уселся в мягком кресле. Из приоткрытого балкона тянуло холодом. Прошел на мягких лапах кот. Откуда он появился, Колька не понял. Скрылся на балконе. Хозяин все не возвращался. Колька выбрался из кресла и посмотрел книжки. Много было на иностранных языках. Колька вытащил одну, полистал. Там были анатомические картинки, и Колька решил, что хозяин — врач. Он втиснул книгу на место. Очень было тихо в квартире. Колька сказал: «Эй!» Но никто не отозвался. Это Кольку встревожило.

Хозяин сидел на диване в большущей кухне и спал, полуоткрыв рот. Зажигалка валялась на полу. Колька растерялся. Может быть, стоило его разбудить. Но он не

решился. Постоял, послушал дыхание спящего. Поднял зажигалку и положил на край липкого, в крошках стола. И тихо вышел.

Дверь он за собой прикрыл до упора, и замок защелкнулся. Колька подумал, что наутро человек даже не вспомнит, что был какой-то парень у него ночью в доме, сидел в его кресле, смотрел анатомический атлас, этого он, впрочем, не видел. Колька почувствовал себя практически несуществующим. Не только в эту ночь, никогда. Он видел свою руку, и ему было больно, когда он ударился ею о фонарный столб, то есть вроде бы он действительно был. Но только для себя самого. Для других — нет.

До метро Колька болтался по улицам, пил кофе в забегаловке, курил на лавке у подъезда. В вагоне, лишь присев на сиденье, закрыл глаза. Он не спал, он слышал, как объявляют станции. Ему надо было перейти на Кольцевую. И он услышал станцию, но разлепить глаза и встать не смог. Он чувствовал все внешнее, разговоры, само присутствие людей, их все больше набивалось в вагон, он не отключался от реальности, но и включиться не мог. Он подумал, ладно, проеду центр и потом пересеяду на «кольцо». И станцию услышал, но встать не смог, только подумал, что надо. Ему случалось не спать ночь, и на другой день он бывал вялым, но не так, не до такого бессилия, эта ночь всю кровь из него выпила. На конечной Кольку растолкала дежурная, он перешел на другую сторону. Садиться не стал, чтобы уже не проехать. Толпа его поддерживала. И глаза не закрывал, смотрел на рекламный плакат. Приглашали учиться на машиниста. Водить под землей поезда. Бесплатный проезд, форма и полный социальный пакет. На Кольцевой его вынесли.

Ноги уже не держали, и Колька рухнул на свободное сиденье. Тут же закрыл глаза. Состояние было то же, все слышал, чувствовал, но не мог включиться. Уже и не хотел, напротив, отключиться бы, но и это не мог, так и торчал на границе двух миров, безумие. Кольцо — линия бесконечная, потому что замкнутая, и идущий по ней поезд никогда не дойдет до конца. Или почти никогда. В измерении пассажира это почти приближается к величине, бесконечно малой. На пятый раз услышав, что объявляют «Комсомольскую», он сумел заставить себя встать. Глаза открыл, уже пробившись к выходу.

В электричке не топили, и потому, верней всего потому, что глаза уже не слипались, сознание прояснилось, Колька прямо ощущал его прозрачность, незамутненность. Встречные поезда шли битком, самый час пик. А в их поезде народу было мало, и колеса свободно грохотали в полупустом, шатающемся вагоне.

Поезд прошел березовую рощу и замедлил ход. Колька уже был в тамбуре.

Снег таял туманом. Березы стояли в тумане. Колька чувствовал его на лице, на руках. Из него не хотелось уходить. И Колька не спешил. Туман проникал в мозг, но сознание оставалось ясным. Кольке вспомнилось четко, как он сидит маленький и рисует лошадь. Лист большой и шершавый, в руке цветная палочка. У лошади черный глаз. И кто-то говорит: «Художником будет...»

Мать сказала, что спала хорошо, дома так не высыпалась никогда, как здесь. На завтрак были творожники, вполне съедобные. Больше говорить она не нашлась и просто смотрела на сына.

— У тебя усы скоро будут, — заметила.

— Ага, — он потрогал верхнюю губу. — Мам, скажи, ты помнишь, как я лошадь рисовал в детстве?

— Нет.

— Красивая лошадь, с черным глазом.

— Я помню, конечно, как ты рисовал. Наверно, и лошадь рисовал. Не помню. Знаешь, Валя наша, которая все сериал хотела досмотреть, она говорила, что очень хорошо в детстве рисовала и всегда лошадей. Так и не досмотрела сериал, умерла в эту ночь. Так странно.

Уже дома, глядя в телевизор, Колька догадался, что, наверно, чужое воспоминание проникло в его сознание с мартовским туманом. А куда было деваться, если родное сознание умерло. Куда воспоминаниям вообще деваться? Кольку поразила эта мысль, но сил додумывать уже не было, и он уснул перед телевизором, не слыша его, не чувствуя, отключившись наконец.

Расчет

Что-то в них было усталое. Не хотели они уже никуда идти. Встали в чужой прихожей, истекли черной лужей. Мать прошептала Диме, что ботинки эти — отцова приятеля. Отец с приятелем сидели очень уж тихо, ни голосов, ни покашливания, никакой жизни.

Мать посмотрела на него тревожно. Дима отвел взгляд. Он понимал, что каждое их движение и шепот матери насчет ботинок они слышали, отец и его приятель. Вообще-то к отцу приятели не заходили, они у него не водились. Это впервые на Диминой памяти к нему кто-то зашел.

— Сынок! — крикнул отец высоким растерянным голосом.

Дима переступил лужу. Мать приняла у него куртку.

Шла за ним с курткой в охапку. И весь долгий разговор простояла у притолоки в кухне, прижимая к себе куртку сына, пропахшую дешевым куревом и чем-то еще, родным и чужим одновременно, близким и далеким, ускользающим, чем-то, что никак невозможно удержать, как ни прижимай, ни притискивай.

Приятель отца сидел у окна, Диме показался он знакомым, да мало ли знакомых лиц в поселке.

— Николай Федорович, — сказал приятель и протянул Диме руку. Пожал узкую Диминой ладонь. — Ты садись. Есть, наверно, хочешь с дороги?

— Нет. Я поел.

— Чай выпей. С холоду. Мы с твоим отцом выпили пару чашек. Давно уже сидим.

— Да нет, я не хочу.

Чужой человек распоряжался в их кухне. Почему-то они были в его власти. Чего-то от него ждали. От него зависели.

— Ты в этом году школу заканчиваешь?

— Да.

— Все пятерки?

— Не все.

— Поступать будешь?

— Хочу.

— Отец говорит, на юридический?

— Для начала. Я думаю, два образования получить. Юридическое — это основа. В законах надо разбираться. Второе образование еще не решил какое. У меня склонность к языкам, но это само собой. Вообще, я в любой области могу продвинуться.

— Даже в балете? — усмехнулся Николай Федорович. Но Диму его усмешка не смутила. Он, кажется, вообще был без чувства юмора, смешного. И на вопрос ответил с полной серьезностью.

— Не знаю. Если бы с детства занимался, может быть. В принципе фигура у меня подходящая. И слух есть, и чувство ритма. Я мог бы постановщиком работать. Но это уже упущено, что говорить. Я реалист, я исхожу из возможного.

Речь у него была правильная, практически без неровностей, со странными иногда словами для шестнадцатилетнего мальчика («реалист», «исхожу из возможного»). Хотя, что странного? — и шестнадцатилетние мальчики разные бывают. Речь Димы напоминала конструктор. Он выстраивал из слов свое будущее, определял его как можно четче. Построение увлекало. Возникающее на глазах будущее (плотное, почти осязаемое — из бесплотных слов) завораживало. Казалось, будущее можно потрогать.

Речь мальчика умиротворила мать и отца. Во всяком случае, они заметно успокоились с течением его речи. И не так нервно смотрели на гостя. Николай же Федорович слушал Диму с большим вниманием. Редко когда посторонний человек будет с таким вниманием слушать про ваше будущее. Кому ваше будущее интересно? (Прошлое и настоящее в том же ряду.)

— Да, — искренне пожалел Николай Федорович. — Меня англичанка как уговаривала дополнительно заниматься, а я, дурак, все упустил.

— Кто вам сейчас мешает догнать?

— Мне пятьдесят скоро.

— И что?

— Устаю очень после работы, не до английского. Телевизор погляжу — и спать.

Поживи с мое.

— Английский, разумеется, надо знать. Об этом и речи нет. Но я хочу тюркские языки выучить или иранские, те и другие, думаю. Это будет востребовано. Казахи, таджики к нам приезжают, их никто не понимает. Я буду переговорщиком и законы буду знать, никто не собьет. Меня все уважать будут.

— Чтобы учиться, деньги нужны.

— У нас есть, — вставил слово отец.

— Для учебы мне деньги не нужны, — уверенно сказал Дима, — бесплатные места всегда есть.

— Сложно поступить.

— Я поступлю. Если я ставлю перед собой цель, то я ее достигаю. У меня прекрасная память, я умею сосредоточиться, меня не собьешь. Главное — захотеть.

— Но времени у тебя не так много. Полгода до окончания школы, чуть больше. Ты, наверно, день и ночь занимаешься? Ничего себе не позволяешь, ни с друзьями вечер провести, ни на концерт сходить?

Отец тревожно взглянул на Диму.

— Я вчера был на концерте, — отвечал Дима совершенно спокойно. — Невозможно заниматься день и ночь, с катушек съедешь.

— Любишь музыку?

— Вообще-то не очень. Я пошел за компанию, чтобы отвлечься.

— Хорошие ребята?

— Нормальные.

— Они втроем дружат, с начальной школы, — вмешался отец. От беспокойства голос его утончился. Мать сказала тихо:

— С Андреем — с детского сада.

— Поздно обратно ехали? — спросил Николай Федорович Диму и тут же, не дожидаясь ответа, обратился к матери: — Я на прошлой неделе в девять часов возвращался, и не было последнего автобуса, пришлось такси ловить, сто рублей. Шофер — мой знакомый, всем мне обязан, не хотел деньги брать, но я так не могу, за бесплатно.

— Мы возвращались последней электричкой, — сказал Дима, едва Николай Федорович закончил свое отступление, — автобусы уже не ходят в это время. Но такси было. Там всегда стоит машина к последней электричке.

— Синяя?

— Темно-вишневая. «Жигули». «Восьмерка».

— Опять мой знакомый!

— Этого я не знаю.

— У него очки с толстыми стеклами.

— Не было очков.

— Он вообще без очков не ходит.

— Значит, не ваш знакомый.

— Пожилой?

— Лет тридцать.

У Николая Федоровича взгляд остановился, затуманился, стал будто сонным, так случалось обычно, когда Николай Федорович задумывался.

— Понятно, — произнес Николай Федорович.

— Что? — не понял Дима.

— Нет-нет, ничего. Не важно. — Взгляд его прояснился. — В вагоне много было народу?

— Не особенно.

— Спокойно доехали?

— Да.

— Не обратил внимания, там женщина ехала? С кошкой.

— У окна сидела.

— Моя соседка. Она тоже говорит, что все спокойно было, никаких ссор. Даже разговоров она не слышала. Почему ты вдруг ушел из вагона?

Дима молчал.

— Обычно поселковые едут в этом вагоне, так как от него ближе к автобусу бежать. И ты в нем ехал, вместе со всеми, но вдруг ушел. Почему? Я искренне хочу понять.

Дима не отвечал. Он сидел отрешенно, будто и не слышал вопроса. Николай Федорович вздохнул и перешел к следующему пункту:

— С вами девушка была.

— Пашина сестра, — мгновенно откликнулся Дима. — Мы ее на вокзале встретили, она по каким-то своим делам была в Москве.

Николай Федорович задумался, подыскивая, вероятно, еще вопросы.

Вдруг отец произнес тонким, прозрачным голосом:

— Ты зачем в другой вагон перешел, сынок? — Не хотел оставлять вопрос неразрешенным. Неразрешенный вопрос — вроде бомбы с замедленным, отложенным действием.

— Из-за музыки, — Дима устало взглянул на отца, его, кажется, начал утомлять этот допрос. Под глазами стали заметны тени.

— Тихо же было в вагоне? — удивился Николай Федорович.

— Я уже говорил вам, что не особенно люблю музыку. Она на меня нехорошо действует. Я все преувеличенно начинаю воспринимать. Все становится слишком отчетливым. На яркий свет даже смотреть больно. Я ушел из-за Пашкиной сестры. Она меня не очень любит, я ее раздражение всегда чувствую, после музыки особенно. С чего я должен был терпеть? Встал и ушел.

— Почему она тебя не любит?

— Не знаю.

— То есть конкретной причины нет?

— Она меня не любит как особь. Я ей чужд.

— Тебе она тоже не нравится?

— Я бы ее не замечал, если бы не ее колючки. Все время натыкаешься.

— Есть еще люди, которые тебя не любят?

— Химичка.

— Также без причины?

— Я лучше ее знаю предмет.

— Это серьезно. — Николай Федорович обратился к Диминому отцу: — Я знаю случай: один человек лучше другого в шашки играл, из этого вышло убийство.

Мать и отец посмотрели испуганно на Николая Федоровича.

— Не думаю, чтобы химичка убила кого бы то ни было, — хладнокровно заметил Дима. — Она даже оценку боится снизить, чтобы не показать свою злость. Все при себе держит. Дома, наверно, отрывается. Или плачет в подушку.

— А ты разбираешься в людях.

— Я разбираюсь в себе. Ну, и в других приходится.

— В другом вагоне тоже все было тихо?

— Да.

Николай Федорович молчал. Мать переступила с ноги на ногу. Отец смотрел тревожно. Все как будто чего-то ждали от Димы.

— В Строителе вошел один человек. Пустой вагон, но он уселся напротив меня. Я бы предпочел, чтобы он сел где-нибудь в другом месте. Мне хотелось побыть одному. Но лень было вставать, к тому же он почти сразу уснул. У Клязьмы вскочил, схватил свою сумку и рванул к выходу. Поезд тронулся. Все.

— Больше ты его не видел?

— Видел — через окно. Он стоял на платформе, мы проезжали мимо.

— Он тоже тебя видел?

— Возможно.

— Он смотрел на тебя с платформы?

— Похоже на то.

— И каким взглядом?

— Не знаю. Непроснувшимся.

— Да, — сказал задумчиво Николай Федорович, — наверно, ты прав, наверно, ему это спросонья привиделось, помнилось.

— Что? — спросил Дима. Вопрос был неизбежен.

— Освещение в вагоне было достаточно яркое?

— Достаточно для чего?

— Он утверждает, что отчетливо видел с платформы, как ты раскрываешь его бумажник светло-коричневой кожи. Электричка ушла. Он бросился смотреть в сумке. Бумажника не было.

— Странная история, — сказал Дима.

— Не особенно, — сказал Николай Федорович. И замолчал.

Отец и мать хотели бы, чтобы молчание длилось, им страшно было то, что скажет в конце концов Николай Федорович, куда повернет. Дима ждал спокойно.

— Когда отъехали от Мытищ, Паша пошел курить в тамбур. Он удивился, что тебя там нет. Он думал, ты там стоишь, куришь, или просто в окно смотришь. Ты ведь давно из вагона вышел. Паше любопытно стало, куда ты делся, он перешел в другой вагон и увидел тебя уже из тамбура. Открывать двери, входить он не стал. Ты сидел, он смотрел. Закурил. Ты наклонился к сумке пассажира, сумка была расстегнута. Ты осторожно вынул из нее бумажник светло-коричневой кожи. И спрятал себе в карман. Больше ничего не происходило. Паша докурил сигарету и ушел в свой вагон.

Дима устало молчал.

— Во сколько ты вернулся вчера домой?

Дима не отвечал, ответила мать, очень тихо:

— Около двух ночи. Я слышала, как он вошел, посмотрела на часы. Отец спал, а я никогда не усну, пока он не вернется.

— Электричка пришла в 11.40, без опоздания. Через несколько минут ты был с друзьями в машине. У «Сказки» ты попросил остановиться и вышел, сказал ребятам, что у тебя встреча. Твои друзья были дома к полуночи... Хорошо провел время в «Сказке»?

— Все проиграл и поужинал.

— Именно в такой последовательности? Значит, не все проиграл.

— На ужин я сразу отложил.

— Предусмотрительный. Даже слишком для твоего возраста.

— Я всегда такой был.

— Не огорчил тебя проигрыш?

— Да нет. Деньги шальные. На свои я бы не стал играть.

— Бумажник где?

— Забросил в мусорку у «Сказки».

— До или после?

— До.

— Молодец. Ты играл раньше?

— Впервые в жизни.

— Понравилось?

— Я смог остановиться, голову не потерял, да, все неплохо прошло.

Николай Федорович молчал, довольный. И довольство это было мирное, он словно бы поболтал о том о сем, скоротал время, и уже готов поблагодарить за хороший вечер, зевнуть утомленно и уйти, пожелав всем спокойной ночи.

Но он молчал и не уходил. Да никто и не ждал, что он уйдет прямо сейчас.

Зазвонил телефон. Мать взглянула испуганно на отца, отступила от притоки растерянно, а телефон вдруг смолк. Они ждали, что будет еще звонок, но телефон молчал. Все молчали.

Дима начал говорить — сам себе. Он ни перед кем не оправдывался, он сам с собой разбирался, что случилось. Очевидно, ему было непонятно, зачем он это сделал.

— Уселся напротив меня, хотя его никто не просил, — так начал Дима. — Зачем? Чем его не устроили все остальные сто сидений? Хочешь, у окна, хочешь, в середине, хочешь, на печке. Но он сел напротив меня.

— Может, ему было одиноко? — тихо сказала мать. Но Дима на ее реплику не ответил, возможно, не услышал.

— Из сумки тренькнуло. Он вытащил мобилу, прочитал сообщение, сунул трубку в карман. Долго глядел в окно. Чего он там видел, кроме своего отражения? Уснул. Он спал, а сумка стояла с раскрытой пастью, из нее выглядывал бумажник. Будто ему любопытно было поглядеть, что снаружи... Правда, будто сам высунулся. Сквозняки гуляли, поезд шел быстро, мы были одни в вагоне.

Дима замолчал.

— Не знаю, почему я это сделал. Наклонился и вытащил бумажник. И ничего не произошло. Он спал, поезд шел. Я спрятал бумажник в карман, и... И все. Ничего в мире не переменялось.

— На самом деле, все переменялось.

— Я не заметил.

— А ты думал, будет знамение? Кто-то сорвет стоп-кран? Машинист запоет: «Очи черные»?

Дима молчал.

— Самые главные перемены в нашей жизни происходят так тихо, что жуть берет. — Николай Федорович посмотрел грустно на Диму: — Интересно, — сказал вдруг, — а почему ты не ушел сразу? Чего ты ждал, сидя перед ним?

— Он ноги вытянул во сне, я боялся, что споткнусь или как-то еще задену и он закричит. Не мог я решиться сразу, а когда решился, он проснулся, дальше вы знаете.

— Что же теперь делать? — спросила мать.

— Я думаю, — сказал отец, заметно успокоившись, — мы можем компенсировать тому человеку... потери.

— Не можете.

— Почему? Сколько там было денег? — отец обратился к Диме.

— Сорок три тысячи сто пятьдесят два рубля.

— Мы можем собрать такую сумму. И сверх того — за моральный ущерб.

— Именно что — моральный ущерб, — вздохнул Николай Федорович. — В нем-то все дело. Деньги вернуть можно, а вот фотографию, которая в бумажнике хранилась, никак уже не вернешь. Мы все обшарили, все что возможно.

— Что за фотография? — спросил отец. Как будто мог ее воспроизвести.

— Жена с дочкой. Семья Андрея Ивановича. Так его зовут. Они погибли, сгорели, пять лет назад. От них ничего не осталось у Андрея Ивановича, только эта фотография.

— Какой ужас, — прошептала мать.

— Андрей Иванович не желает денег. Он хочет, чтобы вор понес наказание — по закону. Видишь, Дима, ты так тонко рассчитал всю свою жизнь, но самой малости не учел: пустого вагона, спящего человека напротив, соблазна. Музыка не учел, которая тебя нервирует. У меня был приятель, мы в армии познакомились, он от спиртного, даже от пива, становился таким мрачным, в окошко один раз прыгал, ребята удержали, только порезался. В конце концов перестал пить вообще, ни при каких обстоятельствах себе не позволял, даже кефир. Нормально сейчас живет, всем доволен, внуков к нему возят на выходные. Так что — не слушай музыку. Только все равно всего не учтешь. Потому что себя до конца не знаешь. С течением времени что-то начинает проясняться. И лучше бы не все.

— Я о себе ничего такого не выяснила с течением времени, — сказала мать. — Ничего особенно плохого, ничего особенно хорошего.

— Люди обычно склонны закрывать глаза на такие вещи, — возразил Николай Федорович. — Стараются не замечать.

— Да нечего мне за собой замечать.

— Возможно. Я не спорю. Но ваш сын, как человек рациональный, старается все в себе не упустить, так что ему предстоят еще открытия.

— Ему, кажется, суд предстоит, — остановил доморощенного философа отец. — Неужели нельзя... хоть что-то?..

Николай Федорович подождал, не выразится ли отец Димы определеннее. Но не дождался.

— Наймете хорошего адвоката. Дадут условный срок. В биографии останется пятно. Пятнышко. В будущем эта ерунда никого вообще не заинтересует. Хотя... Будущее полно неожиданностей, — он рассмеялся. — Кино такое было — «Улица полна неожиданностей». Не помните? — спросил он Диминову мать.

Она не отвечала.

— У вас такое траурное лицо, как будто жизнь кончилась. Между тем все разрешимо. И не из таких тупиков люди выход находили. Тем более что и тупика особого нет. Если вам хочется, чтобы все совсем было чисто, могу предложить такой вариант: у меня есть паренек, он возьмет на себя кражу, ему это легко, он и так по самые уши, кражей больше, кражей меньше, срок все равно получит. Ему ничего не стоит, а Дима чист.

— Не за бесплатно, конечно? — уточнил отец.

— Адвокат тоже не за бесплатно.

Отец молчал. Мать смотрела на него, ждала решения. У Димы было отстраненное лицо, он понимал, что от него ничего уже не зависит.

— Я не настаиваю, — сказал Николай Федорович, — выбор за вами. Пареньку моему деньги ни к чему, только к беде приведут, я его за так уговорю. Не совсем за так, конечно, закрою глаза на другое его художество, посерьезнее.

— То есть деньги — вам?

— Думаю, насчет суммы мы договоримся. Мое правило — не зарываться.

— Что за паренек? — спросила мать. — Что он натворил? — в голосе ее было сочувствие к неведомому человеку.

— Это вам знать не нужно. И ему о вас знать ни к чему. Зачем нам сложности?

— Как же Андрей Иванович? Он видел Диму.

— Видел он больше свой бумажник в чужих руках. В вагоне он спал. Прежде чем уснуть, в лицо Димино не всматривался. Все, что он может сказать, — напротив него сидел подросток, светловолосый, короткостриженный, в черной куртке. Наш паренек тоже светловолосый, короткостриженный, в черной куртке... Они же все сейчас в черных куртках и в джинсах — как в униформе. К тому же он сознается. И, разумеется, у Андрея Ивановича ни малейших сомнений не возникнет. С чего бы?

— Даже если он с Димой вдруг столкнется?

— Не узнает. Поверьте моему опыту. Он человек не особенно внимательный, пока ехал, больше был занят своими мыслями, чем вашим Димой.

— А Паша? Он-то ведь точно Диму видел из тамбура. Кражу видел.

— С Пашей я говорил, как вы можете догадаться. Паша тоже не без греха, и мне этот грех очень известен. Мы порешили, что он ничего не видел.

Мать вновь посмотрела на отца выжидающе.

— Я уже пятьдесят с лишним лет живу на свете, — сказал Николай Федорович, — в милиции — сорок лет почти и все здесь. Если меня не все знают, то я знаю всех. И хорошо знаю. И до сих пор жив. О чем-то это говорит?

— Я должен подумать, — сказал отец.

— Что ж, — Николай Федорович взглянул на часы. — Минут пятнадцать у меня еще есть. — И пояснил: — Завтра вставать рано, обещал внуку с утра приехать, нельзя проспать, ждать будет.

Андрей Иванович.

Он стал забывать их лица. Прежде в любой момент мог достать бумажник и вспомнить. Теперь не на что было опереться. Их образы становились смутными, выцветали, таяли. В конце концов они меньше стали его мучить. Он стал засыпать без сновидений. Однажды заметил, что Тамара из их отдела сменила прическу...

Паренек, взявший на себя кражу.

Дали три года. В колонии, не по расчету, в драке, убил человека. Вышел по амнистии через семь лет.

Купил на вокзале клубнику. Ехал в тамбуре, ел клубнику. Зимой! Никак не мог понять вкус. Грохотали колеса. Он был жив.

Дима.

Закончил юридический. Выучил фарси, турецкий, казахский. Трудился в строительной фирме. Прекрасно зарабатывал. В электричках не ездил, жил в Москве. Музыку не слушал.

Однажды вошел в подъезд и увидел там спящего. Кошелек выглядывал из кармана куртки. Пахло алкоголем. Дима огляделся. Пустые зрачки дверных глазков. Обморочная тишина. Дима нагнулся и медленно вытянул кошелек. Спрятал в карман. Начал подниматься.

Всего полторы тысячи было в кошельке, Дима выкинул его на другой день в помойку.

Ожидал последствий. Не случились.

Надеется, что больше ничего с ним такого не произойдет.

Вид из окна

— У вас другой вид из окна, — произнес Николай Сергеич рассеянно.

Парень прицепил микрофон к лацкану его пиджака.

— Простите?

Николай Сергеич смутился.

— Нет, ничего.

— Что вы имели в виду? Что не так с этим видом?

— Все так, что вы.

— Но почему вы это сказали?

— Я, когда шел к вам... Вернее, не к вам. Я ведь случайно здесь.

— Да?

— Я к лифту шел. И вдруг увидел дверь по ходу. Афишку. Я прочитал...

Парень ждал окончания предложения. Но человек на стуле смущенно молчал.

— Николай Сергеевич.

— Да?

— Что с видом? Вы сказали, другой вид из окна. Что с ним не так?

— Нет, все так, нормально.

— Но вы сказали, другой вид из окна. В сравнении с чем?

— Возле лифта есть окно. Вся стена — окно, стеклянная. И там город внизу.

Другой. Не Москва.

— Да?

— Будто бы.

— А что? Нью-Йорк? Лондон? Париж? Мытищи?

— Да нет. Просто другой город, чужой. Знаете, как бывает? Чужое лицо в зеркале.

— Я что-то не улавливаю.

— Я имею в виду свое лицо. Иногда. Случайно увидишь свое лицо в зеркале и не узнаешь. Чужое лицо.

— Ах, в этом смысле. Да, бывает, спросонья.

— А здесь — город. Чужой.

— Я понял. Вы бы хотели в нем оказаться?

— Ну нет! И потом. Если бы даже захотел. Каким образом?

— Думаю, просто. Выйти. У нас есть выход на ту сторону.

— При чем тут выход? Это все равно что сказать, будто есть выход в картину.

— Я, кажется, понял.

— Да? — Николай Сергеич поглядел с недоверием.

— Ладно, не важно. Мы сейчас простые вопросы разберем. Где ваша родина,

сколько вам лет, когда женились... Биографические данные. Тоже не так просто на самом деле.

Николай Сергеич говорил обстоятельно, замолкал, припоминая подробности, парень ждал. Он объяснил, что подробности важны, что дело не в одних датах и фактах, у них научный метод, так что да здравствуют подробности. Разговор записывался. Парень сказал, что анализируется не только содержательная сторона, но и голос, интонация, словарный запас, стилистические особенности, оговорки. «Это как отпечатки пальцев».

Полностью научный метод. Как и значилось в афишке.

Неужели компьютер все это разберет? Отличит одно слово от другого? Поймет их значение? Увидит за всеми этими словами человека, живого и, кажется, неповторимого?

Парень объяснил, что и он не последнюю роль играет в анализе. Его роль — интерпретация. Машина — оракул. Разберет, различит, ответит. Но кто разберет и различит в ее ответе смысл? Кто его растолкует?

— Машина — оракул, а я — жрец. Как в Древней Греции.

— А если вы неправильно истолкуете?

— Я всегда осторожен, на мне ответственность, я понимаю. Когда смысл кажется особенно темным, я не берусь толковать и возвращаю деньги.

Парень отцепил микрофон и велел Николаю Сергеичу погулять. Ответ будет часа через два.

Николай Сергеич растерянно вышел из маленького кабинета в прохладу торгового центра.

Лифт поднимался. Прозрачная капсула в прозрачной колбе. Внизу, на первом этаже, переливался в разноцветном освещении фонтан. Николай Сергеевич приблизился к стеклянной стене. Город оставался чужим за ней.

Может, стеклянная плоскость была виновата? Вдруг у стекла был какой-то особый оттенок? И всего лишь. И от такой мелочи зависит человек, его состояние, его взгляд на мир. Смысл жизни — в оттенке стекла. Или в цвете обоев. Да, насчет обоев надо будет подумать.

Николай Сергеич спустился на нулевой этаж, к фонтану. Постоял у прохладной воды. Фонтан журчал. Из бутиков неслась музыка, из каждого своя. По середине прохода стояли лавки для отдыха. Девушка примостилась на лавку, сняла туфли, пошевелила босыми пальцами.

Сдобный ванильный запах дошел волной, накрыл. Запах сахарной, тающей в тепле пудры, запах изюма, детский, праздничный. Он не пробудил в Николае Сергеиче воспоминания. Но желание и охоту взять в руки свежее испеченную булку, разломить и съесть. Николай Сергеич огляделся.

Небольшое, крохотное помещенище внутри огромного торгового кита, где-то в самом брюхе. Удобные кресла, мягкий свет, покупательский мир отделен стеклянной витриной.

В самом запахе было что-то слегка лекарственное, но не химическое, а травяное, ночное, лунное. Свойство этого лекарства (на Николая Сергеича) было успокоительным, проясняющим.

Он ел вкусную булку, похрустывал корочкой, запивал кофе с молоком (тоже детский вкус), глядел на безумную толпу людей, товары на них охотились, притягивали, привлекали, цветами, формами, ароматами. Так что и Николай Сергеич был один из них, хотя и глядел сейчас со стороны.

Он сидел, абсолютно успокоившись, придя в состояние полного, полнейшего равновесия. И ясно понимал сейчас, в этом состоянии, что решение очевидно. Он сам его принял, без всякой машины с ее медиумом. Вопросы-ответы, комнатуха (прокуренная, кстати), прогноз — все это было не из его жизни, не из жизни вообще, из дурного фильма класса «В» или «С», короче, самого низкого, ничтожного, для мальчишек.

Николай Сергеич достал мобильный.

— Здравствуйте, Анна Васильевна, это вас Николай Сергеич беспокоит. Да, я принял решение.

Анна Васильевна поинтересовалась, что же повлияло в конечном счете. Николай Сергеич ответил честно (как всегда) и смущенно (как весьма часто):

— Булки здесь у вас вкусные пекут, недалеко, в торговом центре.

Помолчал. И Анна Васильевна молчала с той стороны недоуменно. С той стороны чего? Какое стекло их разделяло? Где она была сейчас, что делала? Она ведь ему понравилась. Ему всегда нравились умные женщины, хоть он перед ними и терялся.

— Съел булку, — сказал он (когда она была с той стороны *чего-то*, он был храбрее), — съел и понял, что надо переезжать.

— Такая вкусная? — усмешка в голосе.

— Вкусная. Но дело не во вкусоности, а во вкусе. Или привкусе. Может, они что-то такое в тесто подкладывают, что-то успокаивающее, не знаю. Знаю, что вряд ли когда-нибудь еще куплю эту булку, я с деньгами не очень охотно расстаюсь, а булка, конечно, дороговата, я ее ел и думал, шикуюшь, плесень... Нет, они точно туда что-то подкладывают, я так с вами разговорился, так язык распустил, простите.

Николай Сергеич был уже далеко от кондитерской, над кондитерской, шесть высоченных, густо населенных этажей их разделяли, а он все чувствовал в себе этот сдобный запах, он проглотил его вместе с булкой, вместе с успокоительной, раскрепощающей добавкой. Действие ее длилось. Николай Сергеич зашел в детский отдел и взял внуку «Мерседес». Колеса вращались, дверцы открывались, руль поворачивался, сиденья были мягкие, пахли кожей, стояла машина треть пенсии.

Да, состояние (и не только душевное?) человека зависит от мелочей. Оттенок стекла, вкусовая добавка. И вам страшно или легко. Может, Николай Сергеич был особо зависимый (особа зависимая), может, на другого человека не действовали все эти оттенки, не имели влияния? К тому же в этот день он был растерян и встревожен. Беззащитен для вторжения.

Он вышел с покупкой из отдела и направился к лифту.

Парень торопливо затушил папиросу, разогнал дым ладонью. Окно было приоткрыто, оттуда гудел, рокотал город.

Николай Сергеич примостился на край стула, покосился на экран, там как будто дом возводился из кубиков, и рассыпался, и складывался из кубиков человек, шагал неуверенно и рассыпался, и росло из кубиков угловатое дерево, росло и рассыпалось, разваливалось...

Рука парня дрожала мелкой дрожью, когда он поспешно гасил папиросу.

Николай Сергеич как-то не сразу заметил эту дрожь, но лишь только заметил, уловил, увидел и замызанную пепельницу, и грязный пол, и пыльное стекло (сквозь него, сквозь пыль, город казался таким обыкновенным, таким своим), и серую паутину в углу под потолком. Заметил — наконец! — что компьютер — устаревшей модели, почти инвалид.

Какая программа, какой прогноз! У него и на приличную игру не хватит памяти, у него забвение в железных мозгах. Все туфта. И рука парня дрожит не просто так, а по болезни, по жажде, которую утолил он прямо сейчас, перед приходом Николая Сергеича, так ясно пахло спиртным и курево не заглушало.

— Простите, — сказал парень, откашлявшись в кулак. — Я немного перекусил.

— Да-да, конечно, я могу позже или даже... — Николай Сергеич привстал.

— Нет, что вы, прогноз готов. Одну минутку.

Парень рванул к компьютеру, дернул мышкой, кубики исчезли, появился word-овский файл в несколько строк.

— Сейчас распечатаю.

Парень оглянулся. Глаза его смотрели виновато.

Запах курева казался киношным.

В фильме нет запахов, понятно, хотя и были эксперименты, когда во время показа давались определенные ароматы; но фильм — это не только фильм, но и прохладное фойе, и буфет, и вот здесь уже пахнет куревом, и в зале пахнет, очень, хотя и нельзя в зале курить и не курят, но запах проникает, прослаивает картину, помогая (да!) замыслу авторов. И это касается не только фильмов группы «В» («С»).

(Впрочем, все это относится ко временам, когда Николай Сергеич еще бегал в кино, и фильмы делились как-то иначе, не по буквам; то есть ко временам, давно прошедшим.)

Денег Николаю Сергеичу было не жалко (в данное случае), бог с ними, а парню все-таки заработок. И даже не обидно, что обманулся, принял иллюзию за реальность. Николаю Сергеичу, видимо, нужно было это представление, для успокоения.

И, конечно, Николай Сергеич не стал говорить парню, что сам все уже решил (спасибо булке), но принял распечатку, поблагодарил, пожал теплую, живую руку (сколько ей еще оставалось быть живой? — брат Николая Сергеича умер в сорок пять, страдал той же жаждой).

В листке было написано, что сделка не состоится, какое бы он ни принял решение.

Удивительно, что Николай Сергеич не отправился сразу из торгового центра. Он уселся на лавку в проходе, широком и долгом, как улица, положил рядом коробку с мерсом. Он стал размышлять (невольно), почему сделка не может состояться? То есть она состоится, конечно. Но если бы не состоялась, то из-за чего? Гипотетически.

Самой ужасной и самой очевидной причиной могла быть только смерть. Его? От этой нелепости никак не удавалось отмахнуться. Как от запаха едкого, дешевого курева; пиджак пропитался, волосы, даже руки.

Какая же смерть может ждать героя (здоровье — твердая четверка) в фильме класса «В-С»? Случайная? Машина, пьяный водила? (В таком вот фильме мерс из коробки мог обернуться вдруг настоящим, вырваться из игры в реальность, убить.) Но смерть должна быть закономерной, законной, заслуженной.

Николай Сергеич буквально увидел внутренним взором убийцу в укромном месте у своего подъезда, за кустами сирени. Только лица его не мог разглядеть, как ни силился. Для начала надо было разглядеть поточнее свою жизнь (чтобы ответить за нее).

Николай Сергеич сидел на лавке, люди шли, останавливались, заглядывали в магазинчики, присаживались отдохнуть. Разговаривали, откашливались, шаркали подошвами... Все это сливалось в какой-то морской гул (раковина на комод). Николай Сергеич был отрешен от происходящего.

С удивлением он понял, как ничтожно мало помнит собственную жизнь, как она от него уже далеко. Жизнь какого-нибудь киногероя ему ближе, он видит ее яснее, чем собственную. Часа полтора экранного времени, и вся она — на ладони. Его жизнь была как воздух, ладонь не могла ее зачерпнуть, удержать, она рассеивалась.

Воспоминания пришли неожиданно, сами собой. Прошлое вдруг вернулось и обступило — прохладной водой. Он шел уже от метро.

Вода, темная и тихая, под темными и тихими елями. Небо прозрачное, уже вечернее. Он вступает в воду. Темная вода прозрачна, он видит свои босые пальцы, камешки, песчинки, рыбешек. Но где эта вода, почему он совсем один долгим летним вечером? И откуда знает, что вечер долгий?

Он не мог ответить. Да и не хотел. Ему важно было само ощущение вечернего лесного воздуха (брел нога за ногу пыльным московским проспектом, пропускал его мимо сознания).

Вспоминалось одно, другое, какой-то очень тихий разговор, будто кто-то спит в комнате, собака бежит в переулке, хвост набок, витрина в старинной аптеке. Оказывается, жизнь была.

Он стоял, широко раскрытыми глазами уставившись в заросли. Никто его не поджидал.

Равиль Бухараев

Призрак совести, или Фантомные боли настоящего

И постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день: «не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет (Господа) Бога моего среди меня?»

Второзаконие, 31—16

Очень я сокрушался в минувшие два десятилетия о том, что за всю советскую эпоху не успел побывать в Ашхабаде и не видел воочию, как цветет красными тюльпанами и зеленеет травой весенняя пустыня... Особенно досадно было, что тогда проводниками моими в пески и оазисы Каракумов вызывались быть замечательные, еще молодые тогда туркменские детские поэты, и сокровенную красоту великой пустыни я увидел бы их глазами, полными в те годы ранней созидательной мудрости, а не поздних многопечальных прозрений.

Однако настало нареченное время — и путь возвратных странствий лег и повел меня как раз по тем местам, куда оказалось суждено попасть именно в непостижные Нулевые: в осенний Крым, зимний Киев, весенний Ашхабад и летнюю Астану. Каждая из этих ностальгических поездок была по-своему поучительна, но сегодня речь о том, что каждая из них добавила мне (словно еще мало было) сердечной и умственной кручины, в чем и исповедуюсь ныне перед всем белым светом.

Перед кем уже притворяться-то и чего бы ради?

Не мне же одному до горечи обидно, что многое не успелось и уже не успеется никогда — как наш условленный по телефону разговор с Чингизом Айтматовым в канун его, так и не состоявшегося, восьмидесятилетнего юбилея. Он ушел внезапно — и заслуженно превратился в легенду, в сказочного героя мифической эпохи, о созидательной творческой культуре которой уже так трудно услышать хоть слово правды, а значит, и осознать, что же это было и было ли это когда?

Имя Чингиза Айтматова и сегодня еще звучит синонимом утраченной «дружбы народов» минувших лет. Все меньше остается людей, которые могут засвидетельствовать, что культурные лозунги той пропащей эпохи имели-таки, помимо бюрократического, и человеческое содержание. Если и не бывает дружбы народов, то созидательная дружба разноязыких людей, а с ними и целых культур, безусловно, бывает: даже двадцать лет вынужденной разлуки не заставили нас, реальных персонажей этой дружбы, предать — в том числе и забвению — содержание и ауру наших прежних бесед. И после двадцати духовно-голодных лет оказалось, что можно эти беседы возобновить с нечаянно оборванного слова. Так естественно продолжились наши разговоры с туркменскими поэтами Агагельды Алланазаровым и Атабаем Атамуродовым в Ашхабаде, с латвийскими Янисом Рокпелнисом и Улдисом Берзиньшем в Лондоне и Стамбуле, — и вспоминаю сейчас только тех, кто отчужден от былых друзей визовым режимом.

Увы, встречи эти были редкими и краткими, поскольку случались во время нескончаемых наших странствий в поисках утраченных иллюзий. Впрочем, и в силу долга, — ибо, как ни сильна любовь к родному пепелищу и отеческим гробам,

Но чужие священные камни,
Кроме нас, не оплачет никто.

Юрий Кузнецов.

Эта статья — моя собственная исповедь и не в ней раскрывать предметы моих разговоров с друзьями. Но одно стало ясно — нас не только продолжает объединять общее мечтательное прошлое и общие, оболганные новым временем идеалы, но и посещают общие фантомные боли от исчезновения чего-то, оторванного от нас с мясом и кровью. Чур нас! — не о Советской власти тут речь, а о чем-то гораздо более глубинном, что воистину стоит откровенного разговора на кратком пересечении человеческих жизней.

Однако можно ли — не разумом, но болящей душой — постичь былое, фантомные боли которого осознанно и неосознанно тревожат нас, еще живых уроженцев СССР? Не обо всех людях, конечно, речь и не о всеобщем, сродни первомайской демонстрации, политическом покаянии, но сдается, что без подобного нутряного осознания нашей призрачной утраты ничего воистину нового, а паче и великого, создать в постсоветской культуре попросту не удастся — нельзя. Все, что появляется сейчас, либо устремлено в прошлое, в мифологизацию минувшего, либо в будущее, в чернуху социально-заказной фантастики: никто сегодня не силах художественно отразить *настоящее*, поскольку — больно. И не о бесконечных криминальных сочинениях речь: настоящая-то литература создается не для праздных обывателей, а для тех людей, которые хотят что-то посильно понять, а поняв, и сделать самостоятельно.

К истинно великой литературе (а зачем другая, если она не преддверие к великой?) всегда обращались ради того, чтобы понять *что-то главное и узнать самих себя и свое место в этом главном*. Именно в этом качестве она была на Руси не только литературой, но и историей, и философией, и педагогикой, и нравственным наставничеством — всем тем, что в советскую эпоху называлось внецерковной духовностью.

Этим *главным*, что и создало русскую светскую литературную традицию и что на интуитивном уровне до сих пор угадывается любым невеждой, в котором еще не до конца убито детство, являются идея бескорыстной жертвенности и стремление в любом человеке найти и увидеть Человека с большой буквы.

Сегодняшняя российская литература, при всем ее разноязычии, никак не может смириться с нечаянной утратой этой главной гуманистической идеи, а с нею и утратой своего *raison d'être*, сиречь — смысла существования.

В самом деле, не может же *чем-то главным* служить идея улучшения материального положения? А ведь это — едва ли не единственная членораздельная общественная идея сегодняшней России.

Не то, чтобы никто ничего не писал. В Татарстане, далеко не бедном писательскими талантами, совсем недавно вышли целых две толстых антологии — современной прозы и поэзии¹ в русских переводах. Сам факт выхода двух солидных переводных антологий, безусловно, отраден в нынешнем климате общего равнодушия к иноязычным литературам, и за это большое спасибо и составителям, и переводчикам, да и без внимания властей Татарстана такие книги вряд ли увидели бы свет.

Как положено в антологиях, уровень представленных образцов татарской прозы и поэзии очень разный, хотя в целом весьма добротный. Жаль одного — эти книги ничем новым не удивляют читателя, во всяком случае, знакомого с уровнем литературных достижений татарских писателей и поэтов в минувшую эпоху. Стихотворная антология во многом составлена из стихов, написанных давным-давно, и — см. выше — характерно то, что ни проза, ни поэзия, которые в названиях антологий названы современными, никак не отражают текущей современности. Практически все они устремлены опять же в воображаемое историческое прошлое или в воспоминания детства и юности, которые всегда выручат.

Получается, что не только русская, но и иноязычная российская проза сегодняшнего дня не только не выражает, но в художественном смысле и не хочет постигать *настоящего*. Не различает она того, ради чего стоило бы заморачиваться писать об этом *ненастоящем* настоящем и чем таким в этом *ненастоящем* можно восхищаться или, прости Господи, даже и гордиться.

Оговоримся — попытки высказаться есть и в названных антологиях, но они, попытки эти, не дерзновенны и решают проблему в лучшем случае от противного — откровениями типа «все, что считалось хорошо, было, оказывается, плохо». И наоборот. В худшем же случае (к счастью, таких случаев единицы) опусы продиктованы

¹ «Современная татарская поэзия», Татарское книжное издательство, 2008; «Современная татарская проза», Татарское книжное издательство, 2007.

надменно-ехидничающей злобой, болезненным самомнением и, увы, наивным, не знающим никаких иностранных языков невежеством относительно реального, в том числе и заграничного, мира и дел его.

Но и за это все не можется никого винить. Ведь сказано: захочет Господь наказать, так прежде отнимет разум. Хотим мы или не хотим, но мы все еще переживаем последствия перелома девяностых — того всеобщего страшного удара по психике, откуда, как кажется, и проистекают непонимание и боязнь настоящего, а также все нарастающее неумение отличить черное от белого и хорошее от дурного.

Какая самостоятельность мышления возможна при психическом состоянии общества, когда остаться наедине с собой и самостоятельно задуматься над настоящим просто больно и страшно?

Вновь вспоминая Чингиза Айтматова, вспоминаю и подлинную драму его двадцатилетней жизни за границей. С одной стороны, он был оторван от народных и индивидуально-людских трагедий на руинах СССР, а с другой — не имел возможности вполне осознать альтернативу, поскольку не владел иностранными языками и годами жил в Брюсселе, полагаясь лишь на переводчиков, их честность, знание языка и познание реальной, нетуристической действительности. Сами правила поведения посольских работников, редкие выходы в окружающую реальность вряд ли могли дать Чингизу Торекуловичу доскональное представление о европейской жизни, какова она есть на самом деле, а не как выглядит в льстивых переводах. Быть может, и поэтому в последние годы своей жизни он звонил мне, тогда еще не только писателю, но и журналисту Би-би-си, со многими вопросами, которые накопились у него за десятилетия такой вынужденной изоляции.

Как же мог бы и он осознать и постичь окружающее, если даже в языковом смысле почти никак не понимал его? Речь ведь не столько о политологическом или религиозноведческом сознании (с этим я еще мог ему как-то помочь) — речь о личностном нравственном постижении, без которого не будет и ответов на насущные вопросы настоящего. Конечно, на то он и Айтматов, чтобы силой своего воображения и эпической памяти придумать и сочинить в скучнейшем Брюсселе свой последний роман «Когда падают горы», хоть и отдают в нем некоторые оценки и приемы газетной прямоотой.

А если ты не Айтматов, не исполинская, уже состоявшаяся творческая величина? Если в твоей собственной художественной задаче нет даже попытки ответа на нравственные вопросы современности, что же останется? То и останется, что имеем — сугубо частный взгляд, субъективные оценки и поверхностные выводы, придуманную или до полнейшего безвкусыя переперченную действительность...

Только иногда мудрость жизненного опыта выдает подлинную, по детски наивную и не упакованную криминальным или фантастическим сюжетом нравственную информацию к размышлению. Например, такое вот наблюдение из прозаической «Мозаики» Лябибы Ихсановой из упомянутой прозаической антологии:

«Когда в стране началась перестройка, нашлись такие умники, которые отрицали само существование классовой борьбы. Дескать, все будет хорошо! Даже выдумали «День примирения». Никак богатых с бедными примирить! Да только «воз и ныне там»... Классовое расслоение всегда было и есть. Пока есть богатые и бедные. Их никто никогда не сможет примирить, пока есть на земле богатство и бедность».

Вот так — и чего ходить вокруг да около! Да только как продолжить эту мысль, чтобы она опять не привела к крови и насилию? Неужели же нельзя?

А что если разгадка и в самом деле только в том, что всякая революция — это деяние торопыг, которым не терпится поиметь все, чего под всякими предложениями хочется, здесь и сейчас, сразу, тотчас, немедленно! Не из-за этих ли торопыгидеологов и были залиты кровью все массовые дороги к Царству Божию на земле? Только нельзя его приблизить по собственному хотению, увы. Само явится — к каждому человеку в отдельности — по делам его.

Просто каждому человеку надо дать — нет, не денег и не хлеба насущного, а простой шанс на духовное и материальное развитие. Больше ничего не надо, в том числе и обилия черной, немилостивой правды, от которой гаснет в человеке последний сердечный свет...

Словом, на что мне вся, якобы всечеловеческая, правда, если нет в ней ни любви, ни сострадания? Если нет в ней света вселенской справедливости — одно осуждение, хотя и сегодня спросится — а судьи кто?

Знают ли они, что правда, сказанная без любви и сочувствия, есть ложь?

И что нет воли, аще в неволе Любви?

А если не знают, то зачем они, — по крайней мере, в литературе?

И смотрят как распятые,
Но все еще живые,
Мои семидесятые
На ваши нулевые.

Поэзия, как и вся литература, нынче ушла из общественного бытия. Вот и эти краткие, явившиеся мне в пути стихи прозвучат загадкой для тех, для кого любой исповедальный разговор про всю оболганную нашу жизнь — это просто слова, каких много и каковые ничего не значат, если не могут быть перетолкованы в денежных единицах.

Зачем же, понимая, в какой пустыне безверия и взаимного недоверия мы оказались, я пытаюсь объяснить журнальной прозой, о чем эти стихи? Будет ли понятнее?

Все меньше остается тех, кто понимает, о чем я тут пишу. Поколения, не знавшие другой жизни, естественно отрываются от нас, и удастся ли срастить этот все разрастающийся духовный разрыв? Поэтому и мною, что не совсем уж бесполезен глас вопиющего в пустыне: авось и услышит кто-то, авось и оглянется...

Весьма ценю я нынешнюю степень географической свободы и материального выбора, но чем дольше живу — тем жалче становится мне чего-то, что, по зрелом размышлении, назову я по примеру американской мечты — *советской мечтой*. Эта мечта, хоть и была насквозь идеалистической в своем бескорыстном энтузиазме, в моем понимании никогда не имела ничего общего с партийно-советской идеологией и только отчасти сопрягалась с великими стройками, хотя где бы мы были сейчас, не будь тогда этих великих строек? При всем идеализме это были мои друзья — люди шестидесятых, которые сочинили свое творческое, а посему и духовное видение советской мечты в пику обывательской американской: ну действительно, не может же Великая Мечта состоять в том, чтобы всю жизнь до самой смерти посылать улучшать собственное материальное положение?

А зачем?

А потом?

Конечно, о том, что это была за мечта, во всей доскональности не упомнят теперь и многие люди моего собственного поколения семидесятых. И не только потому, что и у нас уже промыты мозги процессом либеральной переоценки ценностей, которая, как показала практика, на деле имеет мало общего с демократизацией — как утверждением народовластия, но полностью тождественна созданию общества идеально-внушаемых, до предела самодовольных и как можно более безмозглых потребителей.

Но речь не об этом — зачем отбивать горький насущный хлеб у политологов? Нас, людей семидесятых, уже едва затронули просветительные надежды «первой перестройки» шестидесятых годов — той наивно-вдохновенной, так и не ставшей перестройки, внезапно и навсегда раздавленной танками на улицах Праги в 1968 году. Людей, которые были созидательной сутью того неповторимого времени, людей веры — если не в Бога, то в научно-техническую революцию и возможность духовного очищения человека и народа музыкой, кино, литературой, живописью, цветомузыкой и иными искусствами будущего — этих людей «уже нет и скоро совсем не будет».

Мы, персонажи семидесятых, по крайней мере, те из нас, кто предвидел в близком будущем что угодно, но не нынешнюю эпоху Торжествующих Победу Фарцовщиков, встречали кругом одни тупики и непробиваемые стены равнодушия, однако неприбыльные надежды шестидесятых никак не покидали нас, заставляя работать — просто во исполнение самих себя и собственной судьбы.

Мне повезло — я еще видел в деле людей, для которых самоцелью было творческое созидание, будь они учеными или людьми искусства. Они выбирали жизненное поприще, смешно сказать, ради исполнения призвания, а не по размеру зарплаты: чтобы действительно сделать что-то и оставить что-то после себя, — и это что-то было не мусор и не пустые бутылки. Если подобное бескорыстное благородство во многом и пропало всуе, как пропадало оно во все другие земные века и эпохи, все равно — именно оно и брезжит человечеству в его сегодняшней тьме еле различимым уже светом.

Потому что созидательное бескорыстие, как настоящую любовь, не купить ни за какую и ни на какую зарплату.

И через два десятилетия духовной разрухи еще бродит по руинам СССР призрак — призрак той Всеобщей Советской Мечты... Где бы ни привелось встре-

чаться, я все пытаюсь разглядеть его. Разглядеть и понять, наконец, почему и у меня порой так сосет под ложечкой, словно от потери чего-то сокровенно-важного?

Почему и меня так мучит невысказанная вина — не та ли самая, что измаяла меня с юности, и тогда не имея ни явной причины, ни точного объяснения? Почему, наконец, так страшно, так больно сегодня читать русскую классику — все те книги, которые в прошлом осеняли нас с каждой страницы светом неясных надежд? Да не потому ли, что всякий раз теперь, как открываю, ища утешения, какую-то любимую книгу, вспоминается мне начало другой книги — дневника чеченского писателя Юнуса Сэшила о самой первой, еще непредставимой кавказской войне:

«...Самолет сбросил бомбу или ракету где-то рядом... и всадил в дом пятнадцать осколков. Может, и больше — сразу не найдешь и не сосчитаешь. Выбило все четыре окна со стороны улицы. Один осколок, надо полагать, самый большой (пока найденный), пробил стену ближе к потолку и вышиб изнутри книжную полку. На ней стояли книги из серии «Жизнь в искусстве». Мировые знаменитости, подбитыми птицами распластав переплеты, разлетелись по комнате вперемешку с битыми рамами и стеклом. В комнате темно, не стал особо осматривать место происшествия. Пропади оно пропадом...

Взрыв прогремел, когда шел на улицу. Самолеты летали с утра, мы уже привыкаем к ним и к их делам, если к этому можно привыкнуть. Вслед за громом послышались свистящие, режущие воздух шумы над головой, но не сразу сообразил, что это осколки. Когда от наружной стены дома стайками вспорхнули воробушки из штукатурки, канарейки из стекла, кое-что понял, но бросаться в панику было уже поздно, да и мать не хотелось тревожить. Она находилась внутри и ничего не видела, а только слышала. Солгал ей, что стекло разбилось от воздушной волны. Она старая, ей 81 год, и, оказывается, очень боится. Думал, что в таком возрасте не испытывают страха...

...Сегодня в комнату, в которую влетел осколок, не заходил. Вчера был в ней долго. При свете свечи разглядывал книги, думая: зачем собирал их, радовался очередному приобретению, хвастал перед друзьями? Сегодня выяснилось, что приобретать имело смысл лишь то, что сразу можешь запихнуть в дорожную сумку...

...Мы с матерью, как-то и не обсуждая, решили: в бега не подаваться. Конечно, остались не богатства беречь, которых — увы! А книги? Кому в наше время нужен этот «флот» из «кораблей мыслей», как напрасно назвал их Бэкон? Вряд ли и сам вновь пустишься с ними в «плавание». Все это стало ничем, в одночасье. Оказалось человеческой ложью и тщеславием, овеществленными на бумаге. Убрать «корабли», груженные всем этим, — осталось бы, наверное, столько, сколько простой смертный смог бы прочесть в течение жизни. Не изобрети китаец бумагу — европеец не написал бы множества ненужных книг. Под низко летящим бомбардировщиком, разрывами снарядов, когда через крышу дома, который ты строил, доводя себя до изнурения, бьет установка залпового огня, ни эти книги, ни то, что в них написано, не имеют ни смысла, ни духовной, ни физической стоимости»...

Непоправима и трагична эта поселившаяся в памяти картина гибели Советской мечты — любимые книги, сметенные с полок взрывной волной сатанинских перемен... Кто еще упомнит время, когда книги были самым желанным дефицитом, и это несмотря на то, что они, всеми искомые, издавались сотысячными, миллионными тиражами? Как вспомню, что моя первая поэтическая книга вышла в Казани в 1976 году тиражом пять с половиной тысяч... По совковости, что ли, собирались по книжке огромные, интереснейшие домашние библиотеки, подобных которым — об этом тоже свидетельствую — не было, нет и больше, наверное, не будет никогда и нигде в мире? А подписка на собрания сочинений? Какие очереди выстаивались, к какому благу прибегали, чтобы подписаться на Карамзина, на Соловьева, на Всемирку!

Где еще была такая страна, где бы даже взятки давали и, главное, брали книгами?!

И вот такую страну начали насильно — опять ведь насильно! — научать американской мечте, а на деле — приучать к посильному, любим, самым обманным способом улучшению материального положения. Есть что любить и уважать и в Америке, и не в упрек американцам это говорится. У них-то другой широкомасштабной культуры, кроме потребительской, и не было. Зато те, кого подобная обывательская ограниченность не устраивала, могли хоть податься в леса, как Генри Торо, или в интеллектуальные бродяжки, как Джек Керуак. Ясное дело — именно эта свобода соскочить с крючка и подлежит усвоению. Так ведь и в Америке на это решаются единицы, да и на Руси давно прописан нужный рецепт:

«На свете счастья нет, но есть покой и воля»...

Да, чудовищна эта картина — груды ненужных уже книг в доме, сотрясенном тупой, бессмысленной, братоубийственной бомбежкой. Но разве не страшнее смирением и обыденностью зеркально похожие друг на друга кладбища этих невыносимо желанных когда-то книг, разбросанные от Москвы до Кушки?

По давней привычке посещать книжные магазины и развалы где бы то ни было, зашел я прошлой зимой в киевскую «Академкнигу» неподалеку от Крещатика. Магазин двухэтажный, и внизу ничто не привлекло внимания — все та же массовая лакированная продукция, бездумные перепечатки безо всяких предисловий и комментариев, с невероятными опечатками; дурные, невежественные и поверхностные переводы; обычное потребительское затоваривание без понятия об издательской культуре, утраченной вместе со многим другим полезным знанием минувших времен. Тем паче что, если подняться по шаткой лестнице на антресоли, можно исподволь удостовериться в том, что такое знание и созидательное, самое благородное стремление «сделать по-настоящему хорошо» когда-то и вправду существовало.

Наверху там букинистический отдел, где самым теснейшим образом стоят на видавших виды полках корешок к корешку или сложены высокими стопками на полу книги иного времени. Эти-то, уже не нужные почти никому книги, за которыми когда-то в лютые холода выстаивались очереди, и были в мои семидесятые так желанны, любезны, сердечно дороги и милы, а то и священные, и потому бесценны.

Однако и верхний отдел той киевской «Академкниги» был немногочислен — да и правда: кто когда толпился на кладбищах?

Такой же точно магазин, разве что одноэтажный, я отыскал и в старом Ашхабаде. Господи, да что бы мы не дали в свое время за эти издания, которые теперь, отчужденные и невостребованные, стояли и лежали стопками на полках, привлекая к себе внимание разве таких же заезжих чудаков, как я — еще и потому, что были непомерно дороги по местным зарплатам. Да что бы и вызвали они, кроме ностальгической боли, будучи даже и куплены сегодня, в конце Нулевых, когда единственным окном в пытливый мир воображения остался телевизор, да и тот окончательно превратился в некий *мелкоскоп*, увеличивающий всякую околосредоточенную блоху до вселенского явления культуры.

В этой, с наперсточной ловкостью рук подмененной культуре теперь находится место всему, кроме одного и единственного — идеи социальной и любой иной справедливости, из которой некогда произросла в своем идеальном, сказочном воплощении и Советская мечта.

Оно верно, Советская мечта гипертрофировала (надо же было тут найти самое мягкое слово!) представление о справедливости в Справедливость Вселенскую — для всех и вся и во всем. Понятно, что такая справедливость, помимо (если веровать) Одного Господа Бога, невозможна ни для кого.

Но разве случайно, что идея всечеловеческой — духовной, межнациональной, межгосударственной — справедливости, до щемящей истинности угаданная и превознесенная великой русской литературой, стала не просто русской данью просвещенному западному гуманизму, но — национальной идеей огромной державы, пусть и в миражах Советской мечты?

Отнял Господь разум — в помрачении и не ведаем, что творим. Подтвердили анафему Толстому — и думают, духовно возродились. О Господи!

В России, если она окончательно склонится к фарисейскому представлению о справедливости, никогда уже не станется ничего великого.

Ибо и спросу не будет.

Ведь хорошо это или плохо, но факт остается фактом: любая другая национальная идея, помимо Вселенской справедливости, будет обывательно мелка, дешева и поверхностна для истинной, а не придуманной России.

Но для вечной России Толстого и великой культуры человеколюбия и милосердия, трагически, но ведь и бескорыстно пожертвовавшей собою ради Вселенской справедливости, никто и никогда уже не выдумает другой национальной идеи, замыкающей ее в картографических границах и сводящейся к рыгающей сытости без оглядки на остальное человечество.

Всегда на месте этой Идеи, настойчиво вырываемой с корнем из общественного сознания, будет сосущая, болезненная, ноющая пустота вины и духовного предательства.

Сказка ложь, да в ней намек. На что же мы обменяли ее, сердечную? Не потому ли и гложет нас эта неясная вина, что так легко предали и не за грош продали мы свою великую, душестроительную, спасительную сказку о возможности Вселенской справедливости, сказку, на идеалах которой мы все были воспитаны с детства — родительским утешением и всей бессмертной традицией милосердия нашей культуры?

Куда это все делось-то: «И милость к падшим призывал»?

Разве была эта сказка только советской мечтой — да разве и зародилась она только в советское время? Да подите с ней подальше, с заевшей наш век Советской властью и ее всезнайками-чинушами, уворовавшими у нас сначала молодость, а потом и всю страну!

Ведь и упомянутый призрак есть всего лишь фантом утраченной и вытесненной из общественной памяти Совести, — той, с большой буквы Совести, что предвозвещена была великой русской литературой и бездумно, как приватизационный ваучер в переходе, отдана за тридцать серебряников; променена на блошином рынке девяностых на сладкие коврижки обнуленной обывательской жизни...

Вот и утраченная нами сказка-мечта была на самом деле исторически навеевна воспитавшими нас книгами, в основе которых было простое, как сама истина, но столь редкое ныне чувство Человеколюбия.

Его же нам, несмысленным, пытались, да и пытаются впарить то в виде Кодекса Строителя Коммунизма, то в облинии Либеральной Демократии, а все потому, что так опасно, так всегда не ко времени и не к месту называть это чувство его собственными именами — Сострадание, Сочувствие, Любовь к Ближнему...

Опасно, ибо сразу вернется в мир мудрость сказки и тотчас понятно будет: «А король-то — голый!»

Русская литература от протопопы Аввакума учила народную душу тому, что в мире есть Совесть — хотя бы как идеал, как оселок, как точка отсчета, от которой начинается и отсчитывается все другое. Если убрать эту точку отсчета, а точнее, единственную для человеческой души опору, то и останется оно, наше сегодняшнее настоящее, — то, чем мы живем в нескончаемые Нулевые, заглядывая ради красного словца то в прошлое, то в будущее и более всего пугаясь на самом деле постигнуть большую правду текущего общественного бытия.

Как известно, есть среди защитных механизмов человеческой психики такие понятия — *вытеснение* и *отрицание*. Вытеснение — это процесс исключения из сферы сознания мыслей, чувств, желаний и влечений, причиняющих боль, стыд или чувство вины. А в случае отрицания человек бессознательно отвергает само наличие негативной для него информации.

Утрата, нанеся умопомрачительную рану нашему общественному и культурному бытию, на самом деле так велика и так пока невозполнима, что осознание и постижение ее сиюминутно просто невозможны: как при психических шоковых болезнях, в текущей литературе происходит вытеснение, замещение, забвение безмерной потери.

Случаются и сегодня хорошие и очень хорошие книги — крики душевной боли в пустыне духовных одиночеств. Но текущая художественная литература не случайно практически исчерпывается немилосердной, идеологически надуманной социальной фантастикой и бойкой беллетристикой в жанре бытописания и исторического анекдота — вот уж где легкость в мыслях необыкновенная...

Что еще? Криминальное чтиво, героические придумки в жанре фэнтэзи, в которых только и можно хоть как-то упомянуть про справедливость и не оказаться громогласно преданным анафеме бдительными стражами повсеместной вторичности.

А всеобщую идею Вселенской справедливости мы, увы, действительно предали как народ и как общество — предали вместе с утраченной общей духовной цивилизацией и всеобщей родиной, со всей благодатью и всеми грехами ее.

И до глубинного — вновь повторю, человеческого, а не политического — раскаяния не ждать нам никаких великих откровений — в том числе и в литературе.

Эта покаянная утрата если и восполнится когда, то вновь и опять — за счет бескорыстной жертвенности, которая еще теплится в недрах русской, а паче и русскоязычной культуры. Я нарочито не развивал в этой статье редкие, но неслучайные упоминания о религиозной духовности, — и без того в данном случае легко можно «предугадать, как наше слово отзовется».

Засвидетельствую напоследок только свою веру в то, что великая культура мысли и сердца, а с нею и литература способны возродиться, но до этого придется дожидаться и возрождения подлинной, кропотливой и внимательной, политически не ангажированной и по-настоящему *справедливой* художественной критики. К счастью, образцы такой критики уже несколько лет появляются как в провинциальных, так и в толстых столичных журналах.

Как бы то ни было, придется еще и потерпеть, и потрудиться. В конце концов, благородному делу осознанного, стоического, но и созидательного терпения тоже учила нас она — русская литература, вопиющая к нам с книжных кладбищ разрезанного по живому, но все еще живого и, свидетельствую, во многом по-прежнему духовно единого мира.

Александр Мелихов

Конфликт иллюзий

Эта статья была заказана автору в рамках проекта, инициированного невероятно солидной международной организацией, предназначенной хранить культурное многообразие. В частности, нам, группе российских ученых и публицистов, предлагалось в специальном сборнике обсудить пути к мирному исламо-христианскому диалогу. Я собрал в единое целое холодные наблюдения ума и горестные заметы сердца последних лет, по обыкновению, стараясь не сгладить, а заострить и без того задевающие места, чтобы в процессе дискуссии нащупать более умиротворяющие формы. Однако, к изумлению моему, дискуссия не состоялась. Хранители многообразия не проявили ни малейшего интереса к многообразию в собственных рядах, они просто проголосовали и исключили статью из сборника как несоответствующую их принципам. Не вступая в дискуссии, вот что меня поразило.

С одной стороны, мне это было привычно: при старом режиме редактору тоже достаточно было объявить, что работа немарксистская, чтобы разом покончить с нею. Но, с другой стороны, советские редакторы имитировали негодование, изображали искренних марксистов. А эти милейшие дамы и господа ничего не изображали — не обличали, не пускались в спор, — проголосовали и пошли обедать.

Это, по-видимому, и был урок истинного плюрализма или, если угодно, политкорректности — не возражать, а изолировать несогласных. Но покуда мы в нашей варварской, не изжившей имперских симптомов и синдромов России еще не поднялись до таких высот и готовы обсуждать и совершенствовать даже то, что нам не нравится, предлагаю обсудить эту крамолу у себя дома.

Итак...

Исламо-христианский диалог в странах христианской традиции сегодня чаще всего понимают не как диалог абсолютов, а как диалог культур. При этом и в культуре обычно видят не тотальное мировоззрение, наделяющее смыслом и целями человеческую жизнь, но некое украшение, вроде глазировки на булочке. Кулинарные ассоциации, порождаемые идеей культурного диалога, настолько сильны, что круглые столы, посвященные проблеме ксенофобии, не раз на моей памяти завершались ломящимися от национальных яств прямоугольными столами. Мирно сосуществующие на единой скатерти пельмени и манты, блины и кебабы давали понять, что христианство и ислам вполне могут мирно сосуществовать не только за общим столом, но даже и на общем столе.

Можно подумать, кто-то что-то имел против кебабов...

Увы, за пределами круглых и прямоугольных столов все складывается далеко не так идиллически...

Боги в коммуналке

После распада объединяющей коммунистической идеологии вполне естественным образом в многонациональной России выдвинулись идеологии этнические, немедленно пожелавшие подкрепить национальную идентичность идентичностью религиозной, которая, в свою очередь, создала опасность усиления межнациональных конфликтов еще и религиозной составляющей.

Поэтому перед формальными и неформальными лидерами Российского государства впервые за много десятилетий во весь рост поднялась задача примирения хотя бы самых влиятельных конфессий — ислама и православия. Церковные круги давно пытаются ввести преподавание религии в школы, либеральные же круги возражают, что это было бы дискриминацией ислама и других вероучений, — тогда уж надо преподавать все вероучения разом — или хотя бы главнейшие. Пусть в одном классе мулла излагает учение Магомета, а в другом священник излагает учение Христа. А еще лучше ввести общий курс «История мировых религий», в котором каждая вера найдет место; школьники же пусть свободно избирают ту, что понравится, — или никакую.

Однако истинно верующие, как христиане, так и мусульмане, совершенно справедливо указывают на то, что курс «История мировых религий», начинающийся с анимизма и политеизма, невольно закладывает основы «слишком человеческого» отношения к вере как к части человеческой культуры, а не как к чему-то абсолютному, тогда как для верующего религия — именно абсолютная истина. А абсолютная истина не может признать, что и другая истина по-своему ничуть не хуже — плюрализм в вере автоматически порождает безверие, считают те, кто всерьез предан христианству или исламу. Тем не менее либеральная мысль видит выход в политкорректности, которая бы не только не сосредоточивалась на христианстве или исламе, но, напротив, максимально увеличивала количество участников межрелигиозного диалога, правильно отражая позиции сторон и не навязывая ни одну из них.

Сторон... Но кто же эти стороны? Позитивисты, буддисты, иудеи, католики, лютеране, православные, шииты, сунниты, мормоны, «свидетели Иеговы», сикхи, синтоисты, приверженцы вуду и несть им числа?... И никто никому ничего не навязывает?

Однако возникает вопрос: способствует ли миру усиление всех соперников разом? Или усиление хотя бы одного из них? Пробуждающее в остальных ревность и мечту о реванше. Но ведь нечто подобное, уверяют нас, практикуется в тех странах, которые называют себя цивилизованными, а стремление во всем им уподобиться — пусть даже для этого придется искусственно насадить проблемы, еще не успевшие вырасти естественным порядком, — составляет вполне влиятельное течение нашей общественной мысли...

И вот издательство «Текст» при поддержке Министерства культуры Франции — Национального центра книги — в 2007 году выпустило в свет поучительнейшую книгу «История Бога».

Предисловие историка Рене Ремона — президента Национального фонда общественных наук и члена Французской академии начинается скромно: «растущее невежество в вопросах религии», «пагубно сказывается на передаче культурных ценностей от поколения к поколению», — однако уже в следующем абзаце это оскорбительное для верующего низведение метафизики до культуры почти дезавуируется: «Религия — великая движущая сила общества: как бы далеко ни зашла секуляризация в современном мире, религия остается важнейшей составляющей в сознании личности и в судьбе народов... История показала способность религии противостоять самым упорным и длительным усилиям по искоренению веры из души народов. Произошло обратное: вера восторжествовала над отрицавшими ее системами».

Похоже, это правда — человек разумный был назван разумным слишком поспешно, его правильнее было бы назвать человеком фантазирующим: он способен жить только сказками, и когда разум отнял у него сказки религиозные, он ударился в сказки социальные, настолько чудовищные, что возвращение к респектабельным религиям, уже миновавшим юношескую пору бури и натиска, казалось бы, может послужить неплохим противоядием. Поскольку религиозные войны нам как будто уже не угрожают.

Или все-таки угрожают? «Многие рассчитывают, — пишет Рене Ремон, — что

сравнительное исследование различных религий приведет к лучшему взаимопониманию и к росту терпимости. Нам очень хотелось бы, чтобы эти ожидания оправдались». Для этого каждую религию в книге представляют не «равноудаленные» ученые с их холодными микроскопами и безжалостными скальпелями, а «выдающиеся духовные лица разных конфессий». Правда, умерших богов политеистической эры представляет не жрец Зевса или Изиды, но ординарный профессор Пьер Левек. Зато боги Африки представлены самым настоящим жрецом вуду Базилем Клиге, защитившим в Сорбонне диссертацию в 1994 году. О богах доколумбовой Америки рассказывает профессор Тереза Буисс-Кассань. По пантеону богов Азии читателя сопровождают пандит Шастри (индуизм) и преподобный Дагпо Римпоче (буддизм). В мире же единобожия беседу ведут главный раввин армии Израиля Дени Акун, капеллан собора Парижской Богоматери Поль Гиберто и ректор Мусульманского института Большой парижской мечети Далиль Бубакер.

Наличие таких авторитетов, по мнению составителя, делает излишним представление «производных» конфессий, вроде православия или протестантизма, не говоря уже обо всяческих локальных «язычествах» и прочей периферийщине. И для читателя, взыскующего авторитета, а не истины, этого вполне достаточно. Но этого достаточно и для того, чтобы весь «салон отвергнутых» — а в России это прежде всего православная церковь — почувствовал себя смертельно оскорбленным: ведь речь идет не о социально доминирующих и периферийных культурных течениях, а об Истине с большой буквы!

Однако «История Бога» скорее всего и не борется за мир во всем мире, но лишь хочет взбодрить главные религии, увеличив при этом их приемлемость друг для друга. Задачи почти взаимоисключающие, ибо страстная приверженность собственной Истине как правило автоматически рождает неприязнь к тем, кто ее не разделяет. А столь последовательное и рациональное изучение, как уже отмечалось, мало способствует подлинной религиозности: когда перед умственным взором школьника проходят десятки абсолютно разных и одинаково не обоснованных картин мира, десятки названных и тысячи неназванных богов (Баал-Астарты-Афродиты-Сарапис-Ваджрапани-Ахурамазда-Маву-Кецалькоатль...), только у самых бесхитростных не возникнет вопрос: а чем же лучше мои? Подобные книги хотя и препятствуют духовной изоляции в какой-то единоспасающей вере, чего, собственно, для своих адептов и желают истинно верующие мусульмане и христиане, но зато подталкивают либо к релятивизму (все религии более чем сомнительны), либо к экуменизму (все религии по-своему хороши). Даже не знаю, какая из этих позиций более неприемлема для обладателей любого единственно верного учения, хоть христианства, хоть магометанства.

Кое-кто из высоких авторитетов даже и в самой «Истории Бога» выражается на этот счет вполне откровенно. Капеллан цитирует энциклику римского папы насчет того, что Иисус Христос — «осуществление стремлений, живущих во всех религиях мира, и тем самым он их *единственный и окончательный результат*»; главный армейский раввин говорит об абсолютной ценности предписаний Торы; ректор Мусульманского института подчеркивает, что Бог милостивый и милосердный у мусульман — гораздо симпатичнее «сепаратистского и ревнивого Бога Израиля».

Представляю, как священники, муллы и раввины станут обмениваться подобными колкостями в светской школе, упрятав жалюзи в политкорректную вату... И будут совершенно правы, ибо ценность всякой религии именно в том, чтобы освободить человека от груза сомнений. А потому, утратив монополию, любая религия почти утрачивает метафизическую ценность, превращаясь всего лишь в одну из многих культурных традиций. И если человек хочет сохранить свою веру в неприкосновенности, ему лучше всего не выходить из круга единоверцев, как и рекомендует испытанный веками иудаизм. Чтобы избежать мучительных сомнений и судорожных попыток обесценить тех, кто эти сомнения несет, ибо важнейшая функция нашей психики — самооборона, обеспечение душевного комфорта. И если так называемый диалог культур в идеале заключается в том, что культуры держатся как можно дальше друг от друга и каждая из них **сама** выбирает у другой то, что ей приходится по вкусу, то это же в стократной степени относится к диалогу религий: из него все они выйдут потрепанными, а участники диалога — оскорбленными...

Короче говоря, иноверцев лучше держать подальше друг от друга, а образование без крайней нужды не колыхать... О, бурь заснувших не буди — под ними хаос шевелится!

Уроки империй

Увы, холодные наблюдения ума и горестные заметы сердца привели меня к грустному выводу: толерантности нет в человеческой природе, толерантными и прагматичными бывают только победители, желающие спокойно наслаждаться плодами своего успеха, — побежденные же всегда их ненавидят и сочиняют самоутешительные сказки насчет того, что проиграли они исключительно из-за своего великодушия и благородства, а победители восторжествовали над ними только потому, что были подлыми и безжалостными. Так было, есть и будет, ибо склонность к самооправданию составляет одну из глубиннейших потребностей человеческой психики. Но оправдать себя, не обвиняя при этом своего победителя, задача не для среднего ума, — заметно увеличить количество толерантности в нашем мире можно, лишь уменьшая количество людей, которые ощущают себя побежденными. Однако ни на одном пьедестале почета не могут разместиться многие — иначе он перестанет быть пьедесталом...

Но можно ли предоставить каждому народу, каждой цивилизации свой отдельный пьедестал?

Можно, если они выстроят этот пьедестал для себя сами, объявив именно его самым подлинным, самым высоким пьедесталом. Именно этим народы и занимаются в периоды своего становления — каждый народ создает свою культуру, свой пьедестал, для самовозвеличивания, и сохраняет жизнеспособность лишь до тех пор, пока в нем живет эта коллективная греза: скромные народы не задерживаются на исторической арене. Потому-то, вопреки либеральному катехизису, национальные культуры не сближают, но, напротив, наиболее остро разобщают нации. Не респектабельные космополитические «вершки» культур, но полубессознательные «корешки» предвзятостей и преданий, «обосновывающих» убежденность (всегда иллюзорную) каждой нации и включающей ее цивилизации, что именно она «самая-самая», — ради этой убежденности они и создаются. В простодушные времена эту уверенность никто и не скрывает.

Нации создаются и объединяются в цивилизации не ради достижения каких-то практических материальных целей, — для этого существуют промышленные и финансовые корпорации, включая криминальные, — а ради обретения (всегда иллюзорного) чувства избранности, уникальности, причастности чему-то прекрасному, почитаемому и долговечному. Но представляете себе общество, в котором избранными себя считают все? Когда имеет место не конкуренция прибылей или технологий, а конкуренция вымыслов?

Конкуренция не причина для ненависти, учат нас, но можно ли избежать ненависти, когда конкурент пытается разрушить твоё жилище? А главным жилищем всякого человека являются его иллюзии. И для них разрушительно все — любая рациональность, любое соседство чужой сказки, обнаруживающее относительность твоей: слишком тесное соприкосновение культур всегда бывает губительным как минимум для одной из них. Ибо культуры, повторяю, не системы знаний, которыми можно делиться, а системы иллюзий, которые можно лишь внушать — наталкивая на сопротивление прежних. Правда, культура победившая, вобравшая в себя какие-то приглянувшиеся элементы уничтоженной соперницы, уже может позволить себе великодушие, принявшись воспевать исчезнувших индейцев, черкесов или сарацинов. И даже называть канувшую в прошлое смертельную борьбу результатом недоразумения. Хороший пример — книга Франко Кардини «Европа и ислам», особенно ее подзаголовок — «История непонимания»: стремление обобрать или подчинить себе другого сегодня называют непониманием.

Увы, чем больше народы соприкасаются, чем лучше узнают и понимают, тем сильнее и раздражают друг друга: каждый все отчетливее начинает понимать, что его возвышенному образу самого себя нет места в мире другого, что другой, точно так же, как и он сам, приберегает наиболее возвышенные чувства для себя. Конфликты иллюзий бывают самыми непримиримыми, и диалог их может только обострять. Ибо и в самом деле невозможно доказать, что именно моя мама лучше всех, а моя Дульсинея самая прекрасная дама во всем подлунном мире. Возражая против этого, мы не переубеждаем, но лишь оскорбляем друг друга. А, переубедив, уничтожаем

миражи, которые только и наполняют нашу жизнь смыслом и красотой. Но таких дураков, которые бы с легкостью позволили чужим миражам вытеснить свои, на свете нет и не предвидится.

Мечта о царстве всеобщей толерантности, как и всякая иная сказка о мировой гармонии, я думаю, способна сделать мир несколько добрее — покуда она из прекрасной грезы не пытается превратиться в практическую программу, — тогда она обращается в кошмар. Хотя в гомеопатических дозах — в качестве этикета — она вполне практична: научились же мы в личном общении не задевать достоинства друг друга, делая вид, что нас не разделяют никакие интересы, что для нас вовсе не важно, кто более, а кто менее богат, знаменит, красив, умен, любим, — подобная дипломатия абсолютно необходима и при общении народов. Но мечтать о том, что эта декорация способна заменить реальность с ее колоссальным неравенством и жесточайшей конкуренцией...

Словом, свой принцип взаимодействия культур я бы рискнул сформулировать так: народы должны общаться через посредство своих рационализированных элит и прагматизированных периферий, а соприкосновение национальных тел, их культурных ядер желательно свести к минимуму. Любовь культур может быть только платонической: слишком тесное сближение тел обращает ее в отвращение.

Главные трудности межкультурного общения возникают тогда, когда в соприкосновение вступают массы. Ибо у массового человека есть опасная склонность судить каждую социальную группу по наиболее вредоносным ее представителям. Чтобы уменьшить страх одной культуры перед другой, нужно прежде всего изображать вызывающих тревогу соперников слабыми, страдающими, ибо сила всегда вызывает тревогу.

Если культура не обеспечивает человека иллюзией, что он является частью чего-то «самого-самого» прекрасного и справедливого, у него исчезает мотив ее защищать, приносить ей даже скромные жертвы. И тогда она обречена на поражение и распад. А принадлежащие ей люди обречены на ужас ничтожности перед бесконечно огромным и бесконечно равнодушным мирозданием. Ибо главная задача культуры и заключается в том, чтобы создать защитный слой иллюзий, ограждающих человека от осознания собственной мизерности: главные функции культуры не социальные, но экзистенциальные, для преодоления экзистенциального ужаса и нужна национальная, а тем более религиозная идентичность. А потому каждой культуре, каждой вере необходим собственный уголок, в котором бы она ощущала себя безраздельной хозяйкой, нужно по возможности избегать культурных и метафизических коммуналок. Однако сегодняшняя глобализация творит подобные коммуналки в невиданных прежде масштабах, а потому избежать столкновения упрощенных культурных ядер — столкновения массовых иллюзий — в пределах одной страны уже практически невозможно.

Каждый человек хотя бы у себя дома желает ощущать себя самым мудрым, самым справедливым и самым уважаемым. Такое возможно лишь в отдельной квартире, но никак не в коммунальной. И современный терроризм в какой-то мере может быть уподоблен высокоидейной коммунальной склоке. Культуры обогащают друг друга только на расстоянии, когда каждая добровольно берет у другой то, что ей нравится. Вспомним, как мы любили Запад издавна, как гонялись за Ремарком и Хемингуэем, как почти подпольно развивали джаз и переименовывали улицу Ленина в Бродвей! И какую настороженность, а то и вражду стал вызывать «американский образ жизни», когда россияне начали угадывать за его проникновением в свою культурную среду пренебрежение и принуждение...

Однако притормозить культурную экспансию хотя и трудно, но все-таки возможно, когда речь идет о культурах, разделенных государственными границами (впрочем, мировое сообщество тоже мало озабочено принципом культурного невмешательства). А вот как быть с культурами, оказавшимися в пределах одного государства вследствие завоеваний или миграций?

Когда меня пригласили в крупный северный город высказаться на тему «Как жить в мире, оставаясь разными?», я уже заранее знал, и что скажу я сам, и что скажут мои оппоненты. Я (на деле, разумеется, в десять раз более сжато и скомканно): «В своем стремлении дискредитировать национальные чувства, рационалистическая мысль стремится их представить бессмысленной ненавистью ко всему непохожему,

Другому — как будто источником вражды являются различия. Но кто когда-нибудь слышал о вражде между блондинами и брюнетами? Между бегунами и штангистами? А различия между мужчинами и женщинами, наоборот, влекут их друг к другу. Потому что источником вражды является *только конкуренция*, и прежде всего это борьба за звание самого красивого, самого мудрого, самого благородного, самого древнего, самого многострадального народа в подлунном мире.

И уничтожить эту борьбу за первенство невозможно, можно разве что добиваться первенства в разных сферах. Уверая себя, только про себя, а не вслух, что именно твоя-то сфера и есть самая главная. Так чемпион по бегу свысока поглядывает на чемпиона по штанге, тот платит ему полной взаимностью, и в результате все довольны, пренебрегая ироническим взглядом чемпиона по шахматам. Это разделение и следует оберегать, не замахиваясь на невозможное — на дружбу народов: индивиды разных национальностей могут дружить сколько угодно, но народы дружить не могут, ибо их порождает стремление не к равенству, а к избранности».

Для того чтобы представители разных культур могли хотя бы в какой-то степени слышать, входить в положение друг друга, сильные должны осознать свою силу, а слабые — свою слабость. Сильные не должны впадать в истерику и бить мух булыжником, а слабым не следует бросать вызов тем, от чьего миролюбия зависит их судьба. Последнее, правда, наиболее мучительно для национальной гордости меньшинств, и я вовсе не предлагаю им отказаться от нее, то есть исчезнуть; я предлагаю лишь утратить эту гордость в тех сферах, где более ценится индивидуальная воля, индивидуальный талант — где можно достичь огромного личного успеха и при этом сделаться предметом любви и гордости русского большинства, как это удалось Муслиму Магомаеву, Махмуду Эсамбаеву, Высоцкому, Окуджаве, Алферову, Слуцкой...

Нужно лишь почаще давать понять простому человеку, что все международные успехи российских ученых, спортсменов, художников независимо от их национальности в конце концов приписываются русскому народу, подобно тому как славу Петербурга составляют архитектурные шедевры, выстроенные итальянскими зодчими.

Представители национальных меньшинств могут достигать сколь угодно высоких успехов в культуре большинства, не вызывая ничего, кроме любви и гордости, покада они не ощущаются инородным вторжением в доминирующую культуру, поэтому равенство индивидов вполне возможно, но равенство культур — опасная утопия: доминирующая культура этого не допустит, разве что потерпев поражение в самой настоящей гражданской войне. «Кто в доме хозяин?» — этот роковой вопрос надолго заслонит все культурные проблемы. Конкуренция индивидов рождает только раздражение, а вот конкуренция культур — святую самоотверженную ненависть, ибо утрата чувства коллективной избранности оставляет человека беззащитным перед лицом грозной вечности. Зато если национальные меньшинства будут развивать свою культуру для собственного пользования (для чего все национальные культуры изначально и предназначены), то вполне может оказаться, что — на некотором расстоянии — ею будет очаровано и национальное большинство. Культурные различия вполне приветствуются и заимствуются всеми народами, пока это ощущается как добровольный выбор, — так вошли в русскую культуру силлабо-тоническое стихосложение, архитектурный классицизм, балет, шашлык и джаз. Но даже слабый намек на принудительность, на насильственное вторжение немедленно вызовет реакцию отторжения.

«Малым народам» не стоит забывать о том, о чем в личной жизни с грустью помнит каждый разумный человек: что бы с тобой ни стряслось, у других на первом месте все равно будут оставаться их собственные заботы, и власть, даже благожелательная, насколько власти вообще может быть присуще это свойство, ни из-за какого «малого народа» не станет всерьез ссориться с «большим».

Поэтому даже по самым вопиющим поводам обращаться за поддержкой к народу и к власти следует совершенно по-разному, памятуя, что у них совершенно разные цели: у народа на первом месте гордость, у власти — безопасность. Обращаясь к народу, необходимо подчеркивать его великодушные и безупречные, всячески снижая с него ответственность за действия мерзавцев и психопатов, сколько бы их ни набралось («нацисты не имеют национальности»), и всячески напирая на общую заинтересованность в спокойствии и процветании общей страны (что есть чистая правда). Власть же с предельной убедительностью нужно открывать глаза на то, что, закрывая глаза на подвиги нацистов, она наживает больше неприятностей (для себя),

чем предотвращает. Ну, а по отношению к собственным врагам наша власть умеет пускать в ход даже и не вполне стандартные средства...

Это о разумном поведении народов «малых» по отношению к народам «большим». Для внутреннего же употребления им (нам, ибо половиной крови я и сам принадлежу к национальному меньшинству) можно дать еще один совет: меньше пафоса. Разумеется, преступления против ни в чем не повинных людей необходимо клеймить как бесчеловечные — «про себя», однако, понимая, что они очень даже человеческие, слишком человеческие: ощутив хотя бы мнимую угрозу своим воодушевляющим сказкам, ни один народ не сумел избежать безобразных жестокостей. Если не предъявлять человеческой природе завышенных ожиданий, будет и меньше поводов для обид. И если даже ты сделаешься любимцем и гордостью «большого народа», все равно до конца ты никогда не станешь своим, до конца своими могут сделаться разве что твои внуки. А лично тебя всякий откровенный культурный диалог непременно будет чем-нибудь задевать.

И с этим нужно либо смириться, либо уезжать — в любой из миров, где тебя ждут ровно эти же проблемы. Так что лучше быть терпимым к тому, чего избежать все равно не удастся. Правда, это куда легче провозгласить, чем исполнить: не имитировать терпимость, а быть по-настоящему терпимыми удается только сильным.

Классический утопический либерализм, так возмущавший Константина Леонтьева («Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения»), надеялся прийти к гармонии через уничтожение всех национальных и сословных особенностей, а что думает об этом либерализм современный, открыто не замахивающийся на отдаленные прогнозы и, тем более, на масштабное социальное проектирование? Или и к нему тоже применимы раздраженные слова того же К.Леонтьева «Система либерализма есть, в сущности, отсутствие всякой системы, она есть лишь отрицание всех крайностей, боязнь всего последовательного и всего выразительного»?

Впрочем, уклонение от крайностей и определенностей, может быть, и есть наилучшая тактика, когда все вступающие в диалог субъекты равно избегают крайностей и определенностей. Но если хотя бы один из них со всей определенностью и не страшась никаких крайностей стремится к доминированию, что тогда удержит сообщество от ужасов войны всех против всех, той войны, которую Гоббс считал естественным состоянием человеческого общества?

В том, что касается отношений между индивидами, кажется, мало кто даже из самых либеральных либералов готов отрицать монополию на применение насилия как главное средство межличностного примирения, но когда речь заходит о существах тысячекратно более амбициозных и безответственных — о нациях, западная социальная мысль выдвигает две трудносовместимые идеи: с одной стороны, все культуры равноправны, все заслуживают сохранения и поддержки (разнообразие — один из важнейших лозунгов дня!); с другой стороны, главные будущие конфликты, скорее всего, будут конфликтами этих же самых культур. Но не означает ли это, что, поддерживая все культуры разом, мы тем самым подпитываем будущие конфликты — так сказать, вооружаем все воюющие стороны?

Классическая геополитика была более последовательной. Она стояла на ясном принципе: миром должны править сильные — ведь если передать управление слабым, они все равно не сумеют удержать власть, она неизбежно перейдет к сильным, но только через страдания и кровь — так не лучше ли прийти к этому же самому результату, минуя напрасные жертвы?

Возможно, такой итог вытекает из чрезмерно пессимистического воззрения на природу нации и человека, может быть, желание дружить ей свойственно ничуть не менее, чем желание первенствовать, — кто знает! Ведь пессимисты вечно норовят испортить людям настроение! Правда, оптимисты вечно ввергают их в катастрофы. И если мы не столько мечтаем о земном рае, сколько страшимся земного ада, нам стоит почаще вспоминать, что равенство наций, равно как и равенство индивидов, есть чисто умозрительный идеал, в соответствии с которым человечество еще не жило ни единой минуты. А относительный мир между индивидами удавалось установить лишь государственной власти, которая оказывалась сильнее каждого пассионария в отдельности и даже каждой группы, какую ему было по силам объединить вокруг себя. И точно так же относительный мир между народами удавалось установить лишь имперской власти, которая оказывалась сильнее каждого покоренного народа в отдельности и даже сильнее тех союзов, какие он мог бы...

Правда, такого могущества практически ни одной империи достичь не удалось — ни одна из них не бывала настолько сильна, чтобы одолеть всех своих вассалов разом — или, по крайней мере, сделать это, не подвергая опасности собственное существование. Отсюда и родился принцип «разделяй и властвуй». А зрелые империи пришли к еще более мудрому принципу (отчетливо, по-видимому, его не формулируя): собирай подати и не трогай культуру. Это и есть наиболее безопасный диалог культур или, по крайней мере, основание к таковому — культурное невмешательство. По возможности не трогай религию, обычаи — словом, ничего из того, что относится к главной человеческой ценности — к коллективным иллюзиям. Сохрани за покоренными народами право молиться как они хотят, жениться как и на ком хотят, есть, пить, танцевать, одеваться и даже судиться — разумеется, под контролем «федеральной» власти. И лучше всего управлять народами-вассалами руками их же собственных элит, усыпляя гордость последних возможностью входить в элиты «федеральные», тогда как гордость «плебса» будет убаюкана тем, что с чужеземцами в своей будничной жизни ему сталкиваться почти не придется.

О чем-то подобном сегодня и поговаривают прагматичные лидеры национальных общин: о праве на собственный суд — разумеется, под присмотром государства. Иными словами, если община этим правом начинает злоупотреблять, за этим последуют определенные санкции — вплоть до ее лишения этой почетной прерогативы. Но если община обеспечивает правопорядок среди своих сочленов, тогда и ее культурная деятельность станет вызывать многократно более сильную симпатию.

Либеральное право, само собой, не допускает подобных процедур — все должно быть дозволено либо всем, либо никому. Да и что это за нонсенс — юрисдикция по национальному признаку, который, как всем известно, должен быть внутренним делом каждого: на каких основаниях гражданин, скажем, даже и азербайджанского происхождения должен быть отнесен к азербайджанской общине, если он в глубине души считает себя русским, если не вообще гражданином мира? Лет сто назад эту коллизию пытались разрешить австромарксисты во главе с Отто Бауэром, предложив принцип национальной автономии. Именно национальной, а не территориальной — то есть автономия предоставляется национальным группам, как бы они ни были разбросаны по стране, и каждый гражданин причисляется к той или иной национальной группе по личному зову души, по его личному заявлению: прошу, мол, считать меня азербайджанцем. Таким образом каждая народность существует — и обладает правом на долю в государственном бюджете — до тех пор, пока находятся желающие продлевать ей жизнь.

Теоретически эти добровольные национальные общины и могли бы сделаться теми отдельными квартирами, в которых каждая культура могла бы безмятежно наслаждаться своей избранностью, не раздражая посторонних ушей своим самомнением, открывая им лишь свои общечеловеческие элементы. Вот только вопрос: как предотвратить хотя бы горячие конфликты между этими уникальностями? Ведь мир-то в былые времена обеспечивался отнюдь не равноправием, но именно неравноправием: те национальные общины, которым удавалось привести своих членов к миру с социальным окружением, каким-то образом поощрялись, те, которые не сумели обуздать своих жуликов, насильников и экстремистов, лишались этих поощрений... И все это по силам как тогда, так и сейчас осуществить лишь «имперской» элите, заинтересованной в сохранности и процветании многонационального целого. Если же такая элита оказывается неспособной укротить кнутом или пряником неизбежные амбиции отдельных народов, она открывает путь конфликтам всех со всеми. По крайней мере, прежде всегда бывало так: или все ненавидят центральную власть и воображают, что без нее жили бы в мире и дружбе, или все грызутся друг с другом и мечтают о центральной власти, у которой они могли бы найти управу на наглость соседей.

Итак, мы приходим к выводу, что для более или менее безопасного диалога культур необходимо прежде всего реабилитировать слово «империя», в определенных кругах уже давно превратившееся в ругательство. Многие либерально мыслящие социологи уверены, что всякое длительно существующее социальное явление непременно выполняет какую-то жизненно важную социальную функцию. Следовательно, не могло бы оказаться столь живучим и пресловутое имперское сознание, если бы вся его миссия сводилась к тому, чтобы наполнять подданных империи бессмысленной агрессией и ни на чем не основанной спесью. Так вот, рискну предположить, что

имперское сознание заставляет жертвовать этническими интересами во имя общегосударственного целого. То есть имперское сознание вовсе не высшая концентрация национализма, как сегодня многие привыкли считать, но, напротив, его преодоление во имя более широкого и многосложного единства.

Когда Петр Великий открывал самые высокие государственные поприща инородцам все мастей — это и было проявлением имперского сознания; когда российская власть включала аристократию покоренных народов в имперскую элиту, позволяя «плебсу» сохранять культурную самобытность, — это тоже было проявлением имперского сознания. Зато принудительная русификация стала торжеством национального сознания над имперским.

Хотя при этом нужно вспомнить, что националистический напор сверху в значительнейшей степени был реакцией на национально-освободительные движения снизу — проще говоря, порожден страхом утратить роль «хозяина страны».

Я вовсе не хочу кого-то осуждать — экзистенциальные интересы национальных меньшинств действительно требовали обретения своего угла, где доминировали бы их собственные сказки, а экзистенциальные интересы русского большинства не менее властно требовали сохранения привычной роли. Примирить эти интересы было бы чрезвычайно трудно даже в самых благоприятных обстоятельствах, а уж в условиях распада государства, когда на волю вырываются самые безумные фантазии, и вовсе невозможно. Тут уж каждый действует в меру своих физических сил как в национально-освободительном реванше, так и в национально-охранительной мести.

Зато после всех кошмаров те национальные меньшинства, которым удалось сделаться большинством в собственной стране, принялись добиваться национальной однородности куда более рьяно, чем это делалось и при старом, и при новом российском режиме. Ибо в двадцатые годы едва ли не главным врагом коммунистической власти сделался русский патриотизм, окрещенный великорусским шовинизмом, поскольку именно русская химера была главной соперницей химере интернациональной. Политика «коренизации кадров», в сущности, и была невольным реваншем имперского духа. А сталинская русификация стала отступлением от него.

Хотя, вполне возможно, националистической лестью Сталин всего лишь хотел подкрепить имперский дух русского народа, давая ему понять, что он по-прежнему главный. Ибо угроза государственному доминированию неизбежно порождает националистический реванш, иначе просто не бывает.

Так и напрашивается призыв к национальным меньшинствам: берегите империю! Только уверенность народа-хозяина в том, что на его национальное достояние никто не покушается, обеспечивает вашу безопасность. Мне ли не понимать, что одной безопасности далеко не достаточно, есть еще и гордость, но ведь самоуверждаться вне сферы борьбы за власть можно в тысячу раз более успешно — собственноручно, за пределами этой толкучки и начинается самое восхитительное и долговечное, а следовательно, и обеспечивающее наиболее прочную экзистенциальную защиту! А задирая русское большинство, изображая его естественный патриотизм чем-то злобным и искусственно навязанным, ставя под сомнение его право на государственное доминирование, вы все равно не добьетесь равенства сил, но лишь пробудите национальный реваншизм, — скинхеды — это еще только самые первые и самые мерзкие цветочки. Берегите имперское сознание, ибо на смену ему может прийти только сознание националистическое!

Если толерантный имперский дух еще жив в русском народе, наша задача усилить его, придав ему благородное обличье — эстетизация все-таки способна немножко видоизменять форму того, что само собой пробивается снизу.

Но известны ли случаи, когда многонациональная элита не вырастала бы из какого-то мононационального ядра «народа-хозяина»? Утратив культурное доминирование, «хозяин страны» неизбежно утрачивает и ответственность за многонациональное целое, и его «всемирная отзывчивость» неизбежно сменяется национальным эгоизмом и глухотой к культурным нуждам других народов. Ибо к диалогу хотя бы в умеренной степени способны только сильные и уверенные в себе.

А организационные формы взаимоотношений национальных общин с народом доминирующей культуры (формы культурного апартеида) могут быть разными. Главное — чтобы они служили единой базовой стратегии: каждая культура должна быть спокойна за фундаментальное, культуuroобразующее чувство собственной исключительности, должна быть спокойна за свое традиционное наследие, в чем бы оно ни

заклучалось — в территории, в социальной функции или в образе самой себя, — только в этом случае культуры смогут, не вызывая вражды, обмениваться своими общечеловеческими элементами.

Эта стратегия требует особой деликатности в том случае, когда речь идет о традициях ислама и православия. Поскольку обе эти традиции в настоящий исторический момент испытывают чувство тревоги из-за своей неполной принятости наиболее процветающим и авторитетным ядром цивилизованного мира. Страх отверженности многократно обостряет чувствительность любой культуры даже к предполагаемому, призрачному унижению. И те взаимные неудовольствия мусульман и христиан, которые в эпохи процветания не вызвали бы серьезных последствий, в кризисную эпоху способны привести к серьезнейшим конфликтам.

О, бурь заснувших не буди!..

Однако исподволь, ничего не декларируя вслух, очень даже стоило бы развивать специальное (но не выделенное организационно) направление в литературе, в популярной истории, в кино и телевидении, которое сосредоточивало бы внимание на светлых эпизодах взаимодействия мусульман и православных, на сотрудничестве их в каком-то общем благородном деле, на противостоянии какому-то общему врагу...

Программу такого рода мог бы довольно быстро разработать небольшой коллектив, включающий в себя историков, культурологов, а также художников слова и экрана, ощущающих принадлежность разным традициям, но испытывающих желание преодолеть свою особость во имя более многосложной культурной целостности. Интеллектуальные, культурные элиты мусульманской и христианской традиции для начала должны научиться вести диалог в собственном узком кругу, создавая синтетическую систему умиротворяющих образов, и лишь затем обращаться с ними к массовому сознанию.

Но, к сожалению, прийти к согласию относительно каких-то наименее опасных принципов диалога культур даже самим интеллектуалам мешает то самое подчинение интеллекта потребности в душевном комфорте, которое является главным препятствием для диалога масс. Даже многие интеллектуалы не желают видеть неустрашимого трагизма социального бытия, то есть конфликта всех ценностей, включая самые возвышенные и желанные. Эта полунамеренная слепота и заставляет во всех мучительных ситуациях искать какую-то панацею, какой-то ключ, который открывал бы разом все замки.

В последнее время одной из таких панацей сделалось слово диалог: предполагается, что все конфликты можно умиротворить, если конфликтующие стороны сумеют каким-то особо мудрым образом вступить в диалог друг с другом. В подтверждение приводятся те или иные экзотические примеры мирного сожительства наций или конфессий, не замечая при этом, что социальные группы, говорящие на разных языках, вовсе не обязательно являются нациями: нацию создает, как я однажды выразился в «Исповеди еврея», вовсе не язык или территория, а общий запас воодушевляющего вранья. То есть система наследственных иллюзий, осуществляющих коллективную защиту населения от экзистенциального ужаса.

Мирное соседство швейцарцев, говорящих по-итальянски и по-немецки, никак не послужило примирению Италии и Австрии во время Первой мировой войны, равно как мирное соседство армянина и азербайджанца за одним столом в профсоюзном санатории ни в коей мере не смогло предотвратить карабахский конфликт.

К сожалению, даже интеллектуалы часто не различают конкурентных и неконкурентных ситуаций и способ примирения, пригодный в ситуациях неконкурентных, надеются с успехом применить в ситуациях острой конкуренции.

А между тем мировая и даже внутригосударственная конкуренция, хотим мы того или не хотим, неизбежно разделяет народы на более успешные и менее успешные. И если чисто материальную неуспешность перенести было бы сравнительно легко, особенно если она не меняет существенно привычного образа жизни, то неуспешность экзистенциальную перенести почти невозможно. Социальные унижения и ранят нас так больно прежде всего потому, что наша ущемленность в мире открывает нам глаза на нашу ничтожность в мироздании. И в этих случаях метафизи-

ка служит стремлению побежденных взять реванш над победителями. Грубо говоря, победители заинтересованы в том, чтобы признать существующий порядок вещей справедливым, а побежденные заинтересованы ровно в обратном. И всякая попытка прийти к компромиссу будет восприниматься побежденными как призыв признать свое поражение заслуженным.

Диалог должен строиться совершенно по-разному в зависимости от того, какого рода интересы скрываются за внешне «объективными» аргументами. При конфликте *материальных интересов* диалог вполне возможно вести в терминах прибылей и убытков, доказывая, что мир выгоднее войны, — а заодно искать условия взаимовыгодного мира. При конфликте *мнений*, которые относятся к вопросам, не являющимся вопросами жизни и смерти (таковы в большинстве своем научные прения), можно указывать оппоненту на новые факты и слабые места в его логике. Но при конфликте *иллюзий* — идеологий, метафизических систем — нужно прежде всего понять, какими интересами они порождены.

Метафизические системы порождаются стремлением придать универсальный характер собственным психологическим интересам, и самой глубокой потребностью человека является потребность преодолеть ужас собственной мизерности и мимолетности, присоединяясь к чему-то великому и долговечному. Поэтому, вступая в метафизические дискуссии, следует более всего опасаться выказать сомнение в величии и долговечности того, в чем оппонент находит психологическую защиту. Особую осторожность должны проявлять более защищенные, то есть более преуспевшие. Как раз им-то не следует ни в коем случае даже ставить на обсуждение собственную метафизику, поскольку она, как правило, предназначена для оправдания того самого порядка вещей, который разрушает экзистенциальную защиту проигравших. Напротив, им следует объяснять свой выигрыш случайностью, подчеркивать достоинства оппонента и мудрость его метафизического самооправдания...

Ну, словом, вести себя так, как каждый деликатный человек ведет себя с менее преуспевшими коллегами.

Только, как сказал бы товарищ Чапаев, — в мировом масштабе.

Георгий Нижарадзе

Лэптоп и крест

С грузинского

Перевод Виктории Зининой

В новейшей истории Советский Союз был первой сверхдержавой, которая жила не на экономике, а на идеологии. Эксперимент завершился грандиозным крахом, а миру явились не только политически, но и качественно новые государства. Несмотря на весьма различающиеся культурные традиции (которые въяе проявились вскоре после развала Советского Союза, хотя и прежде играли значительную роль), эти страны (за исключением стран Балтии) характеризовали, а ныне характеризуют и поныне, специфические, полученные в наследство от СССР общие черты. Это низкая культура труда и соответственно низкий экономический потенциал, авторитарный менталитет, дефицит навыков самоорганизации, низкое правовое сознание, и в то же время — относительно высокий уровень формального (но далеко не реального) образования, определенный потенциал в сферах науки, искусства или спорта — как институционный, так и функциональный. Одним словом, миру явились общества-химеры, в которых сосуществовали несовместимые элементы — с одной стороны, бедная экономика, с другой — атрибуты экономики развитой и, что также немаловажно, не отвечающие уровню экономики высокие требования населения в отношении вознаграждения за труд, обеспечение отдыха, образования, здравоохранения, питания и качества товаров потребления.

Химерные образования нежизнеспособны; чтоб не умереть, они должны адаптироваться к новому окружению или же изменить его применительно к себе. После распада Советского Союза прошло без малого двадцать лет, и, как выясняется, «детская смертность» среди этих новых государств, вопреки малым и средним катклизмам, равна нулю, во всяком случае, пока. Все без исключения постсоветские страны здравствуют и более или менее успешно пытаются завоевать свое место в мировом или региональном сообществах. А это означает, что в новых государствах начались и продолжаются какие-то адаптационные процессы, более или менее различные в соответствии с экономическими, культурно-историческими, экологическими, геополитическими и другими факторами. Постараюсь очертить адаптационные процессы, происходящие в Грузии, а также другие изменения, адаптационная ценность которых пока еще проблематична.

* * *

В 1994 году я попробовал охарактеризовать адаптационную к постсоветскому режиму модель Грузии как культурной единицы¹. Во всякой эволюционной системе (а культура относится к таковой) изменения осуществляются за счет модификации существующих реалий и доступных ресурсов. Поэтому считаю целесообразным повторить некоторые соображения из той статьи.

После смерти Сталина и частичного развенчания Хрущевым «культ личности» в советском истеблишменте произошли серьезные, практически революционные изменения — на вершине власти органы безопасности были заменены партийной номенклатурой, которая была вынуждена позволить определенную либерализацию.

¹ Г.Нижарадзе. Полемические заметки о некоторых особенностях социально-психологического своеобразия Грузии. Ум от горя. Тбилиси, cipdd, 1994, 41—82.

Система оставила в неприкосновенности и табуировала идеологию и политику, но неформально допустила запрещенную старым советским законодательством экономическую деятельность. Казалось бы, государство подписало со своими подданными некий неписанный договор, по которому гражданин в определенных пределах имел возможность (но, разумеется, не право) нелегальной экономической деятельности. Политика и идеология оставались в монопольной собственности государства. Можно сказать, что новые правила игры раньше других прижились в Грузии. Произошло практически полное отчуждение от коммунистических идеалов. Социализм в Грузии был «почитаем» только потому, что он был детищем соотечественника — «отца народов». А исключение Сталина из советского «пантеона» и его преступления лишили смысла советские ценности, они превратились в трухлявых идолов, которым требовалось ритуальное поклонение, но вера в них была поколеблена.

К тому же система создала такие условия, при которых стало возможным приобретение серьезного богатства за счет высокого социального статуса и советского наследия, можно сказать, без адекватных усилий (уровня образованности, профессионализма, трудовых затрат). Если при Сталине не то что карьерный рост, но и сама жизнь зависела от активного проявления лояльности режиму, то в изменившихся условиях появились новые «конвертируемые» ценности: деньги, должность, влиятельные знакомства. Наметились три пути, следуя по которым можно сделать карьеру. Первый — номенклатурный (партийно-комсомольский). С его помощью осуществлялось обретение материальных ресурсов и открывалась дорога к распределению этих ресурсов, что создавало питательную среду для коррупции. Второй путь — это теневая экономика, обогащение за счет государства и соотечественников. Теневая экономика не имела ничего общего с капитализмом, поскольку ей была чужда конкуренция, она была порождением советского режима, и вне этого режима у нее не было перспективы. И был еще один путь — «черный» — обретение авторитета в криминальном мире, предполагающий отнюдь не низкий социальный статус; вор высокого ранга уже не ходит «на дело», но имеет приличный доход, значительную часть которого составляет «арбитражно-медиаторская деятельность» — устранение конфликтных ситуаций по законам «понятий».

Обозначенные три сферы — номенклатура, теневая экономика и криминальная элита — в Грузии были тесно переплетены между собой и фактически составляли единую систему. Эта адаптационная система была расточительной: она потребляла ресурсы империи, а сама создавала очень мало. К тому же она вырабаталась в условиях пребывания в статусе зависимой страны, а это значит, что любые крупномасштабные проблемы, стоящие перед любой страной (безопасность, социальная защита, снабжение и пр.), решались, худо-бедно, непременно в центре.

Рост благосостояния, позволяющий выделиться среди других, определил в масштабе всего Советского Союза формирование модели специфической идентичности, модели, позволяющей подчеркнуть свое отличие, прежде всего свою «нерусскость», опираясь на язык и мифологизированную историю. Примечательно, что представители просвещенных слоев титульных этносов в большинстве советских республик старались определить детей в русские школы. Исключение составляли Грузия и Прибалтика, хотя и с существенным отличием — грузинская «нерусскость» не подразумевала антирусскость, как в Прибалтике, и носила компенсаторный характер, иными словами, акцентирование основных компонентов (язык, история и т.д.) национальной идентичности создавало психологический противовес факту пребывания страны в статусе страны зависимой.

Следует отметить, что вероисповедание (православие) в тот период не составляло столь уж значительного компонента в грузинской идентичности. Это было обусловлено несколькими факторами. Первый — принципиальная антирелигиозность режима. Хотя следует сказать, что в этом смысле идеологический пресс в Грузии был сравнительно слабее, так же как и цензура вообще (к примеру, в романе Нодара Думбадзе «Закон вечности» священник выведен как положительный персонаж, что очень трудно было бы представить в литературной продукции других республик). Второй — по отношению к России православие не было отличительным признаком. Третий и, пожалуй, самый значительный фактор состоял в том, что социальный заказ в отношении религии не был четко определен: режим воспринимался как сильный и злой, но глупый монстр, борьба с которым была бессмысленна, но который можно легко провести и строить свое маленькое счастье. В общей атмосфере преобладала беззаботность, не срабатывали такие факторы, как массовые стрессы и безнадежность, бурно развивались грузинское искусство и спорт (они также составляли значительный компонент идентичности) — так что потребности в религии не ощущалось.

Хотя нужно сказать и то, что религия все же играла определенную роль в повседневной жизни: крещение ребенка было всеобщей практикой (это было социально «желательно», хотя и не обязательно), социальная роль крестного была вполне реальной, считалось хорошим тоном и некоторым фрондерством ходить в церковь на Рождество и на Пасху (с этим режим боролся, показывая в такие дни по телевизору популярные иностранные фильмы). Но этим практически все и ограничивалось.

Вот в таких условиях разваливается Советский Союз. Грузия становится независимым государством, за этим следуют эйфория, затем гражданская война, потеря территорий, противостояние с Россией, развал экономики, расстройство практически всех институтов и инфраструктур, но одновременно и узаконивание свободного предпринимательства, открытие границ, создание свободных медиаструктур, освоение современных информационных и коммуникационных технологий. Короче, социальная, экономическая и политическая ситуации изменились в корне. В то же время стало очевидно, что жить по привычным правилам уже невозможно, а навыки жизни в новых реалиях в большом дефиците. Одним словом, Грузия оказалась в адаптационной кризисе, выход из которого и сегодня еще представляется далекой перспективой. Хотя признаки новой адаптационной модели уже налицо, и именно о них пойдет речь.

* * *

Кто не жил в Грузии в начале девяностых годов, тому трудно представить тогдашний быт — холодные и темные дома, во дворах водруженные на костры огромные кастрюли, в которых варились фасоль на всех жителей дома, бессмысленная стрельба на улицах, очереди за керосином и хлебом, величиной с почтовую марку миллионные купоны, блуждание по распродажам, абсолютно оправданное ожидание душераздирающих новостей etc, etc... Но во мраке постепенно замигали светлые точки, как всегда, по милости коммерции — появились корейские керосинки, газовые баллоны, генераторы, заработали частные маршрутные такси, стали открываться магазины, столовые и даже рестораны (хотя последние были населению не по карману).

Но первой структурой, которая очень скоро возродилась и заработала как часы, была ритуальная служба. И это не случайность, поскольку смерть в Грузии — феномен, несущий серьезную социальную функцию. Правила и традиции, связанные со смертью, создают базовую основу ритуала, в котором проецируется грузинская культура и происходящие в ней изменения.

Грузинская культура общения коллективистская и ориентирована на небольшие группы. Подобные группы состоят из нескольких сотен людей, которые знакомы друг с другом, состоят между собой в родстве, дружат, более или менее часто встречаются, в той или иной степени признают общие нормы и ценности, а в случае необходимости оказывают друг другу посильную помощь. Можно выделить и подгруппы: родственные, дружеские, соседские, круг сотрудников и относительно далеких знакомых — одним словом, всех, кого можно объединить словами «мои» и «наши», которые употребляются больше в разговорной речи, поэтому в дальнейшем я использую термин «нострия»¹ (от латинского *nostrī* — наши).

Смерть члена нострии является событием, которое собирает всех «собратьев», находящихся в пределах досягаемости и не прикованных к постели (в этом отношении в Грузии с ритуальной службой не сравнится даже брачный церемониал). Траурный ритуал хорошо знаком любому грузину, но хочу заметить, что он медленно, но все же меняется (мы это увидим на примерах). Поэтому данный текст со временем может послужить этнографическим материалом, тем более что описания современного грузинского траурного ритуала, насколько мне известно, не существует.

Итак, происходит трагическое, но неизбежное — умирает человек (не считите за цинизм то, что я не коснусь тяжелых переживаний родственников усопшего, а остановлюсь только на нормативно-ритуальной стороне события). Начинаются обязательные процедуры. Члены семьи оповещают о случившемся всех родственников, последние, в свою очередь, сообщают о происшедшем всем, до кого можно дотянуться и кому надлежит это знать, после чего срочно отправляются в дом усопшего, чтобы помочь родственникам в подготовке панихиды. Покойного переносят в центр самой большой комнаты, переставляют мебель, выбирают фотографию для увеличения, решают необходимые формальности и назначают день и час похорон (14.00 или

¹ Приношу благодарность г-ну Левану Бердзенишвили за консультацию.

15.00). Питание членов семьи в эти дни обеспечивают соседи, это твердо установившаяся традиция. Здесь же отмечу, что траурные дни связаны с немалыми затратами, поэтому традиционно члены нострии собирают деньги для семьи покойного.

Похороны возможны только в строго определенные дни — во вторник, в четверг, в субботу и в воскресенье, которые, следует отметить, не несут никакой сакральной нагрузки (по церковным канонам похороны допустимы в любой день); насколько мне известно, эти правила установило правительство где-то в 50-х годах, хотя неизвестно по каким соображениям, но по сей день похороны проходят только в упомянутые дни, нарушений я не припомню.

Выбор дня похорон автоматически означает, что предшествующие два дня отводятся панихиде, причем тоже в определенные часы. В советский период панихида назначалась на 19.00 зимой и на 20.00 — летом. В 90-х годах время сместилось на 17.00 или 18.00 часов. К предположительным причинам этого мы еще вернемся. Добавим, что в деревнях нет определенного времени для панихид, поскольку члены нострии, проживающие в разных уголках страны, приезжают в разное время.

Таким образом, у членов нострии на исполнение траурных обязанностей имеются три дня, которых вполне достаточно, чтобы узнать о случившемся и отправиться даже в другой город или деревню.

Собственно панихида продолжается один час. Пришедшие входят в комнату, где покоится усопший, обходят гроб, поцелуют или ритуальными фразами выражают соболезнование членам семьи и потом, в зависимости от того, насколько они близки членам семьи, остаются на определенное время в центральной комнате, выходят в другую комнату, где царит более «неформальная» атмосфера, или, не задерживаясь, удаляются. Ближайшие родственники и друзья семьи не довольствуются официальной панихидой, откладывают в сторону текущие дела и практически постоянно находятся рядом с семьей покойного. Здесь же следует отметить, что кончина родственника является важной причиной для того, чтобы повременить с любыми делами, что подчеркивает характерную особенность грузинской культуры — нормы, порожденные личными или групповыми интересами, приоритетны в сравнении с деловыми обязанностями. Хотя в последние годы в этом отношении ситуация постепенно меняется, о чем пойдет речь дальше.

Больше всего народу — практически вся нострия — бывает в день похорон. Встречаются давно не видевшиеся родственники и знакомые, обмениваются новостями, вспоминают прошлое, обещают, что будут встречаться чаще, — одним словом, происходит демонстрация жизнеспособности, единства и солидарности нострии. Сто—двести человек, ядро данной нострии, провожают покойного на кладбище, присутствуют при погребении, а затем едут на траурное застолье — поминки. В сравнении с традиционным грузинским застольем поминки отличаются некоторыми особенностями: порядок и четкая последовательность тостов строго регламентированы, не разрешается пить никакие алкогольные напитки, кроме вина, обязательны ритуальные блюда — кутья, плов с бараниной.

На сороковой день устраивается еще одно, но более ограниченное ритуальное собрание (на нем присутствуют только близкие родственники и друзья, примерно человек пятьдесят—восемьдесят). Собравшиеся выезжают на кладбище, после чего снова садятся за поминальный стол. То же самое повторяется по прошествии одного года, и этим для семьи завершается траурный цикл.

Таким образом, траурный ритуал в Грузии служит объединению основной социально-культурной единицы общества — нострии, выражению солидарности между ее членами. Но у него есть еще одна, так сказать, «психотерапевтическая» функция.

У любой культуры выработана собственная «философия смерти». Скажем, в японской культуре смерть является обычным элементом повседневности, в которой существует нечто более страшное, к примеру, стыд. У нас дело обстоит иначе — общество как бы старается «избавиться» от смерти, или, во всяком случае, игнорировать ее: о смерти стараются не говорить, а если приходится сказать что-либо, то добавляется ритуальная фраза «упаси Господи!». Слово гроб заменяется эвфемизмом «чертог», за покойного зачастую пьют как за живого, широко распространилось выражение «Небесная Грузия», или же место, где, наверное, жизнь продолжается так же, как на этой земле, и т.д. Это очень интересная тема, которая требует отдельного изучения.

Для родственников усопшего траурные дни очень утомительны — приходят и уходят люди, всех необходимо встретить, хотя бы коротко пообщаться, решить множество проблем, касающихся в том числе кладбища, поминок и т.д. В итоге практически не остается времени остаться наедине со своим горем, подумать и осознать

трагичность и неизбежность случившегося, боль от смерти близкого в такие дни приглушается, сама смерть как бы уходит в тень, «исчезает» в тщетности земной жизни. Это и есть коллективизм: группа защищает — порой даже излишне — своего члена в трудную для него минуту.

А теперь посмотрим, как изменился траурный ритуал в Грузии за последние двадцать лет.

В первую очередь, конечно, заметно возросла роль Церкви. Отпевание в храме и похороны по церковному обряду (что раньше было событием исключительным) стали обычным явлением; подсвечник со свечой и икона у изголовья покойного, так же как и крест на могиле, превратились в почти обязательные атрибуты; если поминки совпадают с периодом поста, то на стол подают только постные блюда (во время других застолий пост так строго не соблюдается).

Кроме того, Церковь объявила борьбу с языческими предрассудками. К примеру, еще несколько лет назад был широко распространен следующий ритуал: до выноса покойника из квартиры женщины выходили из комнаты, оставшиеся мужчины поднимали гроб, трижды по часовой стрелке вращали его вокруг своей оси и трижды стучали им в закрытую дверь. Мне не ведомы происхождение и символика этого ритуала, но совершенно очевидно, что это действие язычески-магическое, оно не прошло мимо внимания Церкви, и теперь к этому обряду обращаются все реже.

Под влиянием Церкви изменилось и музыкальное сопровождение панихид. В советский период из соответствующей службы в семью усопшего приходил пожилой мужчина с магнитофоном «Днепр», в зависимости от желания родственников, он включал или классическую программу (Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен) или же грузинскую (Палиашвили, традиционные песнопения)¹. Когда в грузинском обществе рекомендации церковнослужителей обрели определенный вес, из репертуара постепенно исчезла классическая музыка католико-протестантского происхождения, за ней последовала грузинская музыка общего характера, и сегодня в большинстве случаев на панихидах либо вообще не бывает музыки, либо звучат только церковные песнопения.

Это что касается изменений, происшедших под влиянием Церкви; но есть изменения и другого порядка, казалось бы, не столь уж существенные, однако тоже достойные внимания. Одно мы уже отметили — время панихиды перенесено на более раннее. Это произошло не сразу. В начале 90-х годов, когда разрушилась практически вся инфраструктура (энергетика, коммуникации, транспорт), довольно трудно стало исполнять обязанности перед нострией, но об упразднении этих обязанностей не могло быть и речи (добавлю, что, по моему предположению, именно нормы и обязанности, непреложные для нострии, остановили наше общество на краю полнейшего хаоса²). Но в соответствии с существующими реалиями разрушался и привычный порядок прихода на панихиду — люди стали приходить тогда, когда им удобно, в основном в дневные часы, ибо вечером, когда темно, ходить по улицам было небезопасно.

С восстановлением транспортного движения и вообще с относительной стабилизацией в стране, когда тесные улицы стали представлять меньшую опасность, время, отведенное для панихид, снова стало фиксированным, оно совпадало с окончанием рабочего дня. На мой взгляд, это объясняется существенным ростом серьезного отношения к деловым ценностям в грузинском обществе, в результате чего рекреациям и семейным взаимоотношениям все больше отводятся вечерние часы. В нашем случае это выражается в том, что исполнение нострической обязанности в «облегченной» форме превращается в привычную процедуру. Последнее, с моей точки зрения, характеризует весьма примечательную тенденцию в современном грузинском обществе: больший вес, который приобретают принципы индивидуализма, и соответственно постепенное ослабление примата нострии.

¹ Любопытно, что в 80-х годах в Гурии (Западная Грузия) в репертуаре панихидной музыки неожиданно появились композиции группы Pink Floyd.

² Для иллюстрации приоритета нострических норм в грузинском обществе приведу анекдотичный пример. Рассказывают, что в условиях жесточайшего энергетического кризиса по распоряжению Кутаисской мэрии в корпус дома, где был покойник, в дни траура электричество подавалось бесперебойно, но этим проявлением чисто грузинского гуманизма население воспользовалось весьма своеобразно: жильцы корпуса вскладчину покупали крышку от гроба, выставляли его перед дверью то одной квартиры, то другой, и в результате электричество подавалось в дом бесперебойно.

В советский период посещение панихид было более «нагруженным»: к ним специально готовились, часто шли всей семьей или группами. Сегодня подобное встречается значительно реже. Также уменьшилось количество «корпоративных» венков и букетов с надписями «От соседей», «От сослуживцев» и т.д. — цветы приносят в основном индивидуально. На определенное ослабление социальной функции панихид указывает и то, что с началом 90-х годов исчезла традиция публикации в прессе траурных объявлений (хотя это касается только крупных городов, бегущая строка с траурными объявлениями сегодня все еще является значительным источником дохода для регионального телевидения).

Претерпели изменения и поминки. Прежде их справляли в семье усопшего. Брался напрокат складные столы и лавки, а также посуда, еду готовили родственники. В 80-х годах появились специальные, спартански оборудованные помещения и обеспечивающие поминальное меню кооперативы, в том числе и семейные.

Сегодня в крупных городах поминки справляют в основном в ресторанах, хотя это обходится недешево. Это весьма любопытный факт — ритуальные поминки перешли в публичное пространство. Нострия становится более открытой.

Подведем итог вышесказанному. В сегодняшней грузинской бытовой культуре траурный ритуал сохраняет функцию объединения нострии, солидаризации ее членов. Вместе с тем происходящие в ней изменения отображают две весьма значимые тенденции, предвещающие нашему обществу серьезную трансформацию. Первая тенденция — исходящий от Церкви «коллективизм прихожан», который в корне отличается от «коллективизма нострального» в первую очередь тем, что прихожане менее дифференцированы, нежели нострия — есть только обладающий незыблемым авторитетом священник и рядовые, но равноправные прихожане. Вторая, противоположная тенденция — рост степени индивидуализма, объясняемый приходом западных ценностей и институтов: рыночной экономики, элементов демократии и др. Позволю себе предположить, что, если исключить форс-мажор, общественный профиль Грузии в ближайшие десятилетия определится борьбой двух упомянутых тенденций. А теперь посмотрим, как проявляются эти тенденции в других сферах жизни.

* * *

И упомянутый нами индивидуализм, и «коллективизм прихожан» можно рассматривать в разрезе, с одной стороны, демократически-либеральных, с другой — фундаментально-националистических парадигм, которые рождаются практически во всех посттоталитарных обществах, и не только в них. Более того, и в советский период претензии к режиму определялись этими парадигмами: с одной стороны, русификация в противовес национальным интересам, с другой — права человека. Так было и в Грузии. К тому же следует отметить, что при критике советской власти здесь преобладала националистическая риторика. После распада Советского Союза произошла институционализация этих двух парадигм, хотя и не сразу; националистический режим первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа в какой-то степени противостоял Церкви, но позже, во времена Эдуарда Шеварднадзе, национализм и православие сблизилось настолько, что сегодня для значительной части общества слова «грузин» и «православный» стали синонимами. Что касается демократической парадигмы, ее институциональную обеспеченность проводили, с одной стороны, государство, которое, начиная с правления Шеварднадзе, объявило строительство демократии официальной доктриной и даже сделало определенный шаг в этом направлении, несмотря на многочисленные реверансы в сторону Церкви (я намеренно избегаю называть конкретные политические акции и ограничиваюсь описанием общих тенденций), а с другой — неправительственный сектор.

С началом 90-х годов в Грузии под влиянием постсоветских перемен и демократических изменений начинает развиваться гражданское общество. Вместе с тем демократические перемены в Грузии протекали в условиях дефицита демократических традиций. Фактически гражданское общество в современной трактовке этого понятия начинало свое существование с нуля. Строительство гражданских институтов происходило как «снизу вверх», так и «сверху вниз», и процесс этот параллельно протекал как в правительственно-вертикальной, так и в общественно-горизонтальных плоскостях. Упомянутый процесс имел отличительную черту — сильное влияние извне. Запад финансово и организационно активно поддерживал утверждение демократических принципов, среди которых одним из главных было создание гражданского общества. В этих условиях различные социальные группы начали осваивать новые ресурсы, что вылилось в основном в учреждение неправительственных организаций, манифестная функция которых заключалась в поддержке и распространении либе-

ральных и демократических ценностей, подразумевающих защиту прав человека, мирное разрешение конфликтов, распространение гражданского образования и т.д.

Первые неправительственные организации появились в Грузии в 1992–93 годах. Естественно, этот процесс протекал иначе, нежели в свое время в Западной Европе и Северной Америке, то есть в основном не «снизу», а «сверху».

Факт, что после разрушения Берлинской стены интерес западных организаций-доноров к постсоветским странам чрезмерно возрос. Нам неизвестно, существовала ли какая-либо координация между государственными или неправительственными международными организациями в осуществлении стратегии активности на постсоветском пространстве, но надо сказать, что развитие неправительственного сектора в странах бывшего коммунистического блока, в том числе в Грузии, стало приоритетным для западных доноров. Начиная с 1993 года число неправительственных организаций возросло до нескольких тысяч, хотя большинство их ограничилось лишь регистрацией, так и не проявив никакой активности. Причины тому были разные: некоторые организации не отвечали требованиям доноров, другие не имели опыта создания и развития фондов, были и такие, которые создавались «на всякий случай», следуя примеру других.

Рядом с ними появились довольно многочисленные организации различных профилей с квалифицированным контингентом, в основном это были ученые, техники и люди творческих профессий. Для таких организаций выделенные им гранты служили источником существования; они более или менее регулярно выигрывали гранты, в меру своих возможностей добросовестно исполняли взятые обязательства, чем и обеспечивали себе относительную экономическую стабильность. Вместе с тем неправительственные организации все-таки оказывали и оказывают определенное влияние на грузинское общество с помощью тренингов, публикаций, внедрения нового языка. Именно такие организации стали называться «грантоедками», или «грантофагами» (термин З.Карумидзе); любопытно, что это слово родилось в среде тех работников Академии наук и университетов, которые были вынуждены довольствоваться скромным государственным финансированием.

В Грузии ядро гражданского общества составляли и составляют не многочисленные, но энергичные неправительственные организации, которые исповедуют демократические принципы, хорошо осознают главную социальную функцию неправительственного сектора — роль медиатора между обществом и властью, контроль власти — и по мере возможности выполняют эту функцию. Именно члены этих организаций представляют чаще всего неправительственный сектор в медиасообществе в качестве независимых экспертов, и именно эти организации чаще всего упоминаются в социологических исследованиях.

Но было бы ошибочным считать, что неправительственный сектор в Грузии отличается исключительно демократической ориентацией. В стране действует целый ряд организаций, которые под флагом православия активно выступают против сексуального образования молодежи, теории эволюции, гендерного равноправия, против западного влияния вообще. И все-таки неправительственный сектор вместе с соответствующими медийными структурами сегодня можно считать основными «провайдерами» западных, в том числе индивидуалистических ценностей (медиа в Грузии — отдельная тема, которой я не буду здесь касаться, отмечу только, что в стране множество как демократических, так и фундаменталистских изданий и каналов, в то же время значительная часть медиасообщества пытается соблюдать баланс и «не обижать» ни одну из сторон, хотя это чаще всего касается Церкви).

* * *

Неправительственный сектор и Церковь, индивидуализм и «приходской коллективизм» — какая тенденция превалирует? На общественном уровне, несомненно, вторая. Судя по социологическим исследованиям, Церковь пользуется значительно большим доверием, нежели другие общественные институты¹, до 90% населения считает себя верующими², иконы и кресты всех размеров стали привычными деталями современных интерьеров и ландшафтов, демонстрация религиозности в общественном пространстве стала «хорошим тоном». Вместе с тем, судя по тем же социологическим исследованиям, число людей, регулярно исполняющих церковные ритуалы, не превысило 15–18% населения³.

¹ См. напр.: Ценности грузинского общества. Тбилиси. Фонд «Открытое общество — Грузия», 2006, график 2.

² Там же, график 7–8.

³ Там же, график 11.

Другая тенденция — условно говоря, индивидуализация — заметна сравнительно меньше, но это вовсе не означает вовсе, что она не оказывает влияния на современное грузинское общество. Передо мной результаты¹ опроса населения, сделанные с интервалом в четыре года, в марте 2004-го и в мае 2008-го (число респондентов 1000—1000, города, в которых проводился опрос, — Тбилиси, Кутаиси, Гори). Один из вопросов был сформулирован так: определите, что означает лично для вас быть грузином? (Перечисленные определения оцените в очках от 0 до 9 в зависимости от того, насколько каждое из них связано с вашим ощущением того, что вы грузин). Результаты таковы:

	2004	2008	изменение	рейтинг	
				2004	2008
1. Грузинский язык	8,81	8,88	+0,07		1
2. Традиционная еда и напитки	7,70	7,98	+0,28	5–6	6
3. Свобода и права человека	6,88	7,88	+1,0	8	7
4. Религия	8,37	8,80	+0,43	4	2
5. История	8,65	8,69	+0,04	2–3	3
6. Миролюбие	7,70	8,42	+0,72	5–6	4
7. Наука и техника	5,87	6,28	+0,51	12	12
8. Конституция Грузии	6,35	6,49	+0,14	9	10
9. Демократия	6,09	8,39	+2,3	10	5
10. Свободное предпринимательство	5,96	7,83	+1,87	11	8
11. Гуманизм	7,50	6,48	-1,02	7	11
12. Культура, литература, искусство	8,65	7,06	-1,59	2–3	19

В графе «изменение» черным выделены статистически значимые изменения.

Динамика ответов весьма любопытна. Как явствует из таблицы, три основных компонента грузинской идентичности — это язык, религия и история (в сравнении с опросом 2004 года религия опередила историю). Четвертый компонент, а именно «культура, литература и искусство», который по результатам 2004 года опережал религию и приближался к показателям по истории, сдал свои позиции (на 1,6 пункта).

Вызывает удивление резкий рост компонента «демократия», а также компонентов «свободное предпринимательство» и «свобода и права человека», особенно первого. Разумеется, опираясь только на приведенные выше результаты, нельзя утверждать, что грузинское общество реально освоило ценности развитых стран, однако столь внушительный рост рейтинга ценностей, ассоциированных с «осью индивидуализма», указывает на то, что общественное настроение меняется в этом направлении, причем довольно заметно.

Интересен также статистически значимый рост компонента «наука и техника», тем более на фоне резкого падения показателей компонента «культура, литература и искусство» (я подчеркиваю это, поскольку наука и культура нередко мыслятся в одной категории). Возможно, рост этого показателя обусловлен ростом ценности реальных (а не формальных) образования и квалификации. С этим, видимо, связан наглядный спад компонента «гуманизм». Следует предположить, что в нашем обществе, где превалировали нормы «нострических» межличностных взаимоотношений, во главу угла все больше ставятся уже деловые нормы и неквалифицированного человека не возьмут на работу или уволят в первую очередь, несмотря на то, что этот человек может нуждаться (стало быть, гуманизм, как это ни печально, приносится в жертву деловым интересам). Понятно, что и эта тенденция связывается с «осью индивидуализма».

На рост весомости качества «индивидуализм» указывают и другие признаки. Обратим внимание на то обстоятельство, что индивидуализация приняла глобальный характер, чему значительно способствовало широкое распространение таких «индивидуалистических» реалий, как мобильные телефоны, персональные компьютеры и Интернет; разумеется, и грузинское общество вовлечено в этот процесс. Хотя упомянутые реалии — это фактор, но не знак. А знаки таковы.

¹ Городское население Грузии — о религиозных и политических вопросах. Результаты социологического опроса. Тбилиси. Фонд Конрада Аденауэра. 2008. С.17.

* * *

Традиционно уровень миграции в Грузии был низким, если не считать вынужденное переселение (ферейданские грузины¹, продажа пленников и слуг). До самого XX столетия в истории Грузии было всего две не очень масштабные волны миграции, но они были для страны весьма ощутимы. Первая — это свита царя Вахтанга VI (состоявшая из более чем тысячи знатнейших фамилий), последовавшая за ним в Россию. Известно, что большая часть ее осталась в России и претерпела полную ассимиляцию. Вторая волна связана с советизацией Грузии и была гораздо больше, но следует отметить, что значительная часть представителей социальных групп, не примирившихся с Советской властью, все же осталась в стране, и большинство оставшихся заплатились жизнью за это свое решение.

Можно предположить, что основной причиной такого развития событий мог быть высокий уровень коллективизма, а именно сильная привязанность к нострии, эта привязанность и определяет страх перед чужой средой, ее неприятие. Возможно, здесь смешаны причина и следствие, и, напротив, страх перед чужой средой обуславливает привязанность к нострии, но в данном случае это не столь важно, нас интересует результат — традиционно низкий уровень миграции.

Положение определенно изменилось в советский период, особенно с 60-х годов, когда режим претерпел некоторую либерализацию и стала возможна разносторонняя, хотя и незаконная коммерческая деятельность (об этом процессе речь шла в начале статьи). Помимо других явных результатов, за этим процессом последовал рост благополучия, что само собой способствует индивидуализации. С другой стороны, к этому времени в Грузии уже сформировалась культурная модель адаптации к режиму. Психологически это означало, что советское пространство, несмотря на этнокультурное многоцветие, для большей части грузин уже не было чужим и пугающим, это и обусловило довольно активную миграцию из Грузии в Москву и другие крупные города. Но не только. наших соотечественников можно было встретить в совершенно неожиданных краях — от льдов Арктики до пустыни Каракум — и обычно самое меньшее на посту руководителя среднего звена. Часть мигрантов претерпела натурализацию, и сегодня грузинская диаспора самая многочисленная в России и на Украине.

За развалом Советского Союза последовали мощные потоки миграции из всех постсоветских государств, в том числе из Грузии (как и в советский период). По разным оценкам, количество мигрантов из Грузии увеличилось с 300 тысяч до 1,5 миллиона². Новая волна миграции отличается от предшествующей двумя аспектами: социальным — большую часть мигрирующих составляют низкоквалифицированные работники и гендерным — больше половины мигрирующих составляют женщины. Гендерный аспект чрезвычайно важен для нашей проблематики, и к этому вопросу мы скоро вернемся. Что касается темы миграции в целом, я не стану разбирать экономические, политические и другие факторы, а также позитивные и негативные стороны этого процесса. Только отмечу, что миграция такого масштаба в грузинском обществе — наглядный индикатор ослабления «нострических» связей и преодоления страха чуждой культуры, другими словами — роста качества индивидуализации.

* * *

До 90-х годов миграция из Грузии была привилегией мужчин. Домочадцы обычно присоединялись к главе семьи позже, когда он приживался в новой среде. Но нередко эмигрант создавал новую семью на новом месте. Одним словом, женщина в лучшем случае представляла в роли «пассивной» эмигрантки.

Эта деталь выражает довольно существенный аспект выработанной в Грузии адаптационной модели к позднему советскому режиму: на всех уровнях общественной жизни — семейном, «ностральном», публичном, правительственном, общенациональном — «представительская» функция составляла монополию мужчин. В соответствии с гендерными стереотипами мужчины, с точки зрения интеллекта и дееспособности, «полноценнее» женщин, что и определяет его доминантную социальную

¹ Грузины, переселенные шахом Аббасом в 1616 году в Ферейданскую долину в Турции (прим. перев.)

² J. van Selms. Georgia looks west, but faces migration challenges at home. Migration Policy Institute. 2005. <http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.cfm?id=314>

позицию. Не буду углубляться в корни этих традиций или стереотипов, замечу только, что у них многовековая история и они воспринимаются как нечто «само собой разумеющееся».

В условиях всеобщего кризиса и потери обычных жизненных ориентиров первые признаки адаптационного поведения проявились в развитии чартерного бизнеса и мелкой торговли. Примечательно, что в этих сферах больше проявили себя женщины, и это не случайно. В Грузии торговля традиционно считалась делом не престижным и даже недостойным (наверное, не ошибемся, если рассмотрим это как элемент традиционной «православно-феодальной» этики). Поэтому, когда торговля стала удобным средством приспособления к создавшимся условиям, за нее взялась в первую очередь подчиненная гендерная категория, у которой не было «представительских» функций, то есть женщины (эта тенденция проявилась особенно среди беженок из Абхазии). Надо отметить, что подобная тенденция широко распространена — торговая деятельность, которой пренебрегают представители доминантных социальных групп, часто концентрируется в социально подчиненных этнических, религиозных и других группах.

Так или иначе, массовое включение женщин в торговую деятельность повысило уровень их материальной независимости, женщина превратилась в главного кормильца семьи, вследствие чего незаметно повысился и ее социальный статус (надо заметить, что в этом процессе определенную роль сыграли и неправительственные организации по защите прав женщин). Резко увеличилось количество женщин за рулем, они все чаще стали появляться в барах и ресторанах без сопровождения мужчин (в советское время неписанные социальные нормы запрещали подобное, и если женщина все же заходила в ресторан, она становилась объектом недвусмысленного внимания мужчин).

Вместе с тем распространенные в грузинском обществе гендерные стереотипы (которые, как и любые стереотипы, характеризуются присущей им инерцией) все еще априори рассматривают мужчин как доминантную категорию. Хотя и здесь налицо определенные изменения — женщина уже не воспринимается однозначно как декорация в такой области деятельности, как политика или бизнес, а все чаще ценится в соответствии с «негендерными» критериями.

Таким образом, тенденция сокращения дистанции между значимостью полов в современной Грузии прослеживается довольно четко, хотя, разумеется, до гендерного равноправия предстоит пройти еще немалый путь. Но очевидно, что и эта тенденция относится к «индивидуалистическому измерению» — эмансипация любой социальной группы указывает на рост ценностей индивидуализма.

* * *

Коротко суммируем вышесказанное. Единицу основной социальной группы современного грузинского общества все еще составляет нострия — группа, включающая родственников, друзей, близких знакомых, соседей и сослуживцев. Характерные для нострии нормы и традиции проявляют себя практически во всех сферах общественной жизни, включая политику и бизнес. В своем завершенном виде нострия как адаптационная система сложилась в 60—80 годах прошлого столетия, во время пребывания Грузии в статусе зависимой страны. В условиях же независимости образ жизни, продиктованный нострическими нормами, уже не может противостоять глобальным или локальным политическим, экономическим и социальным вызовам. Соответственно проявились признаки трансформации нострии: с одной стороны, распространяются и укрепляются присущие «коллективизму прихожан» стереотипы, а с другой — набирает силу индивидуалистическая тенденция. Сегодня эти противоположно направленные векторы в той или иной мере сосуществуют и не вступают в открытый конфликт друг с другом, но в будущем можно ожидать их более острого противостояния, которое может длиться долго, хотя не исключено и то, что один из векторов может одержать верх над другим. Будущее принципиально непредсказуемо, поэтому я воздержусь от конкретного прогнозирования, впрочем, полагаю, из текста ясно, за какую тенденцию я ратую.

Евгений Абдуллаев

Террор, война и...

Новая гражданская лирика в поисках языка, темы и субъекта

Слухи о смерти гражданской лирики оказались преувеличенными.

Она, как оказалось, снова жива.

Разговоры о ее нездоровье начались еще в конце восьмидесятых. Когда стало совершенно очевидным, что:

— приплясывающая пятитопным хореом газетная передовица — только *один* из способов отражения современности, причем не лучший;

— поэт, собственно, не *должен* отражать современность и что у многих вообще лучше получается описывать что-нибудь безвременное. Деревья, листья, облака. Эти летние дожди. Эти устрицы во льду.

Но главным аргументом в пользу смерти гражданской лирики был сам поэтический язык. Который тогда инфлировал, как советский рубль.

Язык, который десятилетия эксплуатировался для отражения как реальных, «газетных» событий, так и слепленных с них событий-симулякров, героев-фантомов, бэтманов и бэтманш соцреализма с гаечным ключом в деснице.

Язык, который был фабрикой, где вращались шестеренки одних и тех же глаголов, скрипели шатуны одних и тех же прилагательных, и все ехало по конвейеру одних и тех же стихотворных размеров. Когда же такую производственную деятельность перестали государственно поощрять, поэты, за исключением нескольких энтузиастов, разошлись по домам.

Причем в отличие от других производственных мощностей, оставшихся от советской эпохи, эту машинерию никто не собирался приватизировать. Невостребованными оказались не только умельцы по рифмованию слов «мир», «труд», «май». Сами эти слова — и многие другие, из того же «стада», — оказались изношенными. Ими теперь могли заинтересоваться разве что литературные коммиссионщики — разновидность перекупщиков советских значков, рублей, бюстиков. При определенном таланте, иронии и изобретательности этими советскими существительными-глаголами можно было некоторое время забавить читателя, хотя и забавники скоро стали нагонять зевоту.

Потому что язык устал. Де-индустриализировался. В фабричных корпусах ползла трава и сорняк: поэтический язык стал почвой. Почвой, которую следовало поддержать под паром.

Девяностые годы и стали годами пара. Событий хватало — не хватало языка для их переплавления в стих. И не только эклектичного языка советской поэзии. Для этого не годился и реанимированный язык «серебряного века», и — не менее реанимированный — язык авангардных экспериментов.

С конца девяностых ситуация с гражданской лирикой стала меняться.

«Гражданское» или «политическое»?

Но вначале — несколько слов о понятиях, поскольку многие из них от частого негигиеничного употребления еще в советское время истрепались и залоснились до неузнаваемости.

Первые наброски этой статьи, относившиеся к 2003—2005 годам, — совпали с выходом интересных и крайне актуальных заметок Марии Майофис «о политической субъективности в современной русской поэзии»¹.

Безусловная их удача — в том, что критик чутко уловила момент возникновения

новых тенденций в гражданской лирике. «Несмотря на очевидную стагнацию российской политики в последние 3—4 года, можно констатировать многократно возросший эстетический и, что немаловажно, этический интерес к политической и гражданской проблематике»². Я бы только уточнил, что не «несмотря на», а именно «благодаря» политической стагнации и сокращению поля публичного обсуждения социально-политических вопросов — в силу действия компенсаторных механизмов, не раз срабатывавших в таких случаях в России, — социально-дискурсивные функции были «подхвачены» поэзией. Причем поэзией обновившейся и успевшей переболеть за короткий срок множеством влияний: и «остатками» Серебряного века, и Бродским, и концептуализмом, и еще бог весть чем. Так что, соглашусь: «само понятие «гражданской» или «политической» поэзии теперь нуждается в существенных уточнениях»³.

К сожалению, как раз этого уточнения в статье нет. Мария Майофис добросовестно отобрала стихи близких себе по духу поэтов; стихи разные, есть любопытные, есть — так себе; есть те, где «политического» больше, есть те, где его вообще без подсказки Майофис и не разглядишь. Как, например, в интересном стихотворении Полины Барсковой «Письмо любимому в Колорадо». Лирическая героиня стихотворения играет с щенком («До стога я люблю щенков // Игру их мягких позвонков...»), далее героиня вспоминает, что ее папа, «едкий философ», пенял ей «на сходство с Геббельсом», тоже любившим собачек и птичек. Хорошо, а политика-то где? Политическое — это Геббельс, поясняет критик. Но дальше в стихотворении — ни о Геббельсе, ни о политике — ни слова. Возможно, я пристрастен, но как-то это не тянет на «поэтическое высказывание о политике», обещанное критиком в начале статьи.

Поэтому я буду говорить именно о гражданской лирике, а не о несколько размытом «политическом». Поскольку последнее связано с *отражением* — иногда случайным, немотивированным, второстепенным — политической сферы, тогда как гражданская лирика — именно с *выражением* взглядов и позиций поэта. Конечно, жесткой границы между «отражением» и «выражением» нет. В стихотворении — если оно стоящее — нет ничего второстепенного и случайного, все «работает» на выражение. И все же. Гражданская лирика предполагает — даже при отчуждении поэта от политики — некое высказывание, причем стихотворение, как я постараюсь показать ниже, совершенно не обязательно при этом должно включать в себя политический вокабуляр.

Кроме того, я бы хотел отделить этот тип гражданского высказывания от двух других, также проходящих по ведомству «политического».

Первый, или, так сказать, «нулевой», тип гражданской лирики — это когда даже при полном отсутствии гражданского высказывания в стихотворении оно *может* являться таковым в определенном контексте. Например, в советское время гражданским высказыванием могло быть стихотворение на религиозную тему. Или даже просто лирическое стихотворение с «излишне» пессимистическими (или эротическими, или сатирическими...) обертонами. С использованием нецензурной лексики. Важен контекст: степень политического принуждения, наличие цензуры и степень ее влияния и т.д. В самой России сегодня, к счастью, подобный «контекст» отсутствует, но в ряде постсоветских республик, где режимы гораздо более авторитарны, а цензура — жестче, подобная возможность сохраняется.

И второй тип — лирика поэтов-«гражданственников» *par excellence*. Например, Игоря Иртеньева, Андрея Родионова, Всеволода Емелина или Евгения Лесина. При всем различии этих поэтов гражданское высказывание является у них одним из образующих моментов и авторского стиля, и авторской репутации. Пусть, предположим, у Иртеньева оно оркеструется ироничной игрой с политическими и социальными клише, а у Емелина — подается как речь «человека-из-народа», жлобоватого, простоватого, но кумекающего, что к чему. Все это, тем не менее, производно от первичного — от «злобы дня», новостной ленты, и, главное, воспроизводит советскую модель «поэта откликающегося», к поискам новой гражданской лирики, на мой взгляд, не относится.

Поскольку *новая гражданская лирика формируется именно через отказ от прежней парадигмы прямого отклика, прямого отражения*.

Литература обладает собственной реальностью, достаточно автономной — что верно подметил, но слишком узко интерпретировал П.Бурдьё: как автономность исключительно социальную, связанную с институтами литературы, ее ритуалами и «правилами игры». Однако между поэзией и реальностью не только «институты», но и «толстый-толстый слой» текстов, в первую очередь — поэтических. Эти тексты даже не столько *между* поэтом и реальностью, сколько *уже* часть этой реальности — семантическая тень, отбрасываемая предметами.

Сама природа поэтического отражения реальности достаточно избирательна и иерархична — и может значительно отличаться от той иерархии, которая выстраивается политикой, религией, даже культурой (поэзия всегда немного «некультурна»). О чем-то сходном говорил Бродский: «Реальное окружение поэта — политика, индустрия, природа. Да, это входит в искусство, в определенный жанр. Очень трудно написать хорошую политическую поэму. Самые политические поэты были Кавафис, Монтале, а не Маяковский. Человеческий ум имеет иерархическую систему, он многоуровневый. Политическая система — первая нижняя ступенька»⁴.

Соглашусь — именно на этой ступеньке многие поэты поскользнулись, а некоторые так и остались на ней... Это не означает, что и стихотворение на политическую тему занимает нижнюю ступеньку в иерархии поэтических текстов: у того же Бродского можно найти несколько политических стихотворений, причем более в «маяковском», нежели в «кавафисовском», смысле — включая известное «Представление».

Безусловно, однако, что новая гражданская лирика шире по своему объему и сложнее по содержанию, чем прежняя, «советская». На место прежней, дуалистической, «манихейской» модели общества с жесткой поляризацией «добра» и «зла», «белого» и «черного», «наших» и «не наших», «разрешенного» и «запрещенного», пришла картина более сложная, этически зыбкая, построенная на игре сероватых полутонов...

И еще одно принципиальное отличие новой гражданской лирики — ее «индивидуализация». Точнее было бы даже использовать термин «приватизация» — не в экономическом, а в социально-психологическом смысле⁵. Гражданское высказывание, которое несет в себе стихотворение, не претендует на всеобщность, на выражение некой коллективной — классовой, сословной или групповой — воли; оно — лично, «приватно». Стилистически это отразилось и в исчезновении дидактической риторики, призывов и обращений. Высказывание делается от имени как бы частного лица по поводу частных, личных переживаний, надежд, страхов...

Пожалуй, ключевое слово здесь именно *страх* — эмоция (в отличие от паники) сугубо индивидуальная, экзистенциальная и одновременно предельно важная для новой гражданской лирики. Советскому человеку было как-то не положено бояться. Редко можно было столкнуться с признаниями: «Кто говорит, что на войне не страшно, // Тот ничего не знает о войне» (Юлия Друнина). Но и в этих случаях речь шла, скорее, о коллективном преодолении страха и его достаточно ясного, определенного источника. Современное общество — гораздо более атомизированное, индивидуалистичное — а источник страха, напротив, более рассеян, дисперсен, «как-бы-нигде». И лучше всего воплощают этот неуловимый, но мощный источник *терроризм* и возможность *новой войны* — что я и попытаюсь показать в этих заметках.

«И в составе бригады шахидов взрывать дома...»

Самый простой ответ, почему у поэтов — причем даже у тех, кто ранее ни на какие социально-политические раздражители не реагировал — стали появляться стихи о терроризме: мол, проняло. Потрясло. Что одно дело, когда смерть бродит где-то в Чечне, Дагестане или в каком-нибудь еще более отдаленном «стане». И совсем другое, когда она — в центре Москвы. Когда тебя, в принципе, везде могут взорвать или взять в заложники.

Правда, можно заметить, что на теракты были богаты и конец XIX — начало XX столетия, а вот стихов о терроризме мы ни у кого из сколько-нибудь заметных поэтов той поры не встретим. Что лишний раз подтверждает мысль о непрямом, косвенном характере отражения в поэзии⁶. Возможно, дело и в других масштабах терроризма той эпохи, в отсутствии ТВ... Или в том, что на стыке XX и XXI века террор приобретает новое измерение. Как писал Михаил Эпштейн: «То, что происходит сейчас в мире, нельзя свести к исламскому террору и его борьбе с западной цивилизацией. Сама цивилизация приобретает иное качество ввиду своей новооткрытой уязвимости»⁷.

Насколько и как эта «новая уязвимость» стала фактом поэзии? Рассмотрим несколько примеров.

Инна Кабыш, «После Беслана»:

Не хочу ни отца, ни мать
в этом брошенном Богом мире,
чтобы их не могли взорвать
ни на улице, ни в квартире.

Не хочу никаких детей,
чтоб не видеть слезы ребенка.
Не хочу никаких вестей,
ибо каждая — похоронка.

Не хочу больше стройных ног
(а ведь, Господи, как хотела!).
Чтоб не взяли его в залог,
не иметь хочу вовсе тела⁸.

Тема дана несколько «в лоб», с характерным для традиционной гражданской лирики отождествлением поэта и его лирического героя (героини). Традиционная форма; традиционная и риторическая фигура стихотворения, напоминающая известный шлягер: «Если у вас нету дома — пожары ему не страшны». (Впрочем, и ахматовскую «Молитву»: «Отыми и ребенка, и друга // И таинственный песенный дар...») Вообще, первые два четверостишья «Беслана» словно заимствованы откуда-то из прежней — советской или эмигрантской — гражданской лирики.

Но вот возникают строчки: «Не хочу больше стройных ног // (а ведь, Господи, как хотела!)». Вместо некоего абстрактного и бесполого субъекта высказывания, имеющего (или не имеющего) не менее абстрактных отца-мать-ребенка, возникает живой лирический герой. Человек со своей собственной историей. Стихотворение проигрывает там, где действует оппозиция «убийца — жертва», и получает убедительность только на уровне свойственной для лирической поэзии оппозиции «мужское — женское». Терроризм как метафора мужского, сексуально-агрессивного начала (представить себе террористку, привлеченную мужскими ногами, проблематично) придает высказыванию архетипическое измерение, позволяющее отойти от привычных штампов.

У Дмитрия Кузьмина в цикле «Вместо декларации об идейно-политическом самоопределении» (особенно в первом стихотворении)⁹ социальное высказывание также возникает на стыке личного, интимного, незащищенного — и обезличенного, деструктивного:

В подземном переходе, выжженном дотла
не помню сколько лет назад
взрывом, отнесенным на счет чеченских террористов,
мне наперерез бросается девушка с искусственной улыбкой,
в красной светоотражающей униформе, как у дорожных рабочих,
и спрашивает для социологического опроса:
Россия — великая страна?
В этом переходе
в ларьке с дешевой бижутерией
работала дальняя знакомая
моего недолгого любовника.
Однажды мы шли здесь вместе с ним
и он остановился поболтать с ней
о новой мишуре, выставленной на продажу,
о способах сбросить вес, о здоровье мамы.
Я не запомнил ее лица,
не запомнил имени,
Саша ушел от меня, растолстел, женился,
я хотел бы знать,
осталась ли она в живых
после того взрыва.

То, что обычно маркируется в гражданской лирике как «пошлое» (ларек с бижутерией, новая мишура, способы сбросить вес), парадоксальным образом оказывается чем-то «теплым», человеческим (соположенным — через перечисление — со

«здоровьем мамы», а контекстуально — с вероятной гибелью от взрыва). Угроза же исходит из мира безлично-общего — от «чеченских террористов» (или тех, кто «отнес на их счет» взрыв), от лозунга «Россия — великая страна» и девушки в красном (знаковый цвет), бросающейся к поэту с искусственной улыбкой, чтобы узнать — опять-таки для некой обще-обезличенной социологической цифири — его отношение к этому слогану.

Впрочем, возможны и иные оппозиции, через которые поэт откликается на тему терроризма. Например, известная кипплинговская оппозиция «Восток — Запад», через которую вводится уже достаточно разработанный русской поэзией пласт ориентализмов. Террорист оказывается квинтэссенцией Востока — Востока агрессивного, Востока чужеродного, исламского (прощай, политкорректность!).

При этом, как ни парадоксально, поэт сам не прочь примерить на себя маску террориста — как одну из возможных ориентальных масок.

У питерца Дениса Датешидзе, например, эта маска выступает как одна из альтернатив серому, автоматичному существованию западного человека:

Вот служить бы хоть ложным, но целям! (Принять Ислам
И в составе бригады шахидов взрывать дома?..) ¹⁰

(«Человеку судьба — родиться и умереть...»)

Близкий мотив — но уже совершенно без всяких лирико-гражданских обертонов — звучит и в одном из стихотворений другого питерца, Алексея Пурина. Его герой мечтает переродиться в следующей жизни «на Востоке / у Аллаха зоркого в горсти»:

Ядом вязь арабская сочится
и священной жизни правый бой —
стяг зеленый, реющий как птица.
Верная погибель — но с тобой! ¹¹

(«Если вновь родиться — на Востоке...»)

То, что у Пурина герой представляет, как будет сражаться с неверными под зеленым знаменем, а у Датешидзе — «в составе бригады шахидов взрывать дома», не представляет, с точки зрения литературного приема, существенной разницы. В обоих случаях речь идет о маске шахиды, противопоставленной унылым маскам повседневности. Правда, отношение у поэтов к этой ориентальной маске настороженное, опасливое. Чего стоит хотя бы «сочащаяся ядом» арабская вязь, словно процарапанная ножичком на стволе пушкинского Анчара...

Однако и у Пурина, и у Датешидзе тема терроризма присутствует, скорее, на уровне отражения. Стихотворение Александра Кушнера, написанное в том же ориентально-трагическом ключе, представляет собой уже вполне определенное высказывание.

Две тысячи сто сорок пятый год.
Поэт Бен Ладен и Саддам-философ
Сидят в кафе и ждут, что подойдет
Гарсон. Гарсон подходит. Бледно-розов
В Парибагдаде майский вечерок.
— Взгляни, Бен Ладен, на его рубаху
С арабской вязью!
Кофе нам и сок.
Скажи, гарсон, молился ты Аллаху?

— Молился утром, в полдень и сейчас
Пойду в мечеть, чуть позже, на закате.
— Отлично, мальчик!
Думаю, что нас
Он не читал. Как все, чуть-чуть фанатик.
А мне, Бен Ладен, местный фанатизм
Невмоготу — такое настроение.
— Ты прав, Саддам. И в этом — драматизм
Последних лет. — Прочти стихотворенье.

(«2145-й» ¹²)

Это редкий для поэзии Кушнера случай *игрового* стихотворения. Бен Ладен и Саддам в некоем отдаленном будущем — даже не они, а их тезки-однофамильцы. Они, возможно, и не арабы (трудно представить, чтобы арабы о надписи на родном языке говорили как об «арабской вязи»). И, возможно, и не мусульмане: вопрос «молился ты Аллаху?» в разговоре мусульман достаточно странен (кому ж еще молиться?). А очевидные русизмы — «вечерок», «рубаха» — уже не оставляют никаких сомнений в травестийном характере всей сцены.

Этот ориентальный маскарад оттеняет главный посыл стихотворения: «А мне, Бен Ладен, местный фанатизм / немоготу./ Терроризм напрямую не назван, но его исток точно, лаконично определен: *местный* фанатизм. Фанатизм провинциалов. Фанатизм «не читающих» («...нас / Он не читал»). Терроризм оказывается не просто «ложной, но целью», а уделом чего-то ограниченного, недалекого.

Кстати, именно так, по воспоминаниям Н.Я.Мандельштам, относился к терроризму Осип Мандельштам: «Все виды террора были неприемлемы для Мандельштама. Убийцу Урицкого, Каннегисера, Мандельштам встречал в "Бродячей собаке". Я спросила про него. Мандельштам ответил сдержанно и прибавил: "Кто поставил его судьей?"... Мандельштам покупал и просматривал издания Центрархива, и среди них было много книг с делами террористов. О казненных говорить плохо он не стал бы, но его всегда удивляла скудость и ограниченность этих людей»¹³. Неудивительно, что поэзии Мандельштама эта тема оказалась чужда.

Иную интерпретацию терроризма можно обнаружить еще у более раннего Дмитрия Пригова:

Милиционер вот террориста встретил
И говорит ему: Ты террорист
Дисгармоничный духом анархист
А я есть правильность на этом свете

А террорист: Но волю я люблю
Она тебе — не местная свобода
Уйди, не стой у столбового входа
Не посмотрю что вооружен — убью!

Милиционер же отвечал как власть
Имущий: Ты убить меня не можешь
Плоть порaziшь, порвешь мундир и кожу
Но образ мой мощней, чем твоя страсть¹⁴.

(«Милиционер вот террориста встретил...»)

В одном из интервью Пригов давал и свое определение терроризма: «Вызов частного человека государству, узурпировавшему у него какие-то права. Например, убивать. У кого-то вызывает возмущение, что государство имеет право убивать, а он — нет. И я говорю даже не о частных случаях терроризма, а о его идеологеме — о вызове частного человека государству»¹⁵.

Иными словами, в ситуации отчуждения государства, восприятии его как большого «Милиционера», противостоящего «частному человеку», — любой вызов этому «Милиционеру» может казаться оправданным. Возникает даже некоторая перекличка «местной свободы», от которой отказывается приговский Террорист, — с «местным фанатизмом», претящим персонажам Кушнера. Только у Кушнера это «местное» указывает на ограниченность, скудость варварства, противостоящего культуре. Тогда как у Пригова — на тотальную власть государства, допускающую свободу лишь в строго ограниченных «локальных» рамках.

Отсюда остается один шаг до странного сближения фигур Террориста и Поэта. В том же интервью Пригов на вопрос, считает ли он себя «поэтом-террористом» и «где границы допустимого терроризма в культуре», отвечает, что культура «иногда неподготовленным социумом может восприниматься как нечто культурно-террористическое». Непонятно, для чего понадобилось называть «терроризмом» в культуре и литературе то, что от силы можно определить как некий *анархизм*. Впрочем, не хотелось бы придирается к терминам. Важнее отметить тенденцию: поэзия вышла из состояния лирического солипсизма. Она «заметила» терроризм и, пытаясь его «освоить», стала вырабатывать для этого соответствующие приемы, язык, интонацию.

Война и мир

Постепенно, однако, тема терроризма стала уступать место другой теме — теме *войны*. В ней так же звучит мотив страха, незащитности человека перед превосходящей его смертоносной машинерией. Есть и отличие. Тема войны обладает собственной, более богатой, нежели тема терроризма, литературной традицией — как милитаристской, так и пацифистской.

«Война тысячелетиями оставалась практически перманентным состоянием общества, — замечает Сергей Беляков. — Мир был краткой передышкой между войнами, любой «вечный мир» оказывался лишь перемирием. Литература следовала за жизнью, как хвост за лисой»¹⁶.

С последним утверждением — о «следовании литературы за жизнью» в отражении военной темы — я бы согласился лишь с некоторыми оговорками.

Да, война 1812 года и кавказские войны 1820-х — 1830-х годов породили ряд первоклассных поэтических текстов. Но, скажем, Крымская война, туркестанские походы и война с Японией — прошли словно *мимо* русской поэзии. Далее, если не считать нескольких, далеко не первостепенных, стихотворений Маяковского, Мандельштама и Гумилева, — не отразились в ней и три года Первой мировой войны. Возможно, эти годы просто «померкли» на фоне разразившейся затем революции и гражданской войны, и все же... Да и афганская война, отозвавшись в самодеятельной, бардовской поэзии, почти не оставила следа в текстах поэзии профессиональной.

При том что сами поэты, если судить по их дневникам, письмам, статьям, откликались на войны. Откликались и реагировали. Как люди. Но не как поэты.

Почему?

Можно, конечно, объяснить это разной степенью личной вовлеченности поэта. Непосредственный, личный опыт гораздо скорее отразится в поэтическом тексте, чем полученный из вторых рук, «вычитанный»... Пушкин и Лермонтов, как известно, сами были очевидцами кавказских войн — тогда как другие военные компании XIX и начала XX века как-то обходились без крупных поэтов.

Но «биографический» аргумент срабатывает не всегда. Например, лучшие стихи о войне 1812 года создали не участвовавшие в ней поэты — а вот воевавший Батюшков о ней фактически не писал. И Николая Гумилева — заслужившего на Первой мировой Георгиевский крест — тоже сильнее вдохновляли не батальные сцены, а экзотические страны и пыльные тропы Африки...

Оказывает свое влияние и литературная мода. Например, появлению «военных» стихов чаще предшествуют не столько войны, сколько мода на оды, эпическую сказовость... Тогда как мода на элегию, на интимное лирическое высказывание будет всячески отторгать военную тематику.

Так что литературный «хвост» довольно строптив: это скорее хвост не лисы, а ящерицы: склонен к отпадению.

Изменилось ли понимание войны в новой гражданской лирике?

Безусловно. Ушел образ ядерного апокалипсиса. В начале 60-х ядерный гриб возникал даже у такого неангажированного поэта, как Бродский:

Кошмар столетия — ядерный грибок,
но мы привыкли к топоту сапог,
привыкли к ограниченной еде,
годами лишь на хлебе и воде...

(«Шествие»)

Нет ядерного оружия вроде меньше не стало. Просто апокалиптические страшилища исчезли из официальной риторики, из «газеты». Стало удобнее пугать обывателей терроризмом, вездесущим и всепроницающим, нежели ядерной угрозой, требующей все более осмысленный и конкретный образ врага.

Стало меньше стихов о Последней Большой войне. Что естественно, учитывая постепенное ослабление ее травматического эффекта, а также уход из литературы — в силу старения и смерти — поколений, переживших войну. Значительный массив уже накопленных — в том числе и первоклассных — текстов создает ощущение исчерпанности темы и средств. Порой, правда, ложное.

Поэтому редкие обращения поэтов к теме прошлой войны в современной гражданской лирике происходят нередко через сознательное отстранение от уже сложившихся штампов, зачастую — их обыгрывания, пародирования. Наиболее показательным примером может служить недавнее стихотворение Виталия Пуханова:

Александр Секацкому

В Ленинграде, на рассвете,
На Марата, в сорок третьем
Кто-то съел тарелку щей
И нарушил ход вещей.

Приезжают два наряда
Милицейских: есть не надо,
Вы нарушили режим,
Мы здесь мяса не едим!

Здесь глухая оборона.
Мы считаем дни войны.
Нам ни кошка, ни ворона
Больше в пищу не годны:

Страшный голод-людопад
Защищает Ленинград!
Насыпает город-прах
Во врагов смертельный страх.

У врага из поля зренья
Исчезает Ленинград.
Зимний где? Где Летний сад?
Здесь другое измеренье:

Наяву и во плоти
Тут живому не пройти.
Только так мы победим,
Потому мы не едим.

Время выйдет, и гранит
Плоть живую заменит.
Но запомнит враг любой,
Что мы сделали с собой¹⁷.

(«В Ленинграде, на рассвете...»)

Даже если не говорить об *этической* стороне этого текста¹⁸ (хотя подмывает спросить: а про Холокост так — слабо? а про Хиросиму?..), с *поэтической* стороны он, на мой взгляд, не слишком удачен — именно своей назойливой фольклорностью. И мне, в отличие от Ильи Кукулина¹⁹, обнаружившего в тексте Пуханова интертекстуальные параллели с Пушкиным, Ахматовой, Бродским... — кажется все же более очевидной его связь с популярными советскими песнями о войне (вроде «Как-то утром, на рассвете...») и с полудиссидентским фольклором — представлявшим собой стилистически все тот же «вывернутый наизнанку» песенный официоз. А финальное «что мы сделали с собой» — хотя и подается как катарсис, но вызывает в памяти, скорее, гоголевскую унтер-офицершу, которая «сама себя высекла»...

Вообще, стилизация под «лубок» — а в этой манере полностью работает Всеволод Емелин, хотя иногда в ней начинают писать и поэты более «высоколобые» (например, Владимир Гандельсман, о котором будет сказано дальше), — вещь коварная. Начиная где-то с пушкинского «Ура! в Россию скачет...», политический лубок существует в русской поэзии на сомнительных правах третьестепенного жанра — рядом с басней, текстовкой песни и т.д. Советская поэзия, культивировавшая фольклорность, опошшила в лубке все то, что не успела опошлить предшествующая ей народническая традиция. И даже попытки «антисоветского» лубка — включая мандельшта-

мовское «Мы живем, под собою не чуя страны...» — несут печать какой-то поэтической ущербности, особенно заметной на фоне возлагаемых поэтами на такие стихи надежд: быть «понятными» массам. Только в редчайших случаях в «лубке» происходит преодоление одномерности, «плакатности» образа без потери ясности высказывания. Например, если стихотворение Алексея Цветкова: «Было третье сентября // насморк нам чумой лечили // слуги ирода-царя // жала жадные драчили» — пример лубочной одномерности, то его недавно опубликованное стихотворение «Вердикт»²⁰ — при всей лубочности образов, все же факт поэзии, и не в ущерб гражданскому звучанию. Или стихотворение Юлия Гуголева «Целый год солдат не видал родни...»²¹ о солдате, вернувшемся с чеченской войны, — где сказовость, фольклорность не только не мешают сильному лирическому высказыванию, но, напротив, усиливают эмоциональный регистр стиха.

В стихотворении же Пуханова лубок — даже пародийно-вывернутый — так и остается лубком, «чернушными частушками». И хотя Станислав Львовский пытается обосновывать социально-терапевтическую полезность этого стихотворения в плане переосмысления прошлого²², увы, ни гражданской, ни — что еще важнее — поэтической ценности я из этой «тарелки шей» выловить не могу.

Согласен, унылое и прилизанное стихотворение на «правильную» гражданскую тему может нанести больше вреда, чем талантливое и неортодоксальное. Пусть прав Станислав Львовский, и текст Пуханова направлен исключительно против «государственной идеологической доктрины» о блокаде. Однако смерть и страдание — над- и вне-идеологичны, пусть даже идеология всегда будет пытаться присвоить и приручить их. И в отношении смерти и страдания как раз и применимо хрестоматийное: «И нам сочувствие дается, // Как нам дается благодать». Не исключаю, что Пуханов сочувствует жертвам блокады. Но сам его опус — это подключение к полю скорби и страдания — но без со-страдания; пародия на «общие места» и банальность советской поэзии — но без выхода за пределы этой банальности. И тут бессилён и разбор социальных смыслов, и тонкий интертекстуальный анализ.

Тем более что тема войны — и в отношении выразительных средств, и в отношении языка, и в отношении возможности высказывания — еще далека, как представляется, от исчерпания, и писать о ней можно и не прибегая к «постмодернистскому» стебу.

Приведу пару примеров. Мемориал памяти жертв фашизма — тема вроде бы копаная-перекопаная поэтами. Тем не менее возникает стихотворение — на мой взгляд, и достаточно «неортодоксальное» с точки зрения привычного «военного» канона, но не пародирующее его, а — *остраняющее*.

Санджар Янышев «Голоса (Аушвиц-Биркенау)».

«Круг вращается, сверху мне видно все».

Аушвиц. Биркенау.

«Я слеп и я глух, но вот нос, как выключить нос?!»

Аушвиц. Биркенау.

«Люблю кладбища, здесь так хорошо дышать».

Аушвиц. Биркенау.

«Э-э... Маленькая подробность: у нее было три соска».

Аушвиц. Биркенау.

«Я из семьи лилипутов, мне повезло».

Аушвиц. Биркенау.

«Раньше бесконечность мерили песком, теперь волосами».

Аушвиц. Биркенау.

«Зеленый — цвет кожи, красный — травы».

Аушвиц. Биркенау.

«Природа простит и это, простит и тебя».

Аушвиц. Биркенау.

«Мысль враждебна и лжива — чувства честны».

Аушвиц. Биркенау.

«А я ничего не чувствую, позвольте тут переночевать».

Аушвиц. Биркенау.

«Рядом прокат велосипедов, пешком тяжело...»

Аушвиц. Биркенау.

«Смотри-ка: лисы! Вон, вон побежал!»

Аушвиц. Биркенау.

«Чем они тут питаются, птичьим молоком?»

Аушвиц. Биркенау.
 «После смерти душа вселяется в нас».
 Аушвиц. Биркенау.
 «Свобода — зачем? Мы едем в Семикаракоры!»
 Аушвиц. Биркенау.
 «Растет моя вера, жалость сходит на нет».
 Аушвиц. Биркенау.
 «Об этом невозможно больше говорить».

28.05.08. Аушвиц-Биркенау²³

Крошащаяся центонность, распадение на хаос живых и мертвых голосов²⁴ удерживается, скрепляется клацающим, как вбивание гвоздя, рефреном: «Аушвиц. Биркенау». Голоса-цитаты — из старых фильмов: «мне сверху видно все» или «Мы едем в Семикаракоры!»... Голоса-«перевертыши», парадоксы: «После смерти душа вселяется в нас», «Зеленый — цвет кожи, красный — травы»... Голоса экскурсантов, интересующихся, где стоянка велосипедов... Реальность возникает как полифония (заставляющая вспомнить начало Первой симфонии Шнитке, с «настраивающимся оркестром»). Как отказ от зрения — ради *зрения слуха*, ради *слышанья обонянием* («Я слеп и я глух, но вот нос, как выключить нос?!»).

И растворяется в молчании: «Об этом невозможно больше говорить» (сродни знаменитому витгенштейновскому «О чем невозможно говорить, о том следует молчать»)... Высказывание о *невозможности высказывания*. О запредельности страдания и неадекватности любого языка, включая поэтический, для его выражения.

Еще пример. Стихотворение о чеченской войне. Написано поэтом, на ней не воевавшим, не бывшим.

Ирина Ермакова — «Гудермес»:

деревце цветёт деревце цветёт
 пылко-алым томно-белёсым
 в воздухе кровь с молоком да мёд
 разгуляй казарменным осам

лепестки летят лепестки летят
 пухнет суровая завязь
 кожистые листья вах! трепещат
 около плодов увиваясь

жаркие соки поют на юру
 в жилах ствола налитого
 кожура лоснится и к ноябрю
 всё наконец готово

огненное деревце — гранатомёт
 за казармой треснуло в корень
 красным колесом рассыпая взвод
 ничего не помнящих зёрен²⁵

Это гудермесское гранатовое деревце также выросло на удобренной метафорами и архетипами почве. Оно в родстве и с неопалимой купиной, и с кустом татарника из «Хаджи-Мурата», да и с образом «раненого дерева» (от дерева в «Ивановом детстве» до «Расщепило бомбой отцову яблоню...» из известной песни). Но «культурная подкладка» здесь не отвлекает внимания от главного — от *события*, которое прорастает в стихотворении (как само деревце) и прорывается (взрывается) в последнем четверостишье.

Это — не только *эстетическое* осуждение войны, неприятие ее как уничтожения красоты; это — и диагностика амнезии, потери памяти (*ничего не помнящие зерна*), что уже выходит за пределы военной темы и оказывается — в русской поэтической традиции — именно социальным диагнозом. Это и мандельштамовское «Я не помню, Годива...» («С миром державным...»), и «Никто не помнит ничего» из жутковатой пастернаковской «Вахханалии»; кстати, не случайно обе эти строки — как и ермаковские «не помнящие зерна» — являются финальными. (Вообще, можно заметить, в

гражданской лирике крайне важна последняя строка или последние строки, где и формулируется высказывание.)

Я сознательно привел три совершенно разных стихотворения «о войне» (Пухачова, Янышева и Ермаковой), в которых выражено достаточно сильное антивоенное звучание. А последние два примера (предельно «визуальное» у Ермаковой и предельно «акустическое» — у Янышева) вообще взяты у поэтов, крайне далеких от политических тем — скорее, погруженных в свой довольно закрытый поэтический мир²⁶. Хотя, возможно, эта некоторая закрытость и есть одно из условий того, что «срезонирует» лишь то социальное событие, которое наиболее отвечает внутренней акустике этого мира...

Вместо эпилога, или Два спора, или «Предъявите народ!»

И все же, говоря о новой гражданской лирике, постоянно чувствуешь себя как бы уходящим, отмахивающимся от вопроса: *кто, собственно, является субъектом гражданского высказывания?* Поскольку делая — более или менее осознанно — такое высказывание, поэт тем самым входит в политическое пространство, где неминуемо возникает вопрос о его социальной и политической идентичности.

Поэт, безусловно, может уйти от такого — зачастую абсурдного (вроде: «Ты перестала пить коньяк по утрам, да — или нет?») вопроса. Оставить его без ответа. Может сказать, что субъектом высказывания является его лирический герой. Или он сам — в своем личном, лишенном какой-либо политической ангажированности качестве.

Но тогда возникает другой вопрос — а на кого рассчитано это высказывание? Тут ситуация посложнее, поскольку, хотя поэтов сегодня читают большей частью сами поэты же, признать, что поэт изначально не хотел (да еще и создавая текст с социальным звучанием), чтобы его стихотворение нашло себе именно широкого читателя — было бы уж слишком большим лукавством.

Поскольку в гражданской лирике вопросы — *кто говорит?, для кого говорит? и от имени кого говорит?* — являются гораздо более важными, чем, скажем, в лирике философской, не говоря уж о пейзажной или любовной.

В прежней гражданской лирике, начиная с первых стихов «о народе», этот вопрос также был актуальным — поскольку субъект высказывания, поэт, как правило, ни по происхождению, ни по образу жизни к простонародью не принадлежал. Равно как и о России и русском писали поэты, многие из которых в современном этническом понимании русскими не были. Тем не менее, пока понятие «русский народ» сохраняло свою сакральность, вопрос индивидуально-биографических особенностей субъекта высказывания отступал на второй план. Эманации «народности» могли излиться на голову любого, кто имел дар их воспринять — как бы получая «небесный мандат» на речь к народу и от имени народа.

Сегодня понятие народа оказалось «разволшебственным». Кто сегодня «народ»? Кто «интеллигенция»? Кто «пролетариат»? Все расплзлось. Если раньше группы выделялись по принципу того, что каждая производила: крестьяне — сельскохозяйственную продукцию, рабочие — промышленную, интеллигенция — интеллектуальную, то сегодня общество скорее дифференцируется по принципу «кто что потребляет». На «целевые группы».

И все же, проблема «народа» снова неожиданно — а, возможно, закономерно — возникла в недавних литературных баталиях. Закономерно, поскольку в ситуации постепенного возвращения государства и общества, пусть на ином этапе, к позднесоветской модели, с соответствующими социальными практиками, риторикой и т.д. — некий возврат к тем временам наметился в литературе. И — как следствие — обострение борьбы за символический ресурс под названием «народ», «мы».

«Мы живем в стране, где ничего не происходит. Где благая мысль всегда остается недодуманной, потому что (или — поэтому) не пресуществляется в действие. Мы живем как арестанты, которые ходят по кругу. Мы живем в стране, где у власти ФСБ, наследники тех, кто «расстреливал несчастных по темницам», и хоть бы что — мы живем, ни шага в сторону. Шаг в сторону — расстрел» — это цитата из статьи поэта Владимира Гандельсмана, опубликованной летом этого года²⁷. Мысль, кстати, вполне традиционная для российского либерального дискурса, разве что высказанная с несколько излишним пафосом.

Виктор Топоров — в опубликованной «по горячим следам» ответной заметке — отреагировал, однако, не столько на этот пафос, сколько на само местоимение «мы» в тираде Гандельсмана. «Произнес ее, — пишет Топоров, — житель Нью-Йорка, гражданин и, надо полагать, налогоплательщик США, переселившийся на новую родину не вчера и не позавчера, а восемнадцать лет назад!.. Я ни в коей мере не идеализирую советское прошлое, равно как и постсоветское настоящее, и отнюдь не намерен огульно осуждать всех уехавших за бугор. Человек ищет, где лучше... Может даже Россию ругать. That fucking Russia! Только ведь без "нашей страны", пожалуй что. И без "мы"...»²⁸.

И, не сбавляя накала, Топоров обрушивается на недавний цикл Гандельсмана «Патриптих»²⁹ — в чем критику, опять же, видится незаконное присвоение права говорить к народу и от имени народа, будучи уже давно гражданином другой страны...

Можно, конечно, понять посыл Топорова — как и известную фразу Ахматовой: «Вас тут не стояло», которую она бросила вскользь Наталии Ильиной, возвратившейся в СССР уже после войны и сталинских репрессий...

И все же, думаю, писать, употребляя «мы» и «наша страна», русский литератор вправе независимо от страны проживания.

Думаю так также потому, что сам — с того самого 1991 года — проживаю вне России, являюсь гражданином Узбекистана и налогоплательщиком Узбекистана. (Правда, за каждую публикацию в России, включая, кстати, и эту, с меня, как с иностранца, отчисляется в российскую казну вполне ощутимый налог...) Более того, я считаю Узбекистан своей Родиной — равно как и Россию, поскольку мыслю и пишу по-русски. И в этом «двоемирии», думаю, не единственный среди тех поколений, которые родились и сформировались в Советском Союзе. И хотя я никуда не уезжал и остался в Узбекистане отнюдь не «в поисках лучшего», мне может быть обращен аналогичный упрек: мог бы, дескать, перебраться в Россию. Мог бы. Не перебрался — может, еще, может, уже. Хотя бы потому, что, опять-таки, не считаю факт географического нахождения в пределах России таким вот *conditio sine qua non*. Можно ведь и жить в России, никак себя с Россией не отождествляя. А можно, не находясь физически в России, как Гандельсман, как десятки других литераторов, «болеть» ею.

И если сам я не буду использовать в этом случае местоимение «мы», то по другой причине — в силу принадлежности к другому, более младшему, нежели Гандельсман, поколению, которое, хотя и родилось и выросло еще при советской власти, однако уже в ее сумерках, когда «мыканье» считалось признаком неискренности и дурновкусия. Но это уже другой разговор.

Что касается стихов Гандельсмана, на которые нападает Топоров, то, чтобы было ясно, о чем идет речь, приведу одно, характерное «Homo Sovieticus»:

В городках или столицах
закордонных видишь их
сразу — о, печать на лицах
соплеменников моих!..

Чем гоним — заботой жалкой?
Злоба-зависть пригнала?
Точно кто-то е...л палкой
по хребту из-за угла.

Вот и шастает, и шарит,
а увидит послабей
человека — сам ударит.
Варвар, выродок, плебей...

Опять же, в содержательном плане меня здесь ничего не коробит. Соглашусь, встреча с соотечественниками за границей — не только русскими, но и многими другими «постсоветскими» — обычно большого удовольствия не доставляет. Правда, обобщать бы не стал — в «закордонных столицах» чаще встречаешь определенный тип — «новых» или «около-новых». А не «малообеспеченные слои населения» (Господи, ну, да: тот самый *простой народ*). Их я встречал в российской и узбекской глубинке; не скажу, что я знаю или понимаю этот тип, и уж тем более не идеализирую... Но он *другой*. Да и Гандельсман, думаю, не этих людей имел в виду.

Что же до поэтических достоинств стихотворения... При всех интертекстуальных переключках (с пушкинскими «Бесами» и не только) это все же пример той самой

лубочности, ложной публицистичности, о которой я уже говорил ранее. И к чему нечего добавить — разве что выразить сожаление, поскольку как раз у Гандельсмана встречаются замечательные, на мой взгляд, образцы современной гражданской лирики, развивающей мандельштамовскую традицию — но не «Мы живем, под собою не чуя страны...», а, скажем, линию «Ленинграда» («Я на лестнице черной живу, и в висок...»):

Я посвящу тебе лестниц волчки,
я посвечу тебе там,
сдунуло рукопись ветром, клочки
с древа летят по пятам,

в лестницах, как в мясорубках, кружа,
я посвящу тебе нить
той паутины, с которой душа
любит паучья дружить,

лестниц волчки или власти тычки,
крик обезьян за стеной,
или оркестра косые смычки
марш зарядят проливной,

гостя, за маршем берущего марш,
я посещу ту страну,
где размололи не хуже чем фарш,
слабую жизнь не одну...³⁰

(«Я посвящу тебе лестниц волчки...»)

Тут бы — на этой ноте — и опустить занавес. Но пока додумывалась и дописывалась статья, разразилась еще одна полемика. На этот раз — между Дмитрием Кузьминым и Всеволодом Емелиным, на мероприятии, обозначенном в программе последнего, шестого, биеннале поэтов в Москве как «Круглый стол «Новая социальная поэзия: реальность поэтического — реальность политического»» (26 ноября 2009 г., портал OpenSpace.ru — Кафе Ex Libris). На котором автор этих строк побывал и — спасибо ведущим Ксении Щербине и Станиславу Львовскому — смог даже выступить. Что было непросто, учитывая, что «круглый стол» был далеко не кругл и представлял скопление столиков между двумя полюсами, образуемыми, соответственно, пикирующими Кузьминым и Емелиным³¹.

Причем тяжба снова возникла вокруг того, кто есть «народ».

Кузьмин достаточно ярко и агрессивно пытался доказать (ссылаясь в том числе и на статью М.Майофис), что траектория развития социальной поэзии совпадает с траекторией развития «новейшей поэзии» (ставим мысленный гиперлинк на сайт Вавилон.ru), а не то, что выдает за социальную поэзию Емелин. Емелин, поедая спагетти, на том же уровне громкости возражал, что как раз его поэзия понятна народу, выражает чаяния последнего и досаждают власть имущим. На что Кузьмин парировал, что толпа и масса еще не есть «народ», а «народом» его делают как раз наиболее мыслящие его представители. «Ну, конечно, вы — соль земли», иронизировал Емелин...

Мне же эта ситуация сразу напомнила — что я и отметил в своей реплике — известный инцидент, произошедший ровно сто лет назад, в 1909 году на очередном «вторнике» в Литературно-художественном кружке³². Именно тогда со стороны наиболее известных поэтов-символистов — Вяч. Иванова и Белого — прозвучала мысль о необходимости «возвращения к народу». Это было воспринято некоторыми из присутствующих как то, что «они, группа писателей-модернистов, являются народниками»³³, и вызвало вначале острую полемику, а затем и резкий выпад Андрея Белого, приведший к скандалу — с трудом улаженному Гершензоном. (Аналогию между Гершензоном и напоминавшим его в тот вечер Львовским я озвучивать не стал...)

Однако «круглым столом» спор не завершился. Через два дня, 28 ноября, с Емелиным беседовал на сайте «Современная русская поэзия» Кирилл Решетников

(Шиш Брянский)³⁴ — тоже близкий к «вавилоновскому» кругу, но, как и Львовский, выступавший в роли «доброго (и любезного, добавлю) следователя».

Подняты были те же, что и на «круглом столе», вопросы, но в предельно обтекаемой форме. «Такое впечатление, — замечает Решетников, — что некоторые очень-умные люди как бы договорились считать, что поэзия — это довольно специфическое занятие, для оценки которого, для участия в котором, нужна некоторая специальная подготовка. И касается это занятие, в общем, некоторого сообщества, так или иначе ограниченного. Вот все-таки, по вашему мнению, это так или все-таки поэт — это тот, чьими словами должен говорить народ?».

Емелин на это продолжает линию «человека-из-народа»: «Вы произнесли ключевую фразу: "Очень умные люди решили..." Я, к сожалению, человек очень простой, фабричный, далеко не умный и поэтому мне трудно с ними полемизировать».

А на замечание Решетникова, что, мол, есть поэты, «которые принадлежат к тому сообществу, к которому вы не принадлежите, многие из них тоже пишут для ограниченных группок и тоже очень равнодушны к политике» («не один Вы политические стихи пишете», говоря менее изысканно), Емелин возражает: это — «люди одного круга, поэтому они могут считать, что пишут политические стихи, но это все то же самое, это обмен умными мыслями между умными людьми, которые вот из круга этого не выходят».

«Страшно далеки они от народа», одним словом.

Что, на мой взгляд, не лучше (и не хуже), чем быть к нему «страшно близким».

Нет, я к текстам Емелина отношусь с симпатией — именно как к разновидности «газетной», медийной поэзии. И при большей свободе прессы Емелин был бы наверняка востребован в одной из крупных оппозиционных газет как поэт-колонист. В чем не вижу ничего принижающего: был же Умберто Эко философом-колонистом. А если говорить о российской традиции медийной поэзии, то можно вспомнить и Евтушенко, и Рождественского, и некоторые «газетные» стихи Маяковского — а если глубже, то и известных поэтов-фельетонистов начала прошлого века, вроде М.Бескина («Меба») — кстати, того самого, кто буквально через два дня после инцидента с Андреем Белым описывал его в газетном фельетоне: «И народник новый, Белый // Доказал в один момент, // Что боксер он очень смелый, // А совсем не декадент»³⁵...

Что касается Кузьмина, Львовского, Решетникова и других поэтов этого круга, которые «тоже очень равнодушны к политике», то и здесь ситуация достаточно понятна. Поэты, претендующие на авангардность — и история прошлого века дает тому немало примеров, — всегда «равнодушны к политике», которая рассматривается ими и как область приложения собственных эстетических программ, и (что еще чаще) как средство привлечения широкого внимания к своим текстам. Что иногда даже оказывается эстетически продуктивным, поскольку, обращаясь «к массам», эти поэты вынуждены определенным образом «перестраивать» свою герметичную поэтику — и, если поэт действительно талантлив, это может дать в итоге очень интересные тексты.

Единственное, что остается неясным — это собственно *народ* и то, как и насколько он оказывается объектом новой гражданской лирики, от имени которого говорит поэт и к которому он обращается. По крайней мере, обе недавние полемики — и Топорова с Гандельсманом, и Кузьмина с Емелиным — высветили эту потребность в отсылке к «народу» в разговоре о гражданской лирике, а с другой стороны — невозможность эту инстанцию как-то внятно определить. Что неудивительно, поскольку понятие «народ» сегодня в России остается содержательно непонятным. Не потому что нет его «демографического» носителя, он-то как раз присутствует. А потому что переход от имперской нации к нации гражданской происходит тяжело и травматично: прежнее ушло, новое еще не пришло. В любом случае, сама постановка вопроса о «народе», скорее, радует — если поэты не дадут увлечь себя, как это также бывало в истории, «мифу о народе». Если же начнется переход от приватного, частного Я, мучимого фобиями терактов и войн (а именно эти фобии пока, как я попытался показать, и подпитывают новую гражданскую лирику), — к некому социально-осмысленному «Я и Ты»... Впрочем, это уже тема для социолога, если не сказать — футуролога; меня же интересует, насколько все это отразится в стихах. И отразится ли это вообще — учитывая особую, причудливую оптику поэтического отражения...

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Майофис М. «Не ослабевайте упражняться в мягкосердии»: Заметки о политической субъективности в современной русской поэзии // НЛО, № 62. С. 323—339.

² Там же. С. 323.

³ Там же.

⁴ Из интервью Иосифа Бродского В.Полухиной. rg.ru/2009/10/02/brodskij.html

⁵ Французский философ Люк Ферри датирует начало этой «приватизации» известными событиями 1968 года: «С мая 1968-го мы живем (возможно, впервые в нашей истории) в условиях неслыханных сдвигов во всем, что составляет смысл жизни в частной сфере. На протяжении тысячелетий священное было воплощено в сфере публичной — и вот оно приватизируется!.. Чтобы отдать себе в этом отчет, достаточно на секунду вызвать в памяти пресловутое выражение: «Политика — всюду». Еще в 1968-м оно было волнующе очевидным. А сегодня? Сегодня эта формула не имеет больше ничего общего с нашим мироощущением...» (Ферри Л. Философ и политическое // Неприкосновенный запас, 2002, № 2 (22). magazines.russ.ru/nz/2002/22/fer-pr.html).

⁶ Помню, как сразу после взрывов в Ташкенте 16 февраля 1999 года (меня тогда осыпало осколками от разбитого взрывной волной стекла; к счастью, спасли жалюзи) мы разговаривали с моим другом, поэтом Вадимом Муратхановым. Выяснилось, что у нас почти одновременно возникло желание написать об этом... которое так ни во что и «вылилось». Зато уже на следующий день в центральной газете были напечатаны соответствующие стихи Р. Фархади и А. Файнберга. И хотя к обоим поэтам я отношусь с уважением, невольно тогда вспомнилось: «Граф Хвостов, // Поэт, любимый небесами, // Уж пел бессмертными стихами // Несчастье невских берегов...».

⁷ Эпштейн М. Ужас как высшая ступень цивилизации // Новая газета, № 80 от 1 ноября 2001 г. (www.novayagazeta.ru/data/2001/80/00.html)

⁸ Кабыш И. Бог — писатель, я только чтец... // Дружба народов, 2005, № 9. (magazines.russ.ru/druzhba/2005/9/ka1.html)

⁹ Приводится полностью и подробно комментируется в статье М.Майофис (Майофис М. «Не ослабевайте упражняться в мягкосердии»... С. 330—332).

¹⁰ Датешидзе Д. Стихи // Звезда, 2004, № 10 (magazines.russ.ru/zvezda/2004/10/dd5.html).

¹¹ Пурин А. Неразгаданный рай. СПб: Urbi, 2004 (www.newkamera.de/purin_04.html)

¹² Кушнер А. Лишь бы все оставалось // Арион, 2004, № 4. С. 27.

¹³ Мандельштам Н. Вторая книга. М.: Согласие, 1999. С. 24.

¹⁴ Пригов Д.А. Написанное с 1975 по 1989 // Сайт «Вавилон: Современная русская литература». www.vavilon.ru/texts/prigov4-4.html

¹⁵ Цит. по: www.inostranets.ru/cgi-bin/materials.cgi?id=4681&chapter=20

¹⁶ Беляков С. Три портрета на фоне войны // Новый мир, 2008, № 9. С. 171.

¹⁷ Пуханов В. В Ленинграде, на рассвете... // НЛО, 2009, № 96 (magazines.russ.ru/nlo/2009/96/pu26.html)

¹⁸ Пуханов не первый, кто таким своеобразным образом осваивает блокадную тему. Например, в таком же духе писал Александр Анашевич в «Блокадных письмах», героиня которых: «Ходила, ходила, хлеба хотела // В небо смотрела, попой вертела, цвела» (Анашевич А. Фрагменты королевства // Сайт «Вавилон: Современная русская литература» www.vavilon.ru/texts/anashevich3-1.html).

¹⁹ Кукулин И. Строфическая драматургия: катарсис откладывается // НЛО, 2009, № 96 (magazines.russ.ru/nlo/2009/96/ku27.html)

²⁰ Цветков А. Стихотворения // Новый берег, 2009. № 24. (magazines.russ.ru/bereg/2009/24/cv8.html)

²¹ Гуголев Ю. Командировочные предписания. М.: Новое издательство, 2006. С. 58—59.

²² Львовский С. «Видят горы и леса»: История про одно стихотворение Виталия Пуханова // НЛО, 2009, № 96 (magazines.russ.ru/nlo/2009/96/lv26.html). При этом я полностью разделяю беспокойство Львовского по поводу последних «инициатив сверху» по введению уголовной ответственности за искажение истории (это действительно опасно).

²³ Янышев С. Стихотворения разных лет // Дети Ра, 2009, № 12 (62) (magazines.russ.ru/ra/2009/12/ia3.html)

²⁴ На память приходит «Ров» Андрея Вознесенского, фрагмент с «разговором мертвых» — расстрелянных жителей, и образом черепа-телефона: «Я почувствовал/ некую тайную связь —/ будто я в разговор подключен — // что тянулась от нас // к аппаратам без глаз, // как беспроводный телефон. // — ...Марья Львовна, алло! //— Мама, нас занесло... // — Снова бури, помехи космич... // — Отлегло, Александр? — Плохо, Федор Кузьмич...»

²⁵ Ермакова И. Стихи // Арион, 2006, № 3. (magazines.russ.ru/arion/2006/3/er12.html)

²⁶ «Закрытость» эта, естественно, относительная. Можно вспомнить, что тема войны уже возникала у Янышева в стихотворении «Смерть солдата» (Дружба народов, 2004, № 4), а у Ермаковой — причем именно чеченской войны — в стихотворении «Дурочка-жизнь» (Арион, 2004, № 4).

²⁷ Гандельсман В. Худо без добра // Грани.Ру, 15 июля 2009 г. grani.ru/Culture/essay/m.153930.html

²⁸ Топоров В. Лауреат «Русской премии» // Частный корреспондент, 28 июля 2009 г. www.chaskor.ru/p.php?id=8637

²⁹ Гандельсман В. Патриптих // Интерпоэзия, 2009, № 1. (magazines.russ.ru/interpoezia/2009/1/ga3.html)

³⁰ Гандельсман В. Обратная лодка: Стихотворения. СПб: «Петербург — XXI век», 2005. С. 213.

³¹ Кроме выступлений Кузьмина и Емелина, были интересные выступления С.Жадана, А.Хадановича, Е.Вежлян, И.Кукулина и Л.Костюкова.

³² См. его подробную реконструкцию в: Богомолов Н.А. История одного литературного скандала // Богомолов Н.А. Русская литература начала XX века и оккультизм. М.: НЛО, 1999. С. 239—254.

³³ Там же, с. 248.

³⁴ modernpoetry.rema.su/story/kirill_reshetnikov_beseduet_so_vsevolodom_emelinym.html

³⁵ Цит. по: Богомолов Н.А. История одного литературного скандала... С. 253.

Валентин Курбатов

Солдаты Судного дня

И не пойму — странно это или естественно: народ стремительно стареет, а жизнь беспечно и как-то безответственно молодеет и ведет себя так, словно никакой истории в ней не было и нет. И не было долгой правды, живого опыта любви и памяти, который держал страну, культуру и человека. Словно нынешняя правда в капусте нашлась, и вот она весело, не обременяясь наследованной памятью, летит вперед во всех областях жизни, сверяясь с президентским возрастом, как с эталоном мысли и правды. А на моих, нечаянно сошедшихся на рабочем столе нынешних героев — двух посмертных лауреатов Солженицынской премии Виктора Петровича Астафьева и Константина Дмитриевича Воробьева — можно и вовсе не оглядываться.

А только, слава богу, слово живет своим временем, в котором наши земные возрасты ничего не определяют, и там, только открой страницу, и остановишься. И уже никуда лететь не надо.

У Виктора Петровича вышел в Иркутске у издателя Сапронова (это была последняя работа несомненно уже навсегда вошедшего в издательскую историю России покойного Геннадия Константиновича Сапронова) том писем «Нет мне ответа». А в Курске — пятитомное собрание сочинений Константина Воробьева, где каждый том «прошит» письмами, как лучшим комментарием. Я обрадовался «ходу» курских издателей как своему. Всегда мне было обидно, что письма в собраниях сочинений ссылаются в отдельные тома и живут там суверенной жизнью, тогда как они рождались вместе с художественными сочинениями, дышали их судьбой и много чего объясняли в причинах их появления, в самом порядке жизни писателя в час написания. Замечательно у курян и то, что они печатают тут же и статьи о Воробьеве, выходившие в час его работы, и по ним, по тону их тоже видно — ожесточена или возвышена и укреплена была душа писателя, когда он садился за стол.

Чтобы написать даже порознь об этих изданиях двух теперь уже очевидно великих писателей, потребны десятки страниц и месяцы уединения, а хотелось как-то именно о них вместе. И я решил посмотреть только пору их знакомства и десять лет дружества — их письма с 1964 года до болезни и смерти Воробьева в начале 1975-го.

Писем Виктора Петровича к Воробьеву в иркутском сборнике не оказалось. Все думаю — почему? Сапронов объявил о возможном томе писем всем, кто знал Астафьева и кого знал он, задолго до издания. Объявил устно и письменно и просил окликнуть друг друга всех, кто мог быть нечаянно забыт. И письма пошли отовсюду — отдельные и пачками. Виктор Петрович был щедр на переписку и еще в начальные годы писательства заметил одному из корреспондентов, что отвечает на все письма, чтобы у читателей не ронялось уважение к словесию русских писателей, в которое он ответственно вступал. Может быть, Воробьев просто не хранил астафьевские письма: прочитал, ответил и забыл? Это Марья Семеновна с ее систематическим умом давнего библиотекаря ничего не упускала и сберегла великий архив Виктора Петровича. Сам он легко пустил бы его по ветру¹.

Так или иначе, у нас есть только сохраненные Марьей Семеновной воробьевские письма. Но, как в беседе, когда мы слышим одну сторону, нам легко догадаться о том, что говорит неслышимый нам собеседник, так и тут легко представить, о чем писал в своем первом письме (очевидно, в конце 1963 года) Виктор Петрович. Как благодарно, как только он и умел, восхищался повестями Константина Дмитриевича «Крик» и «Убиты под Москвой». И, может, от некоторого чувства неловкости и тянул до Нового года, когда благодарные слова как-то естественнее. Он, как и Воробьев, знал, как дороги, как необходимы писателю слова одобрения в особенности от своих товарищей, а не от нашего брата-критика, для которого это только профессия.

Я жалею только, что не могу сейчас прочитать, как в этом новогоднем благодарном письме Виктор Петрович все-таки не смог удержаться от укора повести «Капля

¹ В конце 90-х письма были переданы вдовой К.Воробьева в РГАЛИ. — *Прим.ред.*

крови», написанной каким-то другим Воробьевым. На что Константин Дмитриевич улыбнулся — «судя по тому, что она Вам не понравилась, я не сожалею о том, что не являюсь ее автором». Но каков Виктор Петрович! В первом письме заступиться за чистоту литературы, отказав уже дорогому человеку в праве на ошибку! Он с первых писательских работ был требователен к себе и другим, а уж в эту пору вполне сознавал себя писателем и высоту этого звания держал достойно.

Еще в 1959 году он почти устало отчитывался своему другу П.В.Чацкому: «Я пишу девятый год. Мне тридцать пять лет», — и подчеркивал свой главный принцип: «уметь работать и не говорить красиво, не удивлять блестящими верхушками, нахвattanными отовсюду». Он уже автор «Перевала» и «Стародуба». Он уже корит себя за поверхностный роман «Тают снега». А к поре первого письма Воробьеву за ним уже «Звездопад», первые главы «Последнего поклона» и замысел «Пастуха и пастушки». И он в этом письме-объятии Воробьеву не только радуется чуду близкого духом дара, а уже немного «отвечает» за литературу, к которой принадлежит, и окликает товарища, чтобы быть вместе, чтобы не дать победить еще вовсю торжествующей мертвечине литературных начальников Бабаевского и Кочетова, Бровмана и Леонида Соболева.

Будто чувствует стену, которую им надо повалить, чтобы сказать свое, глядеть шире, не задыхаться в чужой тесноте. Будто стоящие за ними война и смерть открыли им другое зрение, а мир все глядит «старыми глазами» и не видит всей жизни, и норовит и их, зрячих, ослепить и сузить. Так Юрий Казаков тогда писал Виктору Конечному, что надо «нравственно обняться» для силы сопротивления. И Воробьев радуется привету и сходится с Астафьевым скоро и радостно. И через два письма они на «ты», и вон он 15 марта 1964 года уж будто утешает Виктора Петровича, что они не одиноки: «Господи, как хорошо, что на земле моей сохранились еще люди, как ты, как Твардовский, Пастернак, Юрка Нагибин, Виктор Некрасов...» И какой гордостью и силой дышит письмо, когда оно касается не частностей, не мучительного быта, не издательского бедованья, когда всякое слово на подозрении, когда «сволочи выбивают перо из рук», когда уже «места нет живого», а когда дело идет о самом главном, что держит его на земле и в литературе: «Нет, живы мы — столбовые русские смерды и дворяне и никому никогда не отдадим свой летучий — для нас неминуемый — гений, всеохватную душу свою, умеющую любить, терпеть, прощать и помнить».

Как надо чувствовать себя частью народного целого, чтобы сказать это! И как верно о русском гении: «летучий и неминуемый»! И как удивительно верно сформулирован, как на Вселенском Соборе, этот «символ веры», принцип существования в литературе, условие их победы: «любить, терпеть, прощать и помнить». Это трудно сопрягать в сердце — «любить и терпеть» — и тем более — «прощать и помнить», такие слова не предполагают соседства. Но именно они и определили их путь и позволили им «прорваться».

Ну еще и то, что в том же коротком, но таком плотном письме от 15 марта было обозначено Воробьевым, как вера, что «друг без друга, без локтя и слова — нельзя». И скоро Виктор Петрович для Воробьева «дружище», «Витек», «брат мой», «песенная душа». И они уже наперегонки читают друг друга и не дают спуска. Вскоре в том же 1964 году Воробьев напишет: «Ты хороший писатель. У тебя несметная куча дара Божьего и сердце у тебя большое, зрячее и доброе», — но и тут же: «Только ты иногда бываешь многословен, будто не доверяешь читателю. Скупее давай, скупее...»

И, старые солдаты, как они берегут друг друга! Знает Воробьев, что товарищу тоже несладко, и не давит его еще и своими бедами: «Принимался несколько раз..., но выходило мрачно, тоскливо», — и он рвал письма: «Я не люблю нытиков и неудачников». Как видно, это же иногда делал и Астафьев, потому что нет-нет Воробьев просил: «Пиши, не молчи годами», — хотя «года» исчислялись несколькими месяцами. Но, как ни удерживай себя, а письма понемногу темнеют.

Воробьев устает в Литве, рвется в Псков, в Вологду, Воронеж. Просит о помощи в переезде. Виктор Петрович кидается по начальству. Ничего не выходит. Печатают Воробьева все реже. Виктор Петрович и сам пока не на лучшем счету у издателей, хотя и поудачливее своего товарища. Но его рекомендации разбиваются об издательское равнодушие. Там редко глядят дальше рукописи и не торопятся смотреть на условия, в которых эти рукописи рождаются. Рукописей во все времена хватает — не хватает сердца.

Десятилетие их дружества в 1974 году будет печально. Воробьев в больнице «с воспалением мозга и частичным параличом конечностей». Ему нужны деньги на лечение. Он надеется издаться в «Современнике» и 9 сентября 1974 года просит Виктора Петровича о рекомендации и с уже не удерживаемой горечью пишет: «На мне лежит какое-то проклятие, а за что — никто не знает... Все изгадил, всех напугал

Бровман». Виктор Петрович тотчас напишет эту рекомендацию в «Современник», и через две недели Воробьев поблагодарит его за нее, но ему и тут откажут. Он еще не оставит надежды: «Переживем и это. Было ведь хуже и подлей. И опасней». Но тогда и сил у обоих было больше.

Не пережил Константин Дмитриевич. Он написал это последнее письмо («Переживем, было хуже...») 19 сентября 1974 года, а 2 марта 1975-го после тяжелых страданий умер, как погиб, с солдатским терпением...

Теперь я смотрю в именном указателе переписки Виктора Петровича, сколько раз он окликает Воробьева — около двадцати. Последний — в 1995-м, когда Константин Дмитриевич уже двадцать лет не было в живых. И как везде высок и честен контекст, как перекличка в строю тех, с кем ты — Человек. Будто как некогда Воробьев крепился рядом дорогих современников («Твардовский, Пастернак, Юрка Нагибин...»), так и Виктор Петрович с самого начала дружбы ухватывался уже за него самого и строил свой ряд тех, кто «пересаливают хлеб черствый, едят хрен с квасом, но не пишут на потребу, как Вася Белов, и Юра Казаков, и Костя Воробьев, и тот же Солженицын, и Максимов...» Он писал это А.М.Борщаговскому в 1966 году. А через два месяца в письме А.Н.Макарову мучается неловкостью, что о нем уже достаточно пишут, тогда как «есть ребята, которые куда лучше меня работают, а находятся втуне». И неловко рекомендует: «Вот о них (например, о Косте Воробьеве) и написать бы...» А еще через полгода, в начале 1967-го, в письме Макарову же, опять эхом откликнется одно из писем Константина Дмитриевича: «Есть одно опасение, которое высказал в письме ко мне трагически живущий Костя Воробьев — как бы усталость и раздражение не переросли в озлобление. Русской литературой всегда двигала любовь... Не дай бог нашей литературе утратить ее главное достоинство». Внимательный читатель Астафьева спустя тридцать лет услышит в прозе Виктора Петровича это «озлобление», когда урок Воробьева будет забыт и сердце Астафьева не вытерпит общего ожесточения против его последнего романа о войне. Но это потом. А тут нам дорого, что «трагически живущий» Воробьев и сам не ожесточается, и друга, который в это время пишет «Кражу», предупреждает — так еще единая литература, и так высока ответственность перед ней.

Их еще было мало — так понимающих слово. Еще не они определяли интонацию времени — тем крепче и решительнее надо было стоять в правде. В 1970 году Виктор Петрович рекомендует Воробьева своим землякам в ряду Абрамова, Можая, Лихоносова, Белова, и в этой заботе о понимании земляками правды и слова тоже было чутье литературы как целого, где читатель требовал той же заботы и ответственности, потому что они только вместе — литература. Они были «первое поколение» литературы, открывавшее правду после войны, как после всемирного потопа, и потому ставили литературу так поднебесно высоко.

Я твержу об этом с настойчивостью изголодавшегося сердца, потому что сегодня-то как раз до читателя дела нет — он проходит по разряду потребителя, и о нем думают не писатели, а издательские менеджеры, высокие специалисты по «милорду глупому».

А что Воробьев действительно живет «далеко» и справедливо чувствует себя чужестранцем, я вдруг вижу по письму Виктора Петровича к своему красноярскому товарищу Н.Волокитину. Виктор Петрович просит его позаботиться о своем сердце и советует ему Кисловодск, потому что ему самому когда-то рекомендовал его Воробьев. Письмо помечено мартом 1975 года, а ведь 2 марта Воробьев умер. И, значит, можно было смело ставить не просто «март», а первое марта, что Виктор Петрович непременно бы сделал, если бы это было именно первое — такова уж магия начальных чисел. А вот нет. И, значит, это только то, что Константин Дмитриевич ушел в своем страдании «незаметно» и весть из Вильнюса добралась не сразу. В письме Виктора Петровича он еще хоть и страдает, но, судя по строю письма, жив: «Костя Воробьев, которому недавно раздолбили голову в больнице (все остальное раздолблено в войну), говорил мне, что Кисловодск творит чудеса, а ему можно верить» — видите: не «можно было», а «можно». Об операции Воробьев писал в сентябре 1974-го. И Виктор Петрович об эту пору, возможно, думает, что все еще обойдется, потому что школу своего друга знал («два раза сидел в смертных камерах — в немецкой и в нашей»). Да и сам Воробьев, не любя нытиков, писал ведь: «переживем и это».

Когда же весть все-таки придет, Виктор Петрович, и прежде как будто стеснявшийся своего относительного успеха, будет корить себя своим «благополучием» больше прежнего и спрашивать с себя еще жестче: «... как подумаю о судьбе Кости Воробьева, так и неловкость чувствую перед ним, даже перед мертвым». Это уж так. У

нас только смертью оплаченная правда — правда. Это русский художник всегда знал и, чуть видел, что у него все идет как следует, чувствовал неладное.

Судьба Воробьева будет мучить Виктора Петровича остро и долго. Я не знаю, откуда он взял (в письмах Константина Дмитриевича я этого не нашел), но Виктор Петрович не раз с горькой тоской и мукой пересказывал, может быть, и не сохраненное Марьей Семеновной из-за его боли письмо про то, как Воробьев идет по улицам Вильнюса, стараясь держаться поближе к стене, чтобы, когда сердце откажет, хотя бы не упасть, а сползти. И вот, стыдно сказать, думает больше о том, чтобы сделать это поаккуратнее, потому что у него нет носков, и вот он упадет, и это станет видно. Он до последней минуты и в нищете все офицер, кремлевский курсант, и в нем болит униженное отечество и русская честь.

Вот тут, кажется, Виктор Петрович впервые и испытал чувство ожесточения, от которого остерегал его Константин Дмитриевич. Свою боль он мог перенести любую, а чужая, тем более близких духом людей, приводила его в неистовство. В этот час, будь Воробьев рядом, он отдал бы все, заслонил собой.

И вот сейчас я думаю, что, когда он писал «Проклятых и убитых», вызвавших такой гнев у постаревших солдат и нестареющих генералов, он вспоминал и об этом и не мог простить, что солдаты могут умирать в таком унижении. Выжившие просто забыли по милосердию лет, как все было, и все в прошлом простили. И он бы простил, да думал не о себе и не себя видел, а мученическую боль других, потому что с детского дома был ранен любой болью, как своей, ранен навсегда. Отчего и стал великим писателем, как все они, кто чужое горе видел раньше своего — Носов, Воробьев, Быков, Кондратьев, кто всегда слышал друг друга и шел отрядом.

Потом упоминания Воробьева в астафьевских письмах поредеют, но не уйдут совсем. Он будет говорить о своем товарище при всякой писательской и читательской встрече. В 1981 году опять будет тщетно просить у Московской писательской организации квартиры уже для жены Константина Дмитриевича Веры Викторовны, радуясь хоть такой возможности напомнить о своем товарище, вырвать его у жадного забвения, которое тогда уже нависло над Воробьевым. Забвение было формой уничтожения «трудного» писателя, и технология его была отработана. Виктор Петрович не сдавался и радовался, когда эту память подхватывали и держали другие, как не раз делал Игорь Петрович Золотусский, и Виктор Петрович благодарил его за память «горькую и чистую» и не стыдился признания, что не умел удерживать слез при телевизионной передаче о Воробьеве. Хотя обычно слезы держал — детдомовец же: там только расслабься. И в этом отношении они с Константином Дмитриевичем, у которого была та же школа, были братья. Да и Игорь Петрович из той же породы, из старой русской беды, когда история сиротит детей, но не лишает их памяти, чтобы потом они могли сказать Родине не таящиеся слова гнева и печали и, может быть, остеречь ее. Хотя сегодня видно, что она не торопится остерегаться, готовя новое поколение сирот, которые отомстят ей уже своим гневом и печалью, тем более тяжким, что нынешние сироты уже не усваивают милосердных уроков русской литературы.

И через двадцать лет после кончины Воробьева Астафьев все будет держать его в синодиках лучших незаслоняемых имен и будет просить старого своего товарища Александра Михайлова, умевшего найти лучшие слова для воевавшего поколения: «Когда будешь впредь толковать о «правде войны», не забывай, пожалуйста, Костю Воробьева, он ведь раньше всех нас на боевой рубеж вышел и пал на нем, всеми брошенный и одинокий». Потому что боевой рубеж все оставался боевым. Они «прорвались» и успели сказать много, но история не любит правды, предпочитая носить одежды «правлящей партии».

Виктор Петрович знал, что ему придется туго с его пока так еще и не осознанным нами романом «Прокляты и убиты», и воробьевская прямота давала ему силы, держала и крепила его. Им вдвоем было надежней. И он все возвращал, возвращал Воробьева в живую борьбу, чтобы быть вместе. В его переписке скоро появятся жесткие письма, которые вызовут гнев старых, уверенных в своем давно обжитом казенном мировоззрении людей. И Астафьев всегда поднимается в ответную атаку не один, как в письме лета 1995 года некоему типичному Куликовскому, который ищет привычной по прежней военной литературе «фронтowej доблести» и «тылового терпения». Всегда и прежде прямой Виктор Петрович встречает такие атаки с солдатской резкостью и уже не ищет осмотнительных слов: «Список Ваших любимых писателей потрясая, эти покойнички... ничего уже, кроме вздоха сожаления, часто и насмешки не вызывают. В Вашем списке нет мной уважаемых писателей, есть беспомощные приспособленцы, елеем мазавшие губы советскому читателю. Константин Воробьев, покойный мой друг, Александр Твардовский, Виктор Некрасов, Василий

Гроссман, Василь Быков, Иван Акулов, Виктор Курочкин, Эммануил Казакевич, Светлана Алексиевич — вот далеко не полный перечень тех, кто пытался и еще пытается сказать правду о войне и кого за это согнали в ранние могилы (Светлана Алексиевич, слава богу, живет и здравствует и сегодня. — *Прим. ред.*), такие вот, как Вы, моралисты, присвоившие себе право поучать всех и объяснять «неразумным» правду да выгонять их за границу, как Солженицына, иль того же прекрасного писателя — Георгия Владимова». Я выписал этот абзац так обстоятельно не только из-за того, что Воробьев стоит здесь на первом месте, но чтобы еще раз созвать на перекличку этот прекрасный строй ссылаемых сегодня в забвение писателей.

И опять не знаю, странно или естественно, но это — последнее упоминание Константина Дмитриевича в толстом томе переписки Виктора Петровича. Впереди у Виктора Петровича были еще самые сложные годы, когда, кажется, все — свои и чужие — взнимутся против него, и мне еще выпадет горькое счастье отстаивать его «Камертон», его «Веселого солдата», когда я впервые пойму, зачем редакторам нужны никем не читаемые предисловия. Им надо даже не защититься, не разделить ответственность. Им легче не будет, вся тяжесть государственных укоров все равно ляжет на них, но им будет отрадно знать, что они не одиноки, что где-то так же остро переживает их боль другой человек, что они тоже вместе, как когда-то были Воробьев и Астафьев. Счастье незаметного труда редакторов и критиков в том самом и есть, что однажды они, благодаря писателям, тоже могут почувствовать себя на минуту отважными и отчасти тоже авторами строящейся на дворе истории. А что она строится нами всеми, видно, я думаю, даже на этом коротком сюжете переписки двух теперь уже очевидно великих солдат и писателей, которые рано или поздно соберут и спасут эгоистический мир.

И теперь я с очевидностью вижу то, о чем прежде догадывался и в одной из работ об Астафьеве писал, — что с войны не только нельзя вернуться героем, как не раз говорил Астафьев, но с нее вообще нельзя вернуться. Они долго жили как будто общей с нами жизнью, и ты мог обмануться близостью забот и общностью миропонимания, но в последнее мгновение ты всегда наткнулся на малое непостижимое зерно, на тонкую непреходимую границу. А это у них слова значили больше нашего, даже и те же самые слова, потому что они не раз ставили слово перед лицом смерти и видели его как впервые. И узнавали друг друга, как по взгляду по первым же словам, по их поставу. Как, вероятно, узнавали друг друга те, кто проходил сталинские и последующие политические лагеря. Я с улыбкой вспоминаю, как Алла Александровна Андреева (вдова Даниила Андреева), смеясь, говорила Леониду Ивановичу Бородину, когда мы пытались развязать какие-то политические тонкости 1993 года: «Что они, не сидевшие, понимают?»

Вот и тут было то же. Мы смели судить их с точки зрения впрыснутой нам отравленной истории, в которой все было благополучно расставлено по местам. А они жили и умирали не в прибранном «тексте», а в страшной плоти жизни, которая, кажется, с начала XX века не годилась для «истории», ибо попирала все законы, все традиции и принципы, которыми Бог обуздывал историю, попирала для окончательного человеческого своеволия. Почему сейчас нам так трудно дается история минувшего века, и мы переписываем ее каждый день и чувствуем, как все «хлябает» и не хочет становиться порядком и системой.

А это мстят за себя захватанные, потерявшие смысл слова, отчего мы уже который раз за век беспокоимся за состояние русского языка и ищем разгадки в его реформах, тогда как надо только благодарно и бережно вчитаться в горькие и мужественные книги и письма своих неудобных писателей и не страшиться сказать себе: «Сбились мы. Что делать нам?» И терпеливо и достойно шаг за шагом выбираться на Господню дорогу прямой правды, которой до последнего своего дня шли ее настоящие солдаты, знавшие, что война против человека в человеке не прекращается никогда.

Они «убиты под Москвой», они «прокляты и убиты», а мы предаем и предаем их поощрительной похвалой или самоуверенным укором в непонимании ими исторической необходимости. Но правда, как и Бог, долго оскорбляема не бывает. Для того и выходят малыми тиражами в Курске и Иркутске беспокойные книги старых писателей. Для того и доходят до нас их тревожные письма, чтобы память о жизни не оставила нас окончательно. И мы хоть время от времени вспоминали, чьи мы дети и чем оплачена наша всеобщая сегодняшняя беспамятная «молодость».

Владимир Губайловский

Грустный праздник

Разговор о замечательном русском поэте Александре Тимофеевском мне хочется начать с самого его популярного текста — песенки крокодила Гены. В пространстве русского языка, вероятно, нет ни одного человека, который бы этой песенки не знал. И как я сегодня понимаю, дело не только в популярности мультфильма, а в чем-то куда более серьезном — в той, наверное, единственной в русской поэзии интонации, которая проявилась в словах этой незамысловатой песенки.

Самый, вероятно, популярный марш, написанный в России в XX веке, — «Прощание славянки». Обычно маршевая музыка пишется в мажоре, что кажется совершенно естественным, а вот «Прощание славянки» звучит в миноре. Это неожиданное смешение жанра и лада оказалось действенным и впечатляющим. Это маршевое прощание сместило фокус восприятия, и возник объемный и многозначный образ: на войну уходят не побеждать, а умирать. И этот марш, сопровождавший множество событий, случившихся за последнее столетие и в жизни каждого отдельного человека, и в жизни целого огромного народа, впитал в себя и мощь, и печаль.

Песенка крокодила Гены — это тоже минор, который звучит и в словах, и в музыке — минор грустного праздника, и мне слышится эта интонация и в других стихах Александра Тимофеевского. И эту песенку уже не одно поколение помнит с самого детства, и она тоже стала знаком общности, признаком родства многих, многих людей.

В 2009 году в издательстве «Время» вышла книга поэм Тимофеевского «Краш-тест». Эта небольшая книга избранного кажется пунктирной линией, прочертившей долгий — почти в полстолетия — путь поэта. Это — отчет о работе, отчет в первую очередь перед самим собой, попытка схватить единым взглядом и выразить кратким высказыванием собственную судьбу, взглядевшись в судьбу своих стихов. Такое высказывание должно быть предельно точным, чтобы между поэтом и его стихом не осталось никакого зазора — это автобиография в строгой форме.

Любой настоящий поэт, как бы он ни менялся, как бы ни разнились его средства выражения и манера письма на разных этапах творчества, пишет всегда одну и ту же книгу — свои «листья травы». В чем-то главном, в самом ядре своего существования — он остается единым, остается верен тому открытию поэзии, которое случается только однажды в юности. Это открытие завораживает душу и уже не отпускает до конца.

С годами меняются предпочтения, хочется многое поправить, а когда поправить невозможно, то не напоминать о своих неудавшихся сочинениях публике и попробовать забыть их самому. Но часто прошлые — казавшиеся несомненными — удачи блекнут, а иногда очевидные вроде бы промахи с годами преображаются, меняя контекст, и кажутся едва ли не прозрениями. И приходит время остановиться и оглянуться.

В «Краш-тесте» восемь поэм и вступление — знаменитое стихотворение о встрече читателя и поэта, которая выглядит почти чудом, о почти полной бессмысленности такой сомнительной деятельности, как писание стихов.

Он ищет читателя, ищет
Сквозь толщу столетий, и вот —
Один сумасшедший — напишет,
Другой сумасшедший прочтет...

Но эта всегда случайная встреча — настоящий праздник, и не только для того сумасшедшего, который напишет, но и для того, кто прочтет: подлинное прочтение, при котором стихи попадают в свою неведомую и невидимую цель, столь же случайно, как и рождение стиха.

Праздник — всегда разрыв в повторяющемся, размеренном, циклическом течении быта. Праздник всегда краток, часто обманчив, но обязательно необычаен. Настоящий праздник приходит, когда случается чудо — чудо Рождества, рождения человека или стиха. И если праздник приходит, в разрыв «дубового быта» падает луч из иного пространства, может быть, из пространства красоты.

Первая в книге «Маленькая поэма без названия» датирована 1964 годом, последняя — «Тридцать седьмой» — окончена в 2005-м. Между этими датами больше сорока лет. Поэт, безусловно, менялся, но стихи для этой книги отобраны так, что акцент в ней сделан не на изменении, а на постоянстве. Это касается и формы, и интонации. Тимофеевский никогда не повышает голос, и его лицо не покидает грустная улыбка. Хотя в его стихах есть и настоящая трагедия, он снимает пафос иронией.

Поэта увлекает за собой свободное завертывание сюжета и звонкое биение ритма, как ветер увлекает пловца, летящего на серфинге по «живой, огромнейшей капле моря».

Все поэмы, вошедшие в книгу, состоят из коротких, сюжетно-замкнутых вполне самостоятельных фрагментов (многие из этих стихов-фрагментов Тимофеевский в других своих книгах печатал отдельно), но это именно поэмы, а не циклы стихов. Разница в данном случае довольно зыбка, но тем не менее она существенна. В каждой поэме есть внешний или внутренний сюжет. В некоторых случаях он вполне очевиден. «Письма в Париж о сущности любви» — это именно письма. В них есть и прямое обращение к адресату и дата. Письма пронумерованы и расположены в хронологическом порядке. Это иронические, а иногда и жутковатые зарисовки, в которых уехавшей в Париж женщине автор писем рассказывает о своей жизни в Москве в 1991—1993 годах. И жизнь вполне узнаваема — и смешна, и горька, и абсурдна. Это наша жизнь в травматическое время перемен.

Поэма «Море» — это признание в любви к женщине, той любви, которая колеблет и уносит, как ласковая волна. В «Маленькой поэме без названия» тема задается первой строкой первого фрагмента — «Хочу хоть раз постигнуть мир». Эта короткая поэма посвящена поиску научной истины и нравственной нормы, ответственности человека перед миром и теодицее — оправданию Бога. В этой поэме Тимофеевский пробегает по той клавиатуре тем, к которым будет возвращаться, и потому эта поэма де-факто получает статус развернутого эпиграфа.

А, например, в поэме «Тридцать седьмой» той осью, вокруг которой выстраиваются отрывки, оказывается русская литература: Пушкин, Гоголь, Блок, Пастернак, Чехов... Этот контекст позволяет поэту так настроить оптику, что удастся увидеть сегодняшний день сквозь «большое время». Это необходимо для тех тревожных исторических обобщений, к которым приходит поэт в последнем фрагменте поэмы («Россия. Ночь под рождество»), где автор возвращается в 1937 год, и события этого трагического времени возникают на Тверской улице современной Москвы и проникают в уши мучительным трамвайным звоном.

Отрывочная, свободная структура книги позволяет свободно сопрягать фрагменты разных поэм — разворачивать и варьировать одну и ту же тему. Например, в «Песнях восточных славян» (1973—1984 годы) есть такие строки:

А я лягу на галечник соленый
На ложе Эвксинского понта.
Далеко меня будет видно —
От Байдарских ворот и до Стамбула.
И как только ты меня завидишь,
Прибежишь ко мне на свиданье,
Чтобы я тебя, любимая, нежил.

В поэме «Море» (2000 год) возникает тот же образ:

Я умру и стану морем.
Ну а ты — повремени.
...
Вот тыходишь постепенно
В мой ликующий прибой,
Чтоб омыл я страстной пеной
Ножку с узкою стопой.
Чтоб волной тебя взмывало
Вверх и вниз и вновь на круть,
Чтоб как прежде, как бывало —
Руки в руки, грудь на грудь.

К поиску и утверждению нравственной нормы, которому посвящена «Маленькая поэма без названия», Тимофеевский вернулся через много лет в поэме «Второе пришествие», состоящей из двух частей: «Цепная реакция» и «Страшный суд».

«Маленькая поэма» заканчивается строчками:

Вот жизнь тебе, бери, люби ее.
Но если нет в тебе Христа,
Ученый скажет — энтропия.
Екклезиаст сказал — тщета.

А «Страшный суд» завершается фрагментом, озаглавленным «Из выступления видного политического деятеля»:

Всем известно, что Иисус Христос
Как реальная личность никогда
Не существовал.
Это миф.

Ответ получен: безо всяких «если», в современном мире торжествует энтропия и правит — тщета.

В книге возникают переклички, отзвуки, внешние связи между частями и фрагментами. Это позволяет прочитать всю книгу, как своего рода сверхпоэму, где каждое небольшое стихотворение оказывается словом, а каждая поэма, составленная из таких слов, — развернутым предложением. Книга выстраивается по законам памяти: человек никогда не вспоминает свою жизнь подряд — день за днем, всегда возникают внезапные переклички событий, которые и сплетаются в цельнотканый гобелен. Этот единый текст поэт назвал «Краш-тест».

Путь Тимофеевского к читателю был долгим и непрямым. Его первая книга — «Зимующим птицам» вышла в 1992 году, почти через тридцать лет после того, как была написана первая поэма, вошедшая в «Краш-тест». Полстолетия назад молодой поэт опубликовал свои стихи в «Синтаксисе» Александра Гинзбурга, и выход его книг в советской печати стал невозможен.

Существовать без читателя человеку пишущему очень трудно, если вообще возможно. Легко сказать, что поэт обращается к провиденциальному собеседнику, но как продолжать писать, не зная отзыва? Как сохранить душевное здоровье и ту уверенность в собственной правоте, о которой говорил Мандельштам?

Тимофеевского спасли детские стихи и песни, написанные для кино и мультфильмов. Дар детского поэта — особый и, может быть, более редкий, чем талант поэта, пишущего для взрослых. В детской поэзии требуется предельная ясность и законченность высказывания. Здесь не на что намекать и невозможно апеллировать к знаниям читателя, поскольку стихи эти, возможно, вообще первые, которые твой маленький читатель прочтет или услышит. Высказывание должно быть отчетливым, но и остроумным, в нем должна быть загадка, но такая, чтобы для ее разгадывания ничего, кроме собственно текста стихотворения, не было нужно.

И дар детского поэта у Тимофеевского, безусловно, есть. А среди стихов, вошедших в «Краш-тест», есть практически «детская считалка»:

Вихря пены, снегопада
Первобытное родство —
Плач гиены, вой шакала
Уй-я, ой-я, у-о-о!

...

Чуть поодаль друг от дружки,
Ухом, вещие, чутки, —
«Буря мглою» — слышит Пушкин,
«Буи джуи» — Рудаки.

Изнывая, мрево злое
Застилает небосклон:
Буря мглою небо кроет,
Буи джуи Мулиен!

Строчка из Рудаки — персидского поэта XIII века — «Буи джуи Мулиен» переводится с фарси как «Плещет, блещет, Мулиен», но самое интересное, что перевод-то не так и важен. Ведь плач гиены и вой шакала никак на человеческий язык не перевести. Это вполне абсурдистские стихи, которые строятся на звукоподражании. И здесь в переключку с природой и друг с другом вступают Европа и Азия, вступают великие поэты, каждый, вслушиваясь в свой родной язык, завывание бури и плеск реки. Но разве поэзия не явление природы? И разве ребенок, который учится говорить, обращается к миру привычными словами? А поэт всю жизнь учится говорить.

Стихи Тимофеевского гедонистичны, откровенны, даже телесны — и это тоже темы праздничного карнавала. Поэт может весело зарифмовать кулинарный рецепт или сообщить в «Письме в Париж» о том, «как под грибки за сутки выпил семь бутылок водки — и рухнул в грязь и потерял очки», или увидеть как «звездочка подросток / В косынке голубой / Идет на перекресток / Чтоб торговать собой». Поэт любит мир, доверяет ему. Но он всегда целомудренно ироничен. Это не тот цинический взгляд на вещи, который как бы дает право на уничтожающие слова. Это возвышающая ирония, которая прощает миру его несовершенство. Это и самоирония — поэт не боится выглядеть глупо или смешно, а такое могут себе позволить только сильные и свободные люди.

Проза отличается от стихов, в частности, тем, что она создает дистанцию между существующим вокруг нас миром и миром, который создает писатель. Этот зазор необходим, но процесс писания прозы требует от писателя как бы остановки и выхода из бытия. Настоящие стихи рождаются естественно, как дыхание. Ничего не надо придумывать, просто в какие-то счастливые мгновения поэт вдруг начинает жить невероятно быстро, время сжимается, и иногда такие мгновения могут вместить целую жизнь. Юрий Левитанский писал: «И ты понимаешь, как мало ты можешь за год или десять, / И ты понимаешь, как много ты можешь за день или два». Стихи не пишут — их роняют, роняют «Как сад янтарь и цедру».

У Тимофеевского между стихами — и чужими, которые он вспоминает, и своими, которые вдруг рождаются, — и между движением ветра или дыханием моря нет никакого разрыва, эти стихи именно обронены, а не написаны.

Краш-тест — это испытание автомобиля на прочность: машину разгоняют, и она на высокой скорости врывается в бетонную стену. А потом инженеры смотрят, что от нее осталось. Это испытание на прочность необходимо, чтобы защитить водителя и пассажиров при реальной аварии, но автомобиль во время краш-теста практически всегда разбивается вдребезги. Символ вполне ясен: поэт всегда ставит эксперимент на себе — у него нет другого полигона. Это эксперимент длиной ровно в одну жизнь, когда короткую, когда длинную, и это действительно испытание на предельных скоростях. Если ты к краш-тесту не готов, лучше не заниматься таким опасным делом: «Поэзия жутка, как Азия, / Вся как ночное преступление».

Но, может быть, этот «краш-тест» потом кого-то выручит, может быть, стихотворение поможет кому-то спастись от одиночества, понять собственное чувство и разделить его с другим или с другой.

Эта книга вышла к 75-летию Александра Тимофеевского. К тому самому грустному празднику, о котором пел крокодил Гена, и грусть, пронизывающая эту книгу, — светла и прозрачна.

Краш-тест продолжается.

Левон Мкртчян

Веселый Самойлов

Из воспоминаний



Молодой Мкртчян.

Рис. Д. Самойлов

23 февраля 1989 года ушел из жизни Давид Самойлов, замечательный поэт, переводчик, мемуарист. Двадцать лет назад... Он, кстати, был постоянным автором «Дружбы народов», мы почитали за честь публиковать на страницах журнала его стихи и переводы. Наверняка к этой дате появятся серьезные материалы о нем, о его творчестве. А мы вот решили вспомнить «веселого Самойлова» — таким, каким его вспомнил еще один большой друг нашего журнала, известный армянский литературовед, основатель и первый ректор Российско-Армянского (Славянского) государственного университета Левон Мкртчян (1933—2001).

С Давидом Самойловым познакомился я в начале октября 1986 года в московском банке, где мы обменивали рубли на левы. Предстояла поездка в Болгарию. Познакомила нас Ника Глен. Она сказала обо мне какие-то хорошие слова, чтобы расположить ко мне Самойлова. Но, как вскоре я понял, он и без того был расположен к людям, был человеком контактным, добрым, хотя сам он мог о себе сказать:

Ты, Давид,
Ядовит.

Характер у Самойлова (таким я его запомнил) был легкий, веселый. Чувство юмора (иногда оно переходило в незлую иронию) никогда не покидало его. С Самойловым, поэтом знаменитым (а знаменитые часто держатся важно), легко было общаться. Когда рубли были обменены на левы, Самойлов сказал:

Ты — Левон,
А у меня левы.

И затем все время, во все дни нашей непродолжительной поездки по Болгарии, он шутил, каламбурил, ронял на ходу веселые экспромты:

Когда упал на пол Левон,
Тогда он стал Наполеон.

А целого Наполеона
Не хватит и на пол-Левона.

В самолете мы распили бутылку армянского.
— Исполнились все мои мкртчяния, — улыбнулся Самойлов. — А знаешь ли ты такую песню? — спросил он:

Эх тачанка-Мкртчянка...
Все четыре колеса...

Вспомнили Геворга Эмина и Арму, жену Геворга.
— Эмин — командующий Армой... Пословицы и поэминки.

В нашей группе, прибывшей в Варну на XI двустороннюю встречу болгарских и советских переводчиков, был еще один поэт, были переводчики и критики, но достопримечательностью «делегации советских писателей и переводчиков» (так мы именовались) был Давид Самойлов. Его приглашали на встречи и беседы персональные, но он все время был с нами, участвовал во всех мероприятиях — встречи, рабочие заседания, вечера поэзии в Варне, Бургасе, Созополе...

На большом вечере в Варне я прочел стихотворение средневекового армянского поэта Наапета Кучака в оригинале и в подстрочном переводе и попросил Самойлова, чтобы он прочел два варианта своего переложения:

— Грудь — как храм. Хочу любить.
Грудь твоя бела.
Я хочу в нее звонить,
Как в колокола.

— Ах, ты слишком боевой!
Дурачок, уймись!
Лучше бросься головой —
С колокольни вниз.

Этот свой перевод Самойлов назвал буквальным и по мотивам подстрочника набросал в меру чувственное и в меру шутовское стихотворение:

— Я без ума от этих белых титек,
Они — Царь-колокол и божий храм.
Когда б я был литературный критик,
Я их подробно описал бы вам.

— Отстань! Не трогай их своєю лапой,
Глупец, меня ты ниже на вершок!
Ко мне не подберешься тихой сапой,
Сначала стань Царь-пушкой, дружок.

Кучак в переложении Самойлова всем очень понравился. После вечера молодая женщина просила Самойлова написать эти стихи ей в альбом. Свой вариант перевода предложила затем Марина Новикова:

— Грудь твоя — как Бога светлый дом,
Со свечами ярыми сосцами.
Стать бы мне смиренным звонарем,
Зажигать лампы в этом храме.

— Уходи, ты зелен и упрям,
Игры увлекут тебя и враки,
И тогда мой белый божий храм
Ты оставишь в непроглядном мраке.

Принял участие в «состязании переводчиков» и Александр Миланов. Он перевел Кучака на болгарский язык. У меня сохранилась рукопись:

— Рърдите ти са като два камбани,
а има ли камбани — има храм.
О жрец жадува твоят раб да стане
там.

— Кайтъвто си ми млад — зелен,
ще се заплеснеш в моите камбани
и храмът ми ще си остане
неосвятен!

Самойлов сам легко импровизировал, играл и оказывал влияние на окружение, задавал тон.

В дороге, на различных симпозиумах, встречах и в беседах всегда бывают минуты и часы, когда не знаешь, чем заняться, как убить время. Самойлов «убивал время», занимаясь переводами с армянского. Я ему писал подстрочники, а он переводил. Так он переложил отрывок из стихотворения средневекового поэта Костандина Ерзнкаци «На других взваливай столько, сколько взвалил на себя...»:

В реке купался ты, ты был цветок.
Теперь ты постарел, наш век жесток.
Теперь ты постарел, ты смерть увидел.
Ушли любовь и слава — все, что мог...

Однажды Самойлов вспомнил Анну Ахматову. Я ему прочел четверостишие Туманяна, по мотивам которого Ахматова написала свое «Подражание армянскому». Самойлов перевел четверостишие:

Во сне пришла ко мне овца,
И я услышал спросонок:
— Храни Господь твоего мальчика,
Но вкусен ли мой ягненок?

Утром он мне показал новый вариант перевода:

Во сне явилась мне овца,
Сказала мне: «Я болью ранена,
Как зубы твоего мальчика,
Как сына моего баранина?»

А когда, выступая за круглым столом, я сказал: «Был бы оригинал, верность оригиналу будет», Самойлов мгновенно сымпровизировал:

Стою за перевод свободный,
Который прост и не натужен.
Коль переводчик есть голодный,
Оригинал почти не нужен,

И как бы в продолжение «полемики» со мной Самойлов рассказал за ужином, как он переводил поэму о Москве:

— Я был молод и голоден. Мне предложили в «Литературной газете» перевести поэму. В ней было 800 строк, надо было сделать сто. Я сделал. Мне сказали, что надо добавить восемь строк о дружбе. Я добавил. Через два дня строки о дружбе цитировали в передовице. Тогда «Литгазета» выходила три раза в неделю. Меня познакомили с автором поэмы. Он мне сказал: «Переводи меня». У меня есть лирические стихотворения, политические и художественные...»

На одном затянувшемся заседании, когда все устали, кто-то снова заговорил о проблеме верности и точности. «Верность в супружеской жизни необходима, но и переводчик должен быть верен оригиналу», — заявил оратор. И пока он говорил в том же духе, Самойлов написал в моем блокноте:

Переводы имеют немало побед,
Перевод этот верен и точен.
Но, Левон, я считаю, что нужен обед,
Мы поесть удивительно хотим.

В другой раз перед выступлением Марины Новиковой Самойлов послал ей записочку со стихами:

Мариночка, Мариночка!
Я буду очень рад
Не выпить четвертинку,
А слушать Ваш доклад.

«Выпить — не выпить» — эта тема обсуждалась еще и потому, что у нас в стране вовсю была развернута пресловутая антиалкогольная кампания. Егор Лигачев, выступая в Ереване, на всю страну заявил: речь, мол, не о том, что мало надо пить, а о том, что совсем нельзя пить.

— Одно дело, — удивлялись ереванцы заявлению Лигачева, — сказать, что не надо заниматься блудом, другое дело заявить, что вообще этим делом нельзя отныне заниматься.

Реакция ереванцев на выступление Лигачева понравилась Самойлову.

— Они хотели б запретить жизнь, — сказал он.

Сам он любил выпить, но не напивался, поддерживал, так сказать, настроение. И не только горячительными напитками, но и шуточными стихами:

Левон! Не приспособлен к прозе ум,
Не хочет он проблемы переводочной.
Давай с тобой заменим сей симпозиум
На плодотворный, на коньячно-водочный.

Рассуждения о том, ЧТО и КАК надо переводить, Самойлова мало занимали. Ученые разговоры на эту тему он воспринимал как некую литературную игру. В общей беседе за круглым столом он тем не менее выступил. Говорил, что оригинал и перевод — это все-таки разные произведения, что есть даже некий условный переводческий язык... И еще он сказал (эти слова у меня записаны):

— С кем только не сравнивают переводчиков — и почтовая лошадь, и актер, и связист, а по-моему, переводчик похож на человека, который разбирает часы. И когда он их соберет, то у него либо не хватит каких-то деталей, либо останутся лишние детали.

Вспоминал Самойлов свою эпитафию (тогда она еще не была опубликована) на могиле переводчика:

Он спит в объятьях матери-природы.
Бедняк себя работой доконал.
Он на земле оставил переводы,
А под землей лежит оригинал.

Иногда Самойлов рисовал. У меня сохранился его рисунок «Молодой Мкртчян».

Один из ораторов сказал об ошибках, обусловленных отсутствием у переводчиков так называемых фоновых знаний. В Болгарии о доступных женщинах говорят, что они из министерства легкой промышленности. В русском переводе женщина легкого поведения стала работницей минлегпрома.

Болгарская поэтесса удивлялась, почему ее стихотворение «Три буквы» переделали в «Огоньке» до неузнаваемости. Она не знала, не ведала, что русский читатель под тремя буквами вряд ли распознает подразумеваемое ею слово МИР, но скорее всего узнает другое слово, столь же распространенное, как и мир.

— Три буквы — это мир! — улыбался Самойлов. — А что если спросить у той брюнетки не из минлегпрома ли она?

Запомнились два совета, данные мне Самойловым.

— Если жена скандалит, Левон, лучше всего говорить: «Я тебе удивляюсь!» Эти слова тушат пожары.

— Ты, Левон, профессор, и если хочешь производить впечатление, в трудных случаях произноси одну и ту же фразу: «Это симптоматично». И после этих слов глубокомысленно молчи минуту-другую.

И действительно, о чем бы ни говорили, ни спрашивали (нет мыла, вздорожала картошка, убили человека, ругали Сталина, теперь ругают Ленина, обидели сироту, перестройка приводит к перестрелке, к ненависти одних народов к другим и так далее, и тому подобное), два эти слова «это симптоматично» всегда кстати...

Самойлов всех одарял стихами. Один из его экспромтов был посвящен Леде Милевой, знаменитой в Болгарии переводчице:

Я прежде чем уеду,
До нашего ухода
Хочу восславить Леду,
Богиню перевода.

Марина Новикова на стихотворное послание Самойлова решила ответить ему тем же. В ее стихотворении, в частности, говорилось:

Но все же он в одном преступен,
Для женских взглядов неприступен.

— Это симптоматично, — сказал я.

— Не-е симптоматично, — возразил Самойлов и сразу же прочел свой ответ:

Я так податлив женским взглядам!
Как жаль, как жаль, что ты не рядом.

Мы с Самойловым разыгрывали «сцены ревности» из-за Эли, болгарской переводчицы Елисаветы Кузмановой. Я говорил, что это (чувство ревности) симптоматично, а Самойлов сочинял грозные стихотворные экспромты:

Прощай, Левон, невольник чести,
Теперь недолго быть нам вместе,
Ведь мне придется из-за Эли
Убить беднягу на дуэли...

Был у нас свободный вечер. Украинский поэт Микола Сангиевский читал свои стихи и переводы. Он говорил о переводах и совести переводчика:

— У нас много бессовестных переводов. Я перевожу так, как пишу свои стихи...

Из своих стихов Сангиевский прочел «Молитву». Читал на украинском.

— Мне скоро исполнится 50 лет. В таком возрасте у каждого человека должна быть своя молитва. Вот и я написал к своему 50-летию.

Стихотворение Самойлову понравилось. Он просил прочесть «Молитву» еще и еще.

— Ты, Микола, — сказал Самойлов, — не бойся своего 50-летия. После 50 можно очень хорошо жить... Да, после 50 известно, как жить. Неизвестно, как жить от сорока до пятидесяти.... Знаешь, Микола, был у меня космонавт Гречко (доктор наук, Герой...), спрашивал, как жить? Я ему сказал: «Надо просто выдержать, выстоять — и больше ничего».

Самойлов и сам умел выдержать, выстоять. Но это уже другая тема, другой разговор. Мне довелось общаться неделю с веселым, беззаботным Самойловым,

Когда мы вернулись из Болгарии в Москву, Самойлов пригласил меня в Дом литераторов на обед.

— Левон, — улыбнулся Самойлов, — я целый час рассказывал о тебе своему сыну и не уложился.

— Это симптоматично, — ответил я и целых две минуты, следуя совету Самойлова, глубокомысленно молчал...

Октябрь 1990 г.

Публикация Г.МЕДВЕДЕВОЙ

Многоименность. Многосердечность. Многожилность.

Рубрику ведет Лев Аннинский

Многоименность доходила до анекдотичности: в Баку приехал всероссийский староста Калинин вручать ордена, на собрании Председатель ЦИКа Азербайджана Агамалиоглу, начав вызывать на сцену награжденных, произнес:

— Али Гусейн Гаджи Мирсалим оглы...

Калинин его перебил:

— Самадага, не всех сразу, по одному вызывай!

Тот ответил:

— А я одного и вызываю!

Чингиз Гусейнов.

Председатель Азербайджанского ЦИКа преподнес тогда Председателю ЦИКа всероссийского еще и такую здравицу, перед которой все остальное померкло; Самадага Агамалиоглу сказал:

— Вы нам из Урсиета (России) револусия качай-качай, а мы вам нефть качай-качай!

Бурные аплодисменты...

Сегодня из такой здравицы много не выкачаешь: и качают не по тем трубам, и адреса перекачки не те, и бурные аплодисменты адресованы не тем колерам: густая красная револусия в Урсиете побелела до демократической прозрачности.

Что же сегодня так цепляет в эпизоде, воспроизведенном Чингизом Гусейновым? То, что тогда казалось анекдотом: многоименность.

Имена, не уместающиеся в строку

При раскопках родословных корней (а книга Чингиза Гусейнова¹ есть мемуар, продиктованный еще и желанием докопаться до истоков этноса) чувствуешь, как всякое имя становится лыком, занимающим целую строку, а то и в строке не уместающимся.

Имя деда: Мелик Мамед Гаджи Гаджибаба оглы (где Гаджи — почетный титул, получаемый после паломничества в Мекку).

А прадед? За прадеда в старинной бумаге расписался грамотей по имени Кербалай Мустафа Гаджи Мир-Ага Мамед Касим оглы (где Мир — приставка, свидетельствующая о родстве с пророком, Ага — знак уважения к господину, а Кербалай — след паломничества в иракский город Кербалу, где похоронен убиенный внук пророка).

Тут автор мемуара добавляет, что он и сам в некотором роде Кербалай, ибо тоже побывал к Кербале (а поскольку побывал он также и в Иерусалиме, то он Кудси, ибо Иерусалим по-арабски Эль Кудс).

Из шарад того же толка: имя известного азербайджанского писателя Анара есть не что иное, как анаграмма: Анасы Нигяр Атасы Расул — мама Нигяр, папа Расул

¹ Чингиз Гусейнов. Минувшее — навстречу. М., 2009.

(отец Анара — знаменитый поэт Расул Рза). Эта увлекательная игра переносится и на грузино-армянскую почву: если вообразить, что фамилия «Окуджава» образована от турецкого слова «оку» (что означает пение и чтение вслух), то смысл фамилии: «читающий вслух и поющий». Красиво, да?

Однако, чтобы не тащить каждый раз в строку всю ономастическую гирлянду, Чингиз Гусейнов именует себя инициалами «Ч.Г.», и я, по праву старого знакомого (чуть не с университетских еще времен, а потом по линии СП и его печатных органов), позволю себе в дальнейшем это свойское сокращение.

Да будет известно Дине...

Так вот: первое, что вы ловите в интонации Ч.Г., — это неуловимая и неистребимая улыбка, достаточно тонкая, чтобы вы помнили о Востоке, и достаточно отчетливая, чтобы быть индивидуальным знаком авторского стиля. А стиль этот должен не столько забавлять и веселить вас, сколько прикрывать и уравнивать чувства, далекие от веселости. И порожденные реальными безумствами истории.

Например. После революции из мусульманских имен, так или иначе связанных с Богом (Аллахгули — раб Аллаха и т.п.), стали Аллаха изымать. И появились фамилии-обрубки. «Гулиев» — это как перевести на русский? «Рабов»? Ну, не «Холопов» же... А если учесть, что без Аллаха и пророка его Мохаммеда исламская ономастика вообще обесмысливается (в мусульманской семье мальчик автоматически получает первое имя в честь пророка, девочка — в честь дочери пророка Фатимы), то можно представить себе, на каком непроглядном поле идет эта чехарда имен, игра имен, борьба имен, прикрываемая шутками.

Иногда эти шутки — на грани (или за гранью) политкорректности. «Базарбайджан», «Алиевстан»... При Советской власти такое не дошло бы не только до печати, но и вообще до бумаги. А в наше вольное время... помогает справиться с чувствами. С горечью. Или с умилением. В зависимости от того, что усматривать в нынешней реальности: «самоубийственную бойню» этносов или «эйфорический парад суверенизаций».

Ч.Г. видит меж этими краями опыт тысячелетней истории, из которого нельзя упустить ничего: ни черной, ни белой краски, ни беды, ни победы, ни малой черточки, легко теряющейся в потоке событий. Надо удержать, сохранить!

— Да будет тебе известно, Дина (это Ч.Г. обращается к своей внучке): в одной только России более тридцати тюркских народов; их всех называли «татарами» для удобства запоминания...

Пересчитал же! Может, в таком подсчете больше любви и бережности, чем в иных клятвах верности.

Правда, в другом месте Ч.Г. приводит еще одну цифру: «шестнадцать тюркских империй», — приводит не без смущения, ссылаясь на брошюрку, купленную «в чайхане под башней Галата» (еще бы, кто сейчас не смутится при слове «империя»!).

И, чтобы достойно завершить эти пифагорейские выкладки, Ч.Г. приводит еще одну цифру: «в мире свыше шести тысяч компактно проживающих этносов, и если они загорятся желанием создать этнонезависимые государства (надо полагать, на руинах изничтоженных империй. — Л.А.), мир запылает. Так что спасибочки беловежским братьям-славянам, с чьей помощью созданы независимые государства, и некоторые ныне — в состоянии войны, у одних — эйфория победы, у других — жажда мести, и — нескончаемые противостояния».

Братьев-славян оставим пока в покое, тут у Ч.Г. не Беловежьем, а Карабахом пахнет, вернемся к тому, с чего начали: к именам.

Итак, объявлено внучке Дине, что первоначально, попав из Персидской Империи в Российскую, их народ был записан «тюрками» (через «ю», чтобы отличать от «турок»).

Но, поскольку из трех древних народов Закавказья два: армяне и грузины — верили в Христа и только один — в Мохаммеда, вскорости в ответ на вопрос: «Какой ты национальности?» житель Шемахи или Баку отвечал: «Мусульманин я», — это стало на долгие годы (при царизме) не религиозным, а этническим самоопределением.

И, наконец, при Советской уже власти многоименность увенчалась третьим словом и, кажется, самым близким сердцу Ч.Г., хотя и первые два хороши.

«Более того, скажу, — пишет Ч.Г. — что наша *трехименность* даже импонирует мне: можем называться *тюрьками-турками*, наследуя по праву языкового родства все тюркское в мире; мы — мусульмане, и цивилизация ислама — наше культурное достояние; и мы по названию занимаемого пространства, что переводится как *Край огня*, — азербайджанцы, и предки наши были огнепоклонниками.

Огонь этот, однако, приходится добывать из-под слоев золы и пепла, ибо так сложилась история, но об этом позже. Впрочем, можно и сейчас. Я имею в виду то, что азербайджанский уголек тлеет и вспыхивает в мемуарной эпопее Ч.Г. не «сам по себе», а в сложном контексте, в который угодили родившийся в 1929 году мальчик-азербайджанец, ставший в свой час москвичом, выросший в русского писателя и нашедший свой путь в многонациональных чрепалосьях и социальных «прочесах» середины безумного XX века.

Птичка, которую жалко

Параметры его книги настолько широки и непредсказуемы, что иногда соединяют весьма далекие концы реальности — политической и литературной, комической и трагической, широко известной и ушедшей в щели памяти. От всенародной «петли Горбачева», как называли в пору антиалкогольных судорог объявленной Перестройки очередь за водкой, до юридической петли, коей был тихо удушен сотрудник «Литературной газеты» талантливый безумец Лев Антопольский. От тайных попыток Сталина в шоковом начале войны умиловать Гитлера, отдав ему Прибалтику, Белоруссию и пол-Украины (Гитлер не внял, а мы все это отдали полвека спустя, когда «колосс на глиняных ногах» распался «сам собой»), до тайных мыслей убийцы Троцкого Рамона Меркадера, у которого «хватило ума» избежать возвращения в СССР при Сталине (если бы вернулся, Сталин бы его угробил). От рано постаревшего советского классика Самеда Вургуня, который в пятьдесят понял, что «ничего не поправить» («не умер бы от скоротечного рака — непременно ушел бы сам»), до другого советского классика, Александра Фадеева, который ушел-таки сам, оставив письмо, где было больше уязвленного тщеславия (из членов ЦК понизили до кандидатов!), чем гражданского прозрения.

Острее и больнее всех препарированы именно писательские судьбы. Помимо азербайджанских имен (рядом с Самедом Вургунем — Мехти Гусейн, Мирза Ибрагимов (это если говорить о самых прославленных) целый раздел посвящен туркам (не перечисляю, назову только Назыма Хикмета). Из русских, помимо «громко поющего» Окуджавы: Глазков и Тарковский, Трифонов и Бурич, Урин и Айги (чуваш, ставший русским, но не в той степени, как Окуджава).

Есть ли что-то общее в судьбах этих людей?

Есть. «Советские жестокости — продолжение многовековой *нашенской* ментальности...» Это сказано в связи с книгой политика Александра Яковлева, но относится ко всей «нашенской» истории: «И без революции продолжалась бы молка-прополка этносов...» Куда же деваться? Некуда: надо лезть в перемолку. «Ничего плохого в ассимиляции я не вижу. Но все же птичку жалко».

Затворник щелкает, и птичка вылетает... Все-таки не дремлет в душе Ч.Г. поэт.

Насчет птичек хорошо говорила его бабушка (которую тогда мало кто слушал): есть, говорила она, птицы, которые едят, а есть — которых едят. И вполне могло стать, по бабушкиной логике, что *не эти — тех, а те — этих*.

То есть палачи и жертвы в эпохи смут и революций делаются из одного теста.

В отличие от бабушки, дипломатичный Ч.Г. себе столь крутых формулировок не позволяет. Ему достаточно такой вполне эстетической детали, как то, что «армянский Маяковский», мученик сталинского террора, избирает себе псевдоним «Чаренц», что означает: Рассерженный, из Злых (что-то вроде нашенского Злыднева или Злобина). Но об армянской «птичке» — где-нибудь в другом месте. А здесь, у Ч.Г., — об общей нашенской драме: о том, как расплавляется человек, имеющий мужество бескомпромиссности, за выбор, который эпоха делает за него:

— Иди вперед и не оглядывайся!

Нариман Нариманов, вождь красного Закавказья, находит в себе мужество оглянуться: в предсмертном прощальном письме пятилетнему сыну — фраза: «Придет время, когда большевиков не будет». Только в смертный час решаются большевики на такие откровения. Эту драму прозревает Ч.Г. сквозь «тяжесть нависших этажей фальши, цинизма, лицемерия» эпохи, сделавшей их народными вождями: в этом качестве Нариманов становится героем повести Ч.Г. «Доктор N».

Фатали Ахундов — еще один такой герой, но осуществившийся веком раньше, — осмыслен в «политбюро шахских времен», где «дряхлые мужи... не в силах слова выговорить, ухватившись за руки, хвалят-расхваливают друг друга, раздаривая вышние, усеянные бриллиантами знаки отличия» — сквозь этот *застойный* фильтр прорывается к нам герой повести Ч.Г. «Фатальный Фатали».

А виртуозно написанная, первая принесшая Ч.Г., как тогда формулировали, «всесоюзную известность» повесть о герое, которого ласкает и насилует эпоха, расщепляя натрое его имя: «Магомед, Мамед, Мамиш»! Многоименность...

В 1937-м — такая радость...

Однако в мемуарах своих Ч.Г. нигде не повторяет стилистических решений, отработанных в повестях. Принцип его мемуарного письма — дневниковая запись, оставленная в нетронутости. То есть не прошедшая через позднейший «расчес», цензурно-конъюнктурный или неконъюнктурно-авторский. Дневниковые записи не просто «пригодились при сочинении воспоминаний», они оставлены в тексте как своеобразные маяки подлинности, и текст вокруг них иногда стилизуется под этот дневниковый пунктир. Слова не дописаны (дописывать «некогда»), имена заменены инициалами (и так ясно, кто это), и все эти «потом доскажу», «уже было» — оставлены в тексте как знаки подлинности (кое-где я применил такие «отсылы», чтобы передать ауру Ч.Г.).

Скоропись дневника не очень удобна для скорого чтения: текст то «сыплется», то «вяжется», но она поразительно хороша, когда передает «головоломную смесь» событий, в которые рассказчик «втянут» против воли, а смесь эта как раз и составляет суть происходящего. Тут дневниковая наивность может сказать больше, чем проверенная истина, добытая «задним числом»; человек, пишущий дневник, действительно не знает, что будет завтра...

«...в 1937-м такая радость: выпало много снегу, ворота доверху засыпало...»

...и еще особенность дневникового «потока сознания»: в поток втягивается огромное количество лиц и событий, вроде бы не отобранных в ходе авторской «чистки», а составляющих «фон» и «лейтмотив»: все это гудит, как улей, то пьянит, то жалит... Не поймешь, откуда пахнет шашлыком (далее я опираюсь на незабываемый образный ход Ч.Г. из «Мамиша»): то ли это барашек на вертеле, то ли осла клеймят.

Ослы и бараны, подлецы и хитрецы, работяги и праведники, непотопляемые функционеры и случайные спутники, проныры, мудрецы, наставники — все это пестрым фронтом движется по страницам; автор не прореживает этой массы, а лишь собирает имена в указателе к семисотстраничному тому ... и знаете, сколько там в списке упомянутых? Более полутора тысяч.

Но самое интересное в этом мемуарном откровении — не фактурное богатство. Самое интересное — сокровение души, оказывающейся в головоломных ситуациях. То, что задним числом отнесено автором к стилистике спасительной тайнописи:

«Пишу и чувствую — привык к эзопову стилю в пределах разрешенного ерничества».

То левой, то правой?

Почему Ч.Г. не выправил все это задним числом? Почему увековечил эмоциональный опыт, полученный в ситуациях, самая безобидная из которых связана с просьбой редактора журнала «Дружба народов»: я, мол, опубликовал твоего «Мамиша», а теперь ты выручи журнал: напиши о литературных достоинствах мемуариста Брежнева...

Ну, ладно бы, сидел тихий консультант в СП и выше не совался, а тут логика службы выносит наверх, напор таланта не дает покоя, и вот Ч.Г. не просто авторитетный прозаик, он представитель республики — тут и высшего литературного начальства — там. Надо «срастаться с системой». И вот он уже не аспирант — он профессор Академии общественных наук при ЦК КПСС («аж при ЦК» — замечает Ч.Г.). И вот он уже не просто издается в «Советском писателе», он — член правления («с решающим голосом», — уточняет Ч.Г.).

Так что сколько-нибудь явной оппозиции режиму тут и в заводе нет: «Это было выше моих сил... я сознательно отгораживался от всего, что было связано с так называемым диссидентством».

Как прикажете вести себя человеку, который достаточно проницателен, чтобы видеть лицемерие и фальшь системы, но достаточно осмотрителен, чтобы не вылететь из системы вообще? А главное — если этот человек предельно окровенен с самим собой?

Автохарактеристика, достойная увековечения:

«Думаю конфликтно, живу компромиссно».

На мой-то взгляд, такая исповедь куда ценнее, чем нынешние счета вчерашних борцов против режима, будто они все предвидели (ничего они не предвидели! — Л.А.), и нынешних плакальчиков по режиму, будто они знают, как он будет хорош, если его вернуть (ничего они не знают. — Л.А.).

Ч.Г. не делает вид, будто знает или предвидел. Он предпочитает осознавать пережитое как парадокс:

«Парадокс: в ту социалистическую несвободу мы не были рабами, а в эту рыночную свободу стали — свободные — но рабы!»

Если оставаться в пределах эзоповой юмористики, то легко отшутиться с помощью двух пар очков, черных и розовых, или двух рук: правой и левой...

Но вчитаемся: что там под юмором.

«Бурление-кипение во мне двух культур, языков, точно пишу то левой, то правой...»

Мастера литературной техники могут записать это двоеручие в свой арсенал, но мне в опыте Ч.Г. интересно двоение иного уровня: кипение чувств на стыке культур, бурление мысли в точке их встречи, откровение духа на границе состояний, когда надо остаться тем, кто ты есть, и притом стать тем, кем не был...

Из всего огромного тома воспоминаний Ч.Г. я беру именно этот сюжет, может, и заслоненный обилием иного материала, но, на мой взгляд, ключевой. Если уж вышло так, что все кипение-бурление социальных драм, драк, счетов и мечтаний, разорвавших души людей в XX веке, сводится теперь к мистике-магии этносов, — вот и взглянемся в истоки этой мистики и в перспективы этой магии. Опыт Ч.Г. в этом смысле бесценен.

В азербайджанском самоопределении Ч.Г. надо сразу же уточнить «пароль», с которым он выходит в многонациональный мир; этот пароль —

Бакинство

Баку — русскоязычный суперэтнос, в основном это азербайджанско-еврейско-армянская интеллигенция, главный приоритет которой — всечеловечность. Расчленив эту общность на этнические составляющие — значит убить самую суть «бакинства».

В эпоху этнофобий, однако, приходится отвечать на вопросы, убийственные для всечеловеческих воззрений; а резню в конце 80-х годов — кто устроил? Не бакинцы?

Нет. Это «еразы», ереванские азербайджанцы, насильственно изгнанные из Армении и хлынувшие в Сумгаит и Баку, где они и выместили ярость на здешних армянах. Настоящие же бакинцы попробовали уложить резню в остроумную формулу: «В Баку хлынули озлобленные азербайджанцы с ереванским характером, а изгнаны были из Баку добропорядочные армяне с бакинским характером». Занеся эту формулу в летопись новейшей этноистории, Ч.Г. старается удержать то, что едва не заслонило этим новейшим откровением, но остается для него символом веры,

определившим его духовное бытие — на стыке языков, на грани культур, на рубеже пространств, означенных символами: Баку — Москва.

Лирическая переключка этих символов занимает в книге Ч.Г. полновесную страницу. Я приведу три характерных мотива.

«Баку — эйфория, Москва — трезвость.

Баку — искреннее коварство, Москва — пьяная наивность.

Баку — лирика, строки рождаются-гаснут, как звезды в августовскую ночь, Москва — суровая проза...»

Вроде бы надо было оставаться в Баку, но что-то метнуло душу и тело в северную сторону... так что же, что?

Что заставило бакинца стать москвичом, и не «бакинским москвичом, но и не московским бакинцем, а... бакинцем-москвичом, через черточку, с инверсией качеств во что-то новое, общее, работающее на обе стороны... то есть не просто на две составляющие, а — шире, больше, выше...»

Шире, больше, выше...

Я бы это качество назвал многосердечием, оно врожденное, но по ходу жизни заставляет доискиваться причин.

Простейшая из причин — переключка уровней свободы, возможная в обществе, где эти уровни реальны, а сердце бьется и там, и тут.

Москва «стала прибежищем, в некотором роде подпольем, где свободный в пространстве страны (СССР. — Л.А.) и несвободный в пределах республики (АзССР. — Л.А.) я... сопротивлялся общему социальному злу в оболочке зла этнического».

Теперь поищем мостик. Не между злом и злом, а между добром и добром.

Почему азербайджанец остается в Москве и остается при этом азербайджанцем?

«Москва... стала настойчиво возвращать меня в мою азербайджанскость».

«Чужое — как свое, свое — как чужое».

«Мои русские сочинения развивают азербайджанские проблемы, находящиеся вдали от меня, а критический взгляд на *родные* реалии дается именно по-русски, что тоже для меня — загадка».

Загадка, решаемая многозначно в гигантских мегаполисах земного шара, где воздух всемирности постоянно подпитывается восходящими от земли токами этничности. Птичка, столетиями живущая «взаперти», может думать, что она — единственная певунья Божья, но чтобы понять, что она поет, она должна услышать себя во всемирном хоре. Если ее голос заглушат, то... птичку жалко. Но ее и так, и эдак жалко — а вдруг не споет свою песню так, чтобы ее услышали?

Здесь не то важно, что культура относительно небольшого народа вступает во взаимодействие с культурой народа огромного (огромный народ всегда состоит из относительно небольших фракций, которые сохраняют своеобычность, входя в большой круг); дело тут не в количествах, дело во взаимной нужде, и диалог культур в этом смысле всегда — диалог равных.

Применительно к нашему материалу: что давал азербайджанской литературе выход в общерусский круг (в круг общесоветский, пока он не распался)?

Это был прямой выход на мировую арену (Ч.Г. предпочитает слово «калитка»); переводы на мировые языки — через русский; огромное увеличение читательской аудитории; расширение кругозора, обогащение языка... Но это все аксиомы, азы, слегка даже поистершиеся за советское время, а в наше новейшее время вроде бы обретающие утерянный смысл.

Я нахожу в Ч.Г. ответ и на обратный вопрос, вовсе не аксиоматический и даже несколько провокационный: а что дает азербайджанский язык русскому?

Отвечая на этот вопрос, Ч.Г. отталкивается от стремления «националов» через Москву быть услышанными во всем мире: но через «весь мир» возникала известность... даже у себя!

«Русский язык — независимо ни от чего — был выходом в большой мир, и невольно приравнивал, с одной стороны, русскую литературу к национальной, а с

другой, поднимал ее статус на уровень неосязаемый, может, самими русскими. Мало кто из нас задумывался над этим...

Поразительное наблюдение! Именно в последнем повороте мысли. Мы, русские, тоже мало задумываемся над этим. Обогащение русского языка — процесс, не сводящийся к прямым заимствованиям, которые на виду (они, кстати, встречаются вполне понятное сопротивление блюстителей чистоты языка)¹.

Висит в воздухе ощущение сверхнационального статуса русского языка, не замечаемое, может, самими русскими. Здесь важно, что — привычное, неосязаемое! Ибо зависит оно не столько от усилий лингвистов, сколько от статуса культуры, от статуса страны, созданной Историей не в ранге национальной только, но в ранге сверхнациональной, интернациональной, многонациональной. Исчезнет статус — не будет и реальности, останется одна только память, да и память не вечна. Сохранится статус — и великая своей всеотзывчивостью русская душа будет и дальше обречена на работу в контактных точках. И понадобится для такой работы беззаветная русская двужилность. Не говоря уже о восточной тонкости, которую Ч.Г. обыгрывает на каждом шагу.

«Да, но при этом...»

Курьезные варианты уравниваются юмором; например, звонок национального авторитета русскому работяге-переводчику: срочно нужен стих, высылаю подстрочник, а оригинал дошло позже! (И не дай бог вспомнить при этом, что прижизненно записанный в гении Айги писал, по выражению другого прижизненного гения, Бродского, «гениальные подстрочники, не имеющие оригиналов»).

Более крутые ситуации возникают в ходе местных межнациональных конфликтов, когда каждая сторона пытается заручиться поддержкой Москвы. (И не дай бог вспомнить при этом, как улаживались когда-то русские межнациональные усобицы: каждая сторона искала поддержки у хана).

Непредсказуемы ярлыки в азарте этнобесия. Айтматов начинает писать по-русски — в Киргизии это воспринимают как предательство. (И не дай бог вспомнить при этом, как воспринимается питерский литератор Гоголь с берегов суверенного Днепра).

Непредсказуемы тупики и лазейки, обнаруживающиеся в этой системе. «Художническая хитрость»: инсценировать «Мамиша» лучше всего в Ташкенте: такую драму на узбекском материале там бы никак не разрешили, а на азербайджанском — пожалуйста...

Так жалеть ли об утрате этой системы, полной коварства, лицемерия, добровольной лжи и вынужденной ортодоксальности? Тем более что официально объявленная «дружба народов» при отмене обернулась «самоубийственной бойней», а «эйфорический парад суверенизаций» — хаосом, «цепной реакцией кровопролития, этновойнами»!

«Да, но при этом... (Ч.Г. замирает в паузе, соображая, что положить на другую чашу тонких весов)... — переиздал свои книги, восстановив убранные цензурой (в советские еще годы) все, что касалось «разложения высших эшелонов власти в лице местных комвождей» (тем более что комвожди срочно переименованы в этновождей).

Есть ли будущее у нынешней переименовавшейся жизненной системы?

«Идея суверенности — всего лишь назывная, и она декларируется тончайшим слоем, и потому мы как государство (то есть независимый Азербайджан. — Л.А.) можем существовать только при всемирном благополучии».

А всемирное благополучие — реальность? Или химера: у грядущего будущего «своих забот будет на счесть»? А нынешняя реальность? «Обозначился рубеж между нынешним бытием — вот данность!.. и неизбежным небытием».

¹ Не только русского. Турки, например, борются за очищение своего языка от арабизмов и фарсизмов (их там больше половины) и притом мечтают о создании единого языка для всех тюркских народов. Интересно, сколько ради этого пришлось бы аннулировать языков «местных», и среди них «неподражаемый бакинский говор». Жалко птичку. А все-таки идея зональных языков висит в воздухе!

Тут между божественным и космологическим вклинивается еще и сатанинское: «Пиши не пиши, а мир, напичканный страхами (и пропитанный кровью), не переделывать».

В свете этих футурологических предположений интересны перспективы, предчувствуемые для той второй родины, каковой Ч.Г. с полным основанием считает Россию, русскую культуру, Российское государство.

Здесь предчувствия куда более определены. Два сценария.

Или Россия будет чиститься от инациональных включений, считать межнациональные браки «формой геноцида русского народа» — и тогда она съежится до мононационального «княжества», которое, даже сохранив имя в нынешней многоименности, — уж точно потеряет величие, которое выстрадано в многосердечии.

Или, как предполагает Ч.Г. («дважды женатый на неазербайджанках»), межнациональные браки становятся фактором, укрепляющим Россию, русский язык сохраняет мощь как язык межнационального общения, Россия ассимилирует другие народы, делая их «своими».

Надо ли говорить, какой сценарий предпочитает Чингиз Гусейнов? И я, благодарный читатель его «Минувшего». И миллионы людей, вышедшие из мясорубки XX века. Как знать, кому пригодится (и пригодится ли) наш опыт межнационального общения, который, в отличие от американского «котла», в котором вывариваются и исчезают национальные составляющие, — исходит из того, что составляющие не должны аннигилироваться в Целом.

Как бишь его называют теоретики? «Многожилный провод». От коротких замыканий такой провод, конечно, не застрахован. Но ведь и «котлы» время от времени взрываются.

А многожилность может иметь смысл только при условии, что в непрерывно меняющейся многоименности мы сохраним многосердечность: широту, отзывчивость, переимчивость, щедрость, безоглядность, любвеобилие — без чего русские никогда не поднялись бы как великий народ.

Summary

BERNGARD RUBEN. After One's Star.

Emmanuil Kazakhevitch, a famous Russian writer, had deserted to the hell of the battlefield from his newspaper where he could have quietly waited till the World War Two is over. He was lucky to survive and thanks to his front experience and of course his talent wrote wonderful stories and novels. But as this documentary witnesses in their peaceful lives Soviet writers were sometimes having not less rough times, then at the front.

RAVIL BUKHARAEV. A Ghost of Conscience, or Phantom Pains of the Present.

«After two decades of spiritual and cultural devastation a ghost is still rambling over the ruins of the USSR — a ghost of the Universal Soviet Dream Whenever I meet it I try to scrutinize it and comprehend: why do I have this sinking sensation in the pit of my stomach as if I've lost something inmost important. The fairy tale dream we've lost had in fact been historically cast over by the books that were bringing us up. And they were based on the simple as the truth itself but so rare in our days feeling of love for the fellow-men,» — thus is the pathos of the essay by R. Bukharaev.

ALEXANDER MELIKHOV. Conflict of Illusions.

«Love between cultures can be Platonic only: too close intimacy of their «bodies» turns it into aversion», — seditiously states A. Melikhov and develops his idea in this article.

GEORGIJ NIDGARADZE. Laptop and Cross.

Adaptation processes — more or less different depending on cultural, historical, geopolitical and other factors — are taking place in all the states formed after the disintegration of the USSR. What are the processes that are characteristic of today's Georgia and what is their adaptational value? Georgian sociologist and politologist G. Nidgaradze is looking for the answers to these questions.

EVGENIJ ABDULLAEV. Terror, War and

Rumors of the death of the civic lyrics have turned to be exaggerated. Having been standing under steam in the 1990-s it is rising upright again in the 2000-s, — thinks E. Abdullaev. — But how have its authors, readers, its protagonists, meanings and poetical language changed? This is the topic of his meditation.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В 2010 г.
распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».
Ищите «ДН» в его каталогах.
Нашиндекс 70250

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Сожаеем, но редакция нашего журнала не имеет возможности рассматривать рукописи, приходящие электронной почтой.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Свидетельство о регистрации товарного знака № 288681

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12 мая 2005 г.

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.

Телефоны: главный редактор, заместитель главного редактора — 691-62-27, заместитель главного редактора (производственные вопросы) — 695-52-03, зав. редакцией — 691-62-27, отдел прозы — 691-85-10, отдел поэзии — 691-63-63, отдел публицистики — 691-05-09, отдел критики — 691-64-50, факс: 691-63-54.

E-mail: dn52@mail.ru, <http://magazines.russ.ru/druzhba/>

Сдано в набор 21.12.09. Подписано в печать 20.01.10. Формат бумаги 70 x 108 1/16. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 19,60. Усл. кр.-отт. 20,30. Уч.-изд. л. 22,05. Тираж 2000 экз. Заказ 90. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ОАО «Издательский дом "Красная звезда"». 123007, г. Москва, Хорошевское ш., 38. <http://www.redstarph.ru>